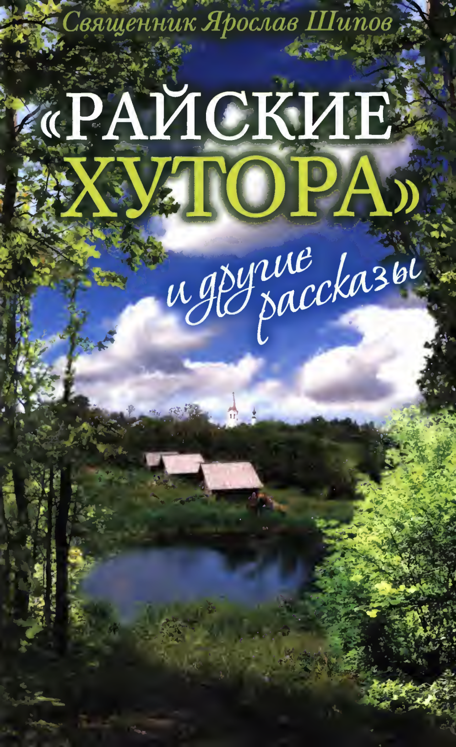
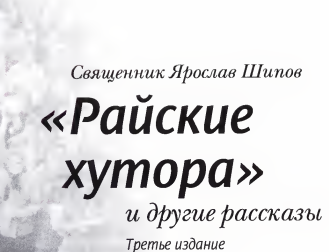

Священник Ярослав Шипов
«РАЙСКИЕ ХУТОРА»
и другие рассказы

Священник
Ярослав Шипов

«Райские хутора»

и другие рассказы





Священник Ярослав Шипов

«Райские хутора»

и другие рассказы

Третье издание



Издательство
Сретенского монастыря
Москва, 2012

УДК 821.161.1-32Шипов
ББК 84(2=411.2)6-44
Ш 63

Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви
ИС 12-213-1244

Священник Ярослав Шипов

Ш 63 «Райские хутора» и другие рассказы. — 3-е изд. — М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 624 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0747-7

В сборник вошли рассказы священника Ярослава Шипова, члена Союза писателей России. В основе большинства историй — личный пастырский опыт. Рассказы пронизаны глубоким состраданием к непростой жизни простых людей.

Ряд произведений публикуется впервые.

УДК 821.161.1-32Шипов
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-7533-0747-7

Рюшечки



Мы никогда друг друга не видели. Она присылала мне письма: корявым почерком, на тетрадных страницах в клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась пересказать историю своих духовных шатаний, падений и, смею надеяться, некоторых прозрений. Там было много всего — мне оставалось только расположить события правильной чередой.

Помнила себя Евдокия с первых послевоенных лет. Просыпаясь, видела перед собой в красном углу бабушкины иконки — бабушка, стоя на коленях, молилась. Солнечный свет заливал комнату, вкусно пахло желудевыми лепешками. Теперь, в старости, она понимала, что была в те времена так близка к Богу, как никогда впоследствии.

«Я любила тогда всех людей, особенно, конечно, родных. Любила до замирания сердца. Все любила: речку, небо, родительский дом. День начинался с бабушкиной молитвы и бабушкиной молитвой заканчивался».

А дальше женщина вспоминает, когда же это все стало уходить. Она помнит момент, как увидела на

своей подружке новое платьице с рюшечками. И этим рюшечкам позавидовала. А рюшечки, если кто не знает, это сборчатые полоски материи, которые пришиваются к плечикам, рукавчикам, — чепуха в общем. Потом девочка позавидовала новым коричневым туфелькам другой подруги. А через зависть в нее вошли и прочие погибельные для души страсти.

Она выросла, вышла замуж. Родила трех дочерей. Работала в сельсовете. И вся остальная ее жизнь была посвящена тому, чтобы жить не хуже других. А по возможности — и лучше. Приобретались мебельные гарнитуры, ковры, холодильники, телевизоры, магнитофоны... Когда они устаревали, их заменяли новыми. И ради этих приобретений, вспоминала Дуся, она и взятки давала, и документы подделывала, приходилось лукавить, лгать, льстить, лицемерить... А денег недоставало. Стали выращивать скот на продажу, разводили кур, уток, индеек. В этих трудах муж ее стал инвалидом. Но все у них было — не хуже. «Дом — полная чаша». Его достраивали, расширяли. Так дожила до семидесяти лет. И вдруг дом за одну ночь сгорел. Дотла.

Все село помогало его тушить. Никакого имущества спасти не удалось. Успели только выпустить из сараев всю живность. Сами на улицу выбежали — она в халате босиком, а он в тренировочных штаниках.

И вот утром супруги сидят на скамеечке напротив пожарища. Рядом с ними кот. Корова пришла и коза. А остальные — разлетелись и разбежались. И тут ветерок донес слабый запах желудевых лепешек: за огородами была дубовая роща, и, вероятно, желуди попали в огонь. Это был запах из детства...

А мимо шел батюшка в храм — готовиться к службе. Он тоже всю ночь помогал тушить пожар. Евдокия за

ним увязалась, пришла босиком в церковь. Батюшка занимался своими делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она подумала-подумала и сказала: «Поблагодарить Бога». Дуся боялась, что священник решит, будто она с ума сошла. А он спокойно и понимающе кивнул: «Отслужим благодарственный молебен».

Вышла она после молебна на улицу. И стало ей легко-легко. Взрослые спешили на работу, дети — в школу. «Как же я люблю этих людей!» — осенило вдруг Евдокию. Между тем еще вчера она едва ли не со всеми была в раздорах.

Соседи пригласили попить чайку. Сидят они с мужем за столом, и вдруг заходит землячка, которая давно переселилась в город. А в селе у нее был родительский дом. И он пустовал, потому что родители умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по телефону, и она сразу примчалась на большом красивом автомобиле.



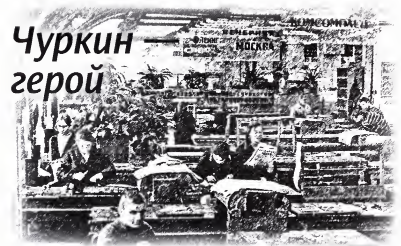
Говорит: «Идите живите в этом доме! Вот ключи. А чтобы не было недоразумений, давайте я вам его сейчас продам за символическую цену! Мне он, честно, совсем без надобности». Супруги возразили: «У нас денег нисколько нет, даже символических». Но все же пошли в администрацию. А там уже приготовлена материальная помощь: «Получите и распишитесь!»

Открыли хату, и оказалось, что она очень похожа на ту, в которой Дуся провела детство. Даже иконы — словно бабушкины. И женщине стало радостно.

Тут начали приходить соседи, приносить еду, одежду. Возвращать кур, уток, индюшек. Но Евдокия сказала: «Куда улетели, там пусть и живут». Оставили козу — для молочного пропитания, а корову в тот же день и продали. Так и обустроились.

Внучки у Евдокии — взрослые девушки. Живут в городах, учатся. И вот она пишет: «Увижу по телевизору шубку какую-нибудь, думаю: “Надо, чтобы и у моей внучки такая была!” И тут же словно током: “Опять рюшечки!” Этим пожаром мне указание было дано, чтобы я поняла свою жизнь. Он для меня — специальный. Шифер ведь от пламени взрывался и разлетался, соседские дворы были усыпаны этим шифером, но ни у кого ничего не загорелось. Так что это мне — указание, мне — знак. Как же я благодарна Богу, что никто больше не пострадал! Из-за меня и моих рюшечек».

Чуркин — герой



В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной, отдельной жизнью. Главные причины тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то — перепадают, а печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающую воздух взвесь из бумажной пыли и мельчайших частичек краски, станет ясно: работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства — газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь, навыки копятся годами.

В своих типографиях газетных печатников знают мало, да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-асы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это — особый мир, он невелик, и занимательные события, случающиеся в его пределах, быстро становятся общим достоянием.

Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник: за долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался — не хотел: первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих, машина здесь оснащается подающимися со склада ро́лями (именно бумажный роль, а не рулон — странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну). Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати.

Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал — не раз бывало: роль израсходуется, а нового нет — где подсобный рабочий? Поищут, поищут и найдут в каком-нибудь укромном местечке — спящим. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем — качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину, никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было.

И вот однажды заглядывает в цех главный редактор, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гузку — поприветствовал значит. Смотрят печатники на него — экий случай: впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм — ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить

и угостить крепким напитком. И лишь после этого уезжал домой.

Подошел мастер к главному — тот ему что-то на ухо покричал, да в ротации кричи не кричи — все равно ничего не слышно, народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер: «Чуркина!» В общем, выяснилось: братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом — давно, еще в сорок пятом, а Чуркин, стало быть, воевал, и вот «Награда нашла героя» — заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали.

Стал Чуркин собираться в братское государство, да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь — одели, обули героя, и является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели: под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок и плечо в воротник высовывалось. Механик — светлая голова — сообразил приспособить добавочные подтяжки: сзади они к брюкам пристегивались, а спереди — к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака и пиджак без брюк снять было невозможно, а это могло привести к неожиданным последствиям, но: «Терпеть буду, — обещал герой. — Виноват...»

Съездили они — редактор за компанию тоже ездил, — привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять: «Чуркина!»

Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная, держава нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен, — помогли газетные сообщения о предыдущей поездке.

— Чего же ты там насовершал? — спрашивают его ребята.

— Виноват, — говорит Чуркин. — Не знаю... У нас там машина поломалась, тягача ждали... А эти прибежали какие-то... мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было... А там — солдаты, офицеры... Ну, мы им: война кончилась, а они... Ну, выбили их... Потом еще какие-то пришли: то же самое... Сипягин тогда погиб, младший сержант, из-под Тамбова...

Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больший крест, правда, без ленточки.

Редактор уговаривал Чуркина «подняться повыше» — предлагал место председателя профсоюзного комитета.

— Зачем? — отметал Чуркин его предложение. — На жизнь хватает.

— Какие-то запросы у тебя ограниченные.

— Виноват.

— В том месте, где мы были, — замечает редактор, не без мечтательности, — и третья страна недалеко. — А та страна, к слову сказать, резко недружественная. — Может, ты и тамошних жителей освобождал?

— Может, и тамошних, — соглашался Чуркин. — Виноват. Тягач нам только через неделю прислали, так что не один раз хаживали, виноват... Потом еще и Гуськова убило — из Архангельска он, из самого. А эти позовут — мы и идем, а кто они? Мы ж языков не знаем, только что: «Фашисты, фашисты», — ну,

мы и идем... Так что виноват: может, и еще в какой стране были...

Но в недружественную державу Чуркина не пригласили, да и вообще он вскоре оказался в казенном доме: его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили: он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал: «Глухо».

Год спустя выявилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот — старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, подожгла и в конце концов свалила все на безответного Чуркина, а он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал: «Виноват...»

— Зачем он нужен был тебе, этот ларек? — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии.

— Прибежали: горит, мол, я и... Виноват, конечно же, знаю...

Однако на работу его больше не взяли: главный подарил ему «Историю Великой Отечественной войны» и тихо выпроводил на пенсию.



Русалки

В тридцати километрах от малого города С. есть озеро. Лежит оно среди огромных болот, отчего и собственные его берега большею частью заболочены и непроходимы. Впрочем, с одного края к воде узкой гривой выходит сосновый бор, а с противоположной стороны тоже есть клин посуше — там клюква.

К началу двадцать первого века народ славного городка оказался в такой нищете, что, подобно древнейшим предкам, выживал за счет собирательства: спасали грибы и ягоды. Грибы шли на пропитание, а клюкву сдавали заготовителям, получая взамен денежные купюры.

И вот как-то осенью три подружки отправились на ягодный промысел. Одна была женой священника, другая — учительницей литературы, а третья — директором краеведческого музея. Сначала батюшка довез их на старом уазике до деревни, где жил знакомый лесник, а оттуда в прицепе колесного трактора компанию отволокли к месту трудового подвижничества. После чего трактор уехал.

Они ползали по болоту до темноты, а ночевать забрались в прицеп: дощатый пол его был устлан свежайшим сеном, поверх сена — матрацы, на них — спальные мешки. Легкая непромокаемая ткань крепилась к бортам специальными петельками, укрывая прицеп на случай дождя, то есть опочивальня была вполне уютной и понравилась женщинам. Они уже не один раз ездили в этом году за клюквой, однако ночевали на болоте впервые: сами придумали, чтобы не мотаться туда-сюда, не тратить на дорогу драгоценное светлое время — по темноте из этого мха не выберешься.

Отползав еще один день, подруги благополучно возвратились домой, и жизнь своей чередой продолжилась.

Недели через две к священнику прямо на улице подошел охотовед и предъявил претензию странного рода: дескать, читал он в газете батюшкину статью о процветающем в здешних краях язычестве и считает статью неправильной. Мол, при чем тут умственные заблуждения, если озеро переполнено натуральнейшими русалками. Охотовед был человеком, накрепко завязавшим, а кроме того, — настоящим охотником, то есть в своем историческом развитии стоял на ступеньку выше примитивных собирателей ягод, и священник задумался. Дальше выяснилось, что некоторое время назад охотовед ездил на озеро — как раз туда, где сосновый бор: там берег твердый и можно даже в воду зайти. Ночевал в кустах, огня не разводил, чтобы не потревожить уток. И вдруг с озера — то вой, то хохот.

— Я, — говорит, — выстрелю — тишина, а потом по новой хохочут... И так до утра... Только на рассвете затихли. А может, я их всех порешил...



— Так ты что же, прямо в них и стрелял? — батюшка тянул время, чтобы разобраться в происходящем.

— Конечно! Жуть страшенная!

— Ну а если бы ранил — как потом на мотоцикле везти: у них ведь ног нету... Опять же, группа крови у них какая?

— Какая?

— То-то и оно...

— Я без смеха — жуть, говорю! Могу поклясться на Библии!

Но тут в сознании священника затрепетали вдруг некоторые подозрения, и он пригласил охотоведа к себе домой. Когда матушка разливала чай, он поинтересовался, хорошо ли им спалось во время ночевки в болоте.

— На той стороне всю ночь кто-то бабахал — перепились, наверное.

— А вы что делали?

— Мы? — она повспоминала-повспоминала. — Болтали, наверное... может, пели...

— А что именно пели?

Надо отметить, что у матушки было музыкальное образование. Она регентовала в храме и сумела возрастить сносный хор, который почти до слез ублажил архиерея, приезжавшего на престольный праздник.

Ночной концерт начался с «Песни Сольвейг» Эдварда Грига. Пришлось дважды повторить ее на бис. И все это под канонаду, доносившуюся с другого берега. Потом учительница пересказала подружкам сюжет «Пер Гюнта», а заодно и других пьес Ибсена, которые она некогда прочитала. Подружки были в восторге от норвежской действительности, и, кстати, когда барышня излагала драматические произведения, никто не стрелял. Жаль, что Гамсуна она не читала: хватило бы пересказывать до утра, и, глядишь, тогда не впал бы охотовед в языческое искушение и, возможно, добыл бы каких-нибудь уток. Но тут музейная директриса решила блеснуть научными знаниями — а она готовила кандидатскую по частушкам, — и началось такое!.. Конечно, в рамках приличия — диссертация ведь, для печати, но они рыдали от смеха, пока силы не кончились. К этому времени охотник расстрелял все патроны.

— Вот что значит «без ума смеяхся», — пожурил ночную певицу благочестивый супруг.

Когда охотовед вернулся домой и рассказал обо всем матери, старуха кивнула:

— Сколько раз говорила тебе: ходи в церковь!

— При чем тут церковь?

— При том, что батюшки всё связывают, всё соединяют.

— Что связывают?

— А всё! Всё разрозненно, разорвано, разбито... мы всё разваливаем, а батюшки — соединяют, склеивают.

Он только отмахнулся:

— Городишь незнамо что!

— Когда б не пьянка, не потерял бы семью.

— А это при чем?

— При том, что женить тебя надо, а то русалки, русалки...

Кино



Отцу Петру выпало нежданное поприще — консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм, — сказал архиерей, — тематика сельская, в сценарии есть восстановление храма, так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках десять дней «в свободное от богослужений время».

Отец Петр и свой храм ремонтирует — целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек — четверо: два отрока, два младенца, а тут — кино еще...

И вот приехали: толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки. И знаменитая актриса. Расположились километрах в десяти от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он «перед началом доброго дела» и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением, а знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке.

— Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, сплошь — нехристи?

Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился: разбили тарелку — обычай такой, поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал.

Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона.

Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами — задом наперед.

— Какая разница? — недоумевал художник картины.

— Крест, где бы ни находился, всегда смотрит, как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север, — пояснил батюшка.

— Иконостас шестнадцатого века, — хвалился художник, — скопирован абсолютно точно, — и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями.

Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге.

— А этих, посредине, что — недостаточно? — спросил киношник, заметно раздражаясь.

Батюшка объяснил, что через Царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали: изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной.

Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подризники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила: «Нам же удобнее застегивать сзади».

— Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет, а нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади, — объяснил батюшка.



Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее.

Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом: одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по тридцать-сорок лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке.

Позвонил архиерей:

— Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дожди не дают им снимать, а ты что сказал?

— Не помню, владыка.

— А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь — снег пойдет, было такое?

— Может, и было, и впрямь не помню, но из-за сквернословия действительно сокрушался.

— Ну так вот: вчера, на Успение Пресвятой Богородицы, у них снег пошел.

— Вы шутите?

— Какая шутка? Серьезно!

— Но у меня ничего такого не было, — удивился батюшка.

— Так ты вчера, наверное, службу служил?

— Конечно, Успение ведь!

— Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали. В массы. Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать: пусть поскорее отснимут да и отправляются восвояси.

— Господи, помилуй, — опечалился отец Петр, — в августе снегопад — горемыки, несчастные люди...

«Шестой раз», «седьмой», «восьмой», — считал он посещения съемочной площадки. На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью.

«Забыли, — вздохнул отец Петр, — до чего же несчастные, дикие люди!»

Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы.

А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами.

Усадьба



Старый приятель попросил освятить две дачи — свою и еще чью-то: не то знакомого, не то родственника — не вспомню. Ну да это совершенно не важно — важно, что находились они километрах в двадцати одна от другой, и, переезжая с места на место, мы привернули в Захарово — имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось двухсотлетие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба: он был писателем с журналистским прошлым и потому очень многим интересовался.

Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост — цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался: журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся: если это твоя проблема, она сама придет к тебе на порог».

Приятель перезнакомился со всеми — а это были архитекторы, — выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает:

— Вы священника не приглашали?

— Где же, — отвечают, — его найти?

А тогда, следует принять во внимание, приходов было совсем немного и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель мой вернулся к машине и говорит:

— Надо бы еще освятить закладку дома.

Вот она и пришла, даже и не проблема вовсе, а задача: малая, простая, служебная — теперь решать будем. Вылезаю я из машины: в епитрахили, поручах, с требным чемоданчиком — архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие — мужчины с бородками,



дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался.

— Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?

— Да кто ж его знает, — говорю.

Смотрю, сложен первый венец — как раз то, что надо для освящения.

— Где восточная сторона? — спрашиваю.

Они указали: а там против середины бруса лежит топор. Тут настал мой черед удивляться — при освящении надо трижды ударить топором по восточному бревну:

— У вас все уже приготовлено...

Они совсем растерялись: позвали рабочих, начали выяснять, с чего вдруг топор обнаружился на этаком специальном месте, но бригадир отвечал:

— Да кто ж его знает? Где работал, там и бросил, где бросил, там и лежит.

Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам:

— Любит вас Господь.

— Пушкина любит, — смиренно возражали они и, обращаясь ко мне: — А вы как думаете?

А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас.

С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали, и дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенным временам.

Заказник



Архиерей вызвал меня и отправил в командировку:

— Там художники, муж и жена, весьма преклонных годов — пожалуй, к восьмидесяти. Они передали нам несколько храмовых икон, и вообще много чего делают для Церкви. Попросились на этюды. У соборного старосты есть дом в деревне — отвезли их туда.

— А я, — говорю, — Владыко, каким боком — к живописи?..

— К живописи — никаким. Но у них есть охотничья собака и ружье. А к этому делу вы в недавнем прошлом — всеми боками... Завтра открывается охота. Посмотрите там, чтобы они не заплутали, не перестреляли друг дружку, чтобы их волк или медведь не съел, в общем — чтобы не было никаких недоразумений.

Еще рассказал, что художники эти — реалисты, то есть пишут мир таким, каким его создал Господь Бог, ничего не уродуют, в отличие от всяких абстракционистов, авангардистов и модернистов.

Дал машину. Спрашиваю водителя, куда мы едем. Он говорит, что сначала по трассе, потом направо, там налево по грейдеру, дальше совсем узкий проселок, а всего километров шестьдесят. Но куда именно мы едем, я так и не понял.

Добрались. Деревня — три избы. Избы страшные: в землю вросшие, покосившиеся, крытые не то линолеумом, не то клеенками. Возле одной — живописцы: этюдники в разные стороны — люди работают.

— Щедрый у нас человек соборный староста, — говорю, — этакой роскошью гостей облагодетельствовал.

— А им нравится, — пожал плечами водитель, который уже бывал здесь.

Отставив занятие, они бросились к нам с восторженными восклицаниями: похоже, им действительно нравилось. Тут же откуда-то из-за деревни налетел шальной фокстерьер, облизал всех и снова улетел за деревню. «И на кого же, — думаю, — они собрались охотиться с норной собакой?» Для такой охоты был совсем не сезон. Сейчас могла бы пригодиться легавая... Оставалось надеяться, что пес хоть как-то знаком с жизнью сеттеров, пойнтеров или курцхааров. А может — спаниелей...

Разгрузили продукты, и машина уехала. Живописцы вернулись к этюдникам, а я пошел размещаться в отдельной избе — похоже, вся деревня принадлежала соборному старосте. Староста этот был из эмвэдэшников, за годы работы в храме воцерковился, но весьма странно... Случалось, разговор коснется каких-то людей, которые по его правоприменительному разумению вредны для Отечества, будь то политики, чиновники или рок-музыканты, он и рубит сплеча: «Повесить надо!» Если его одернут, вздохнет:

«А что?.. Но, конечно, по-нашему, по-христиански, — с любовью».

Отворил я дверь — внутри темно и сыро: темно оттого, что древние стеклышки с годами совсем помутнели, а сыро — от безжизненности. По счастью, печка, как мне и обещали, сохранялась в исправном состоянии, и к вечеру избу удалось просушить.

Следующий день начался спокойно: супруги работали, я ходил по грибы. Но после полудня в деревню заглянули двое мужчин: они шли из леса и тоже — с грибами. Познакомились, разговорились: мужчины приехали издалека — из Тюменской области, чтобы проведать свою сестру. Сестра не так давно вышла замуж за солдатика, который происходил отсюда, перебралась к нему, родила сына, а он, празднуя это событие, пьянехонький утонул. Вот они и приехали посмотреть на ее существование, а при необходимости увезти обратно.

Оказалось, что в трех километрах от нас есть небольшое село, и стоит оно на берегу озера, а в том озере уток — тьма!

— Отчего же их не стреляют? — спрашиваю. — Ведь сегодня открылась охота.

— И сами не понимаем, — отвечали тюменские братья. — Оттого, наверное, что в селе мужиков не осталось.

А еще они приглашали воспользоваться дюралевой лодкой:

— Она заметная — оранжевая такая. С веслами и не замкнута: катайтесь сколько хотите.

Вечером провели учебные стрельбы. Правда, сначала старик долго не мог собрать двустволку — забыл, как присоединяется цевье. Ну, с этим вопросом управились. Потом я подбрасывал вверх ржавую

сковороду, он стрелял — не попадал, а пес ошалело носился вокруг деревни. Тут вдруг дама потребовала ружье. Мы отговаривали, предупреждали о сильной отдаче, но бесполезно:

— Я ведь раньше стреляла, ты помнишь?

— Голубушка, так ведь когда это было?

— Что ты хочешь этим сказать?

Воткнули в землю кол, к нему приставили все ту же сковороду. Ружье было явно тяжеловато для голубушки, и, прицеливаясь, она отклонилась назад. Только я хотел попросить ее стать правильно, как раздался выстрел, и старушка опрокинулась навзничь. Бросились ее поднимать, а она отмахивается ручонками и бранится:

— Почему не предупредили, что так сильно ударит в плечо?

— Да мы говорили, голубушка...

— Но что именно так сильно — не говорили.

— Непослушная, — ласково сказал старик.

— Зато попала! — радостно воскликнула она, поднимаясь и отряхиваясь.

Действительно так: расстояние было небольшое, и сковороду разнесло в клочья. Заодно и кол перебило.

Рано утром, одевшись по-походному, я вышел на крыльцо. Вскоре показались и живописцы. Супруг был в светлом костюме, перепоясанном патронташем, в соломенной шляпе, из которой торчало помятое перо ястреба-перепелятника. Вчера вечером я уже видел это перо — его откуда-то притащил фокстерьер. Дама была в длинном розовом платье, тоже — в соломенной шляпке и с белым зонтиком, который в сложенном виде являл собою элегантную трость.

— Мы, знаете ли, решили дачные костюмы надеть, — объяснил старик, — в рабочей одежде неприлично.

Нашему брату времени для изумления не дается нисколько. Мы так часто сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, что, если каждый раз изумляться, будешь все время ходить с разинутым ртом. А еще ведь и служить надобно — произносить возгласы, проповеди...

Мой наряд явно не соответствовал столь диковинным для охоты облачениям: пришлось вернуться и надеть подрясник. Болотные сапоги я снимать не стал.

Шествовали мы не спеша, чинной поступью, а вот фокстерьер то уносился вперед по дороге, то приносился обратно: городской пес просто обезумел от деревенской свободы. Когда подходили к селу, дама взяла его на поводок, чтобы не нанести ущерба местным курам. Тут как раз стало припекать солнышко, она раскрыла над головой зонт, и в таком виде мы вышли на берег озера. Вправо и влево разбегались вдоль берега избы, а прямо перед нами у деревянного пирса стоял военной внешности серый кораблик с надписью: «Охрана природы». Рядом с ним покачивалась на воде оранжевая лодчонка.

Когда мы грузились, на палубу кораблика вышел из рубки человек в форме лесничего.

— Доброго здоровьица! — старик приподнял шляпу.

— И вам... здравствовать, — рассматривая нас, человек отвечал медленно, словно в растерянности.

Пустились мы по волнам: художник в белом костюме, художница под белым зонтиком, я в подряснике и белый пес. Уток на озере было действительно много. Старуха кричала: «Стреляй туда!», старик бил, мазал, пес прыгал в воду, куда-то плавал, ничего не приносил.

Наскочили на отмель. Подвязав полы длинной своей одежки, я выбрался из лодки и долго толкал ее. Потом влез обратно. Обогнули маленький остров, и тут я увидел на специальном столбушке железный щит с надписью: «Воспроизводственный участок. Охота запрещена». Получалось, что этот мелководный залив с камышом и прочей травянистой растительностью был местом утиных гнездовий и никто здесь не охотился, а мы бултыхались на виду у всего села и почем зря бабахали в небо.

Художники так увлеклись пальбой, что ничего не заметили. Тут, к счастью, погода переменилась: поднялся ветер, начал накрапывать дождь, и мы заспешили к берегу. Я понял, что человек на кораблике охраняет этот участок и что он был совершенно потрясен невиданными нарядами и от растерянности не смог даже остановить нас. А жители села, ошарашенные престранной картиной, смотрели в окна и, кажется, не решались выходить на порог.

Но теперь-то мы нарушители закона, и старик — самый главный, поскольку именно он стрелял... Хорошо еще, что ничего не добыли. Охранник природы наверняка уже вызвал милицию, и у кораблика нас могла ожидать невеселая встреча... Вот уж порадуем архиерея! И нечего винить тюменских братьев: они, думается, были вполне искренни — сами только приехали



и про здешние края мало что знали: «уток — тьма». Между тем дело неожиданно принимало арестантский оборот — оставалось только молиться...

У кораблика нас никто не встретил.

Дождь продолжался, и когда мы пришли в деревню, белые брюки художника до колен были вымазаны в грязи. А вот супруга его, у которой в одной руке был зонт, в другой — подол, сумела сохранить длинное платье сухим и чистым.

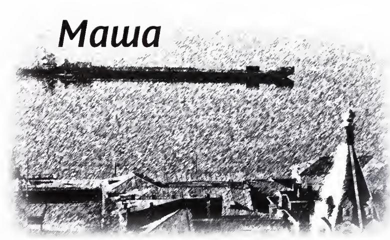
Ночью дождь превратился в ливень, и шофер, примчавшийся рано утром, заставил нас быстро собраться: мы успели доехать до грейдера, пока проселок не развезло.

Гости были премного довольны. Архиерей поблагодарил меня и сказал:

— Я был совершенно уверен, что под вашим водительством все у них будет в высшей степени благодатно и без каких-либо недоразумений.

С архиереями кто ж спорит? Я и не стал его разубеждать.

Маша



Отец ходил по Волге баржевым шкипером. Мать, как повелось у баржевых, работала при нем матросом. Жили они в кормовой надстройке, здесь Николушка и родился. Была зима, баржа стояла в затоне, и отец сколько мог утеплил жилье: обшил тесом и настелил пол. Согревала их небольшая железная печка, служившая заодно и кухонной плитой. Почти на всех соседних суденышках точно так же зимовали другие семьи — целая деревенька. Этим волгарям просто некуда было деваться — за войну они утратили кров.

Первые семь лет Николушка существовал при родителях, потом его определили на берег — в школу-интернат, где он сменил своего старшего брата, поступившего в мореходку. Некогда у них была и сестра — предвоенного года рождения, но во время эвакуации она заболела и умерла. Эвакуировалась семья недалеко: от родного Сталинграда километров двести пятьдесят вниз, где взрослые работали подборщиками — подбирали трупы, плывшие со Сталинградской битвы. Там, в селе, девочку и похоронили.

Иногда родители навещали могилку, брали с собой и Николушку. Капитан буксира останавливал караван и ждал, пока они на лодке сплавают в село и вернутся обратно.

Кроме обычной школы, Николушка посещал и музыкальную — уж очень отец любил музыку: сначала возил с собой патефон и меж фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой, потом приобрел радиолу и множество самых разных пластинок. Чаще других крутили Чайковского: по мнению отца, сочинения выдающегося композитора особенно гармонировали с волжскими берегами. Такой же чести удостоились некоторые произведения Глинки, Рахманинова, Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает... Потом говорит: «Годится!» Или: «Не годится!» Это уж кому как повезет. К его прискорбию, в музыкальной школе были только духовые инструменты — их Николушка и осваивал.

Летом, в каникулы, он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию — баржевый, опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах: у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что-нибудь, подкрашивать, драить, смазывать — Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой.

Последние школьные каникулы он, как обычно, проводил в плавании: из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины, из Астрахани вверх — арбузы.

В Астрахани — хорошо: только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, повыбирает, наконец выберет: возьмет литровую банку «наисвежайшей зернистой», поставит на стол и протягивает столовую ложку: «Держи, Коль, икру надо есть ложкой». Ну, понятное дело, помидоры еще, арбузы, фруктов всяких полно... А уж рыбы сколько! Хоть на рейде, хоть у причала — Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и сомов, и жерехов, и окуней, и судаков, и щук... Про воблу говорить нечего — ее вялили сотнями. До чего же хорошо в Астрахани! Было... тогда... Впрочем, и сейчас еще неплохо.

Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд — ждать второе суденышко: их должны были буксировать парой. Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизель-электроход из Москвы: ожидая, когда освободится занятый кем-то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятие. Поворошил землю в старом ведерке — посмотрел, сколько осталось червей: в Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что на утро хватит, а больше и не надо было — днем следовало отправляться.

От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управлявший рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы, набережную... Оборотился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе... За окном одной из кают светлело лицо

девушки... Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать...

Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь.

Потом девушка выбежала на палубу.

— Как тебя зовут? — крикнул он.

— Маша, а тебя?

Он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход.

— Как найти?

Девушка несколько раз прокричала номер, Коля запомнил.

Зимой они общались только по телефону, и то редко, когда Коле удавалось накопить денег. Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище, — он поехал в Москву. И поступил. Маша отдыхала с матерью где-то на юге и вернулась только к первому сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия — а она училась в десятом классе, — и поначалу встречи получались краткими, на улице. Наконец Коля был принят в доме и представлен матери — отец давно завел другую семью и не появлялся.

Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо, ожидая ее из школы, на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них — вполне состоявшиеся молодые люди с профессией и зарплатой, а не с жалкой стипендией.

— Ты волнуешься из-за них? — как-то спросила Маша.

Коля кивнул.

— Не волнуйся, — спокойно сказала она.

Однако он продолжал страдать. И не столько из-за поклонников, сколько из-за себя самого: с каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое-то впечатление, а здесь он превратился в экзотику — деревенский трубач. Машина мама так и называла его — Трубачом. Она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости.

Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес:

— Ты, кажется, меня совсем разлюбила.

— Нет, — отвечала Маша словно в раздумье, — я люблю тебя, — но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности.

Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли: он хотел заработать деньжат, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось: перелеты, переезды, концерты, репетиции — то в гостиничном номере телефона нет, то есть, да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле — когда плечиком, словно невзначай, прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву. А позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий...

Вернулся Николай — а в квартире Машиной никого нет: свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано.

Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка — меццо-сопрано, из-за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился.

Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну.

Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса.

Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое, с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа, — совсем никакого. Там была только Маша. Единственная. Меж тем они и поцеловались-то по-взрослому лишь раз. Был зимний вечер, они стояли в сквере у Машиного дома, под



фонарем, снег падал тихими хлопьями... Их бросило друг к другу с такой силой, что губы — в кровь. «Как еще зубы не повыбивали», — смеялись они потом над своей неумелостью.

И ему верилось, что она непременно жива, и все-то у нее слава Богу: муж, дети, внуки... И все они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостно и тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль: ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго — на мгновение... Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую-то упорядоченность, завершенность, какой-то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом: одна струна настраивалась под одного человека, другая — под другого, третья — под третьего... А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей, все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть балалайка, зато — с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ласковую, красивую.

Если бы встретиться... Хоть на миг...

Премия



От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь неблизкий — шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка: он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и, почти лежа на сиденье, спрашивает:

— Далеко?

— Далеко, — машет рукою Сашка.

— Залезай, до Пушкинской могу довести, — и, когда Сашка садится, объясняет: — Мне там разворачиваться в обратную сторону.

Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов — ночь...

— Провожал? — спрашивает водитель — человек немолодой и, похоже, приветливый.

— Провожал.

— Поцеловать-то позволила?

— Позволила, — улыбается Сашка.

— Дело хорошее, — признает водитель. — Ну а так... еще чего-нибудь перепало?

— Да нет вроде бы...

— Совсем ничего?.. Ну хоть по мелочи — приобнять там... и все такое...

— По мелочи перепало... чуть-чуть.

— Уже неплохо, — оценивает водитель и вздыхает.

На Пушкинской они расстаются. Но Сашка недолго бредет пешком: его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос.

— Ты ходил встречать Гагарина? — спрашивает водитель.

— Ходил, — отвечает Сашка.

— Здорово было!

— Здорово! — соглашается Сашка.

Доезжают до Белорусского. Дальше — по шпалам в сторону «Беговой».

Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая». Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал два бокала шампанского, два мороженых и два кофе — на все, как и предполагалось, ушло три рубля, а четвертый — резервный — остался. Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси, а теперь — далеко ушел, не возвращаться же.

В столовой почти никого нет, лишь у окна сидят двое в форме железнодорожников: старый и молодой. Сашка подходит к кассе и протягивает монету:

— Чего-нибудь...

Ему дают тарелку пельменей, компот и сорок копеек сдачи:

— Первого пока нет: щи кончились, борщ еще не сварился. Если не хватит — подойдешь, я тебе на сорок копеек пельменей добавлю.

Сашка ест и все пытается сообразить: хватит ему или не хватит, но мысли разлетаются и никак не удается сосредоточиться.

— Семеныч, — обращается кассирша к старшему, — гляди, как у парнишки глаза горят.

— Молодой, — отвечает железнодорожник, — вот и горят.

— Помощник твой тоже молодой, а не горят.

— Когда премию получаем, и у него горят.

— А у этого не от премии — я разбираюсь. Ты со свидания, что ли? — обращается она к Сашке.

Сашка молча кивает и поднимается — боится, что сейчас начнут спрашивать про поцелуи и все прочее.

— А это и есть самая лучшая премия, — смеется старший, — тебе, парень, куда?

— На Хорошевку.

— Можем добросить до «Беговой», но отправление, — посмотрел на часы, — минут через тридцать.

— Спасибо, я за это время дойду.

На Хорошевском шоссе ни машин, ни пешеходов — ночь... Пролетел с воем тяжелый панелевоз первого автокомбината — откуда-то издалека домой возвращается, и снова тишина. Сашка осторожненько отпирает дверь, бесшумно входит, и тут же у матери в комнате зажигается свет — она не спит. И начинается: «шляешься по ночам», «наверное, выпил», «еда в холодильнике».

— Я премию получил, — говорит Сашка.

— Какую еще премию? Где ты мог ее получить?

— У Сретенских ворот, мам, у Сретенских, — он падает на кровать и мгновенно засыпает крепким сном счастливого человека.



Дебаркадер



Перегоняли дебаркадер — из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало, и пришлось перебираться на другой банк: банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий.

На время события прием гостей был приостановлен — дебаркадер оставался без электричества, а значит — совсем без комфорта, однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким, и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением.

Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе, нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали.

Пролетела байда — десятиметровая стальная лодья с двумя подвесными моторами по двести сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается, носовые обводы узкие, как стилет.

— Бракаши, — сказал механик, — в море пошли — проверять сети.

Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский: пустое металлическое корыто, разве что стлани на дне.

Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани — в речных протоках: брали только икру, от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники.

Теперь все иначе: рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк — недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что байды вместе с рулевыми пропадают бесследно, но недоразумения такого рода происходят, конечно же, исключительно из-за стихии, а вовсе не оттого, что чиновники не поделили акваторию Каспия.

Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель, — мы даже с кресел попадали. Буксир дернул раз, другой — не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам, между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег, — протока была перекрыта.

— Расклинило... или заклинило... не знаю даже, как правильнее сказать, — оценил ситуацию механик.

Высвободили трос, буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надобно другим бортом, перешвартовались — и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта. Как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно, и потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира: мы с механиком и капитан с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня:

— Знаете на Волге городок Плёс?

— Разумеется, — говорю, — и даже бывал там.

— Место, где мы засели, на старых лоциях тоже именуется Плёс, в честь того городка, стало быть.

Я заметил, что между красотой знаменитого Плёса и однообразием окружавшего нас тростника мало общего.

И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плёс: фарватер уж очень извилистый. Бурлакам приходилось пускаться вплавь со своими веревками: то вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. В засушливое лето река мелела, и для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие.

С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало: баржи проводились не

караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди.

И вот старинные речники, из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко Плёсом: фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу, отмели то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенная незадача — селиться негде: тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились.

В середине двадцатого века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до каспийских глубин.

— Рыбы тогда было — шквал! — сказал капитан.

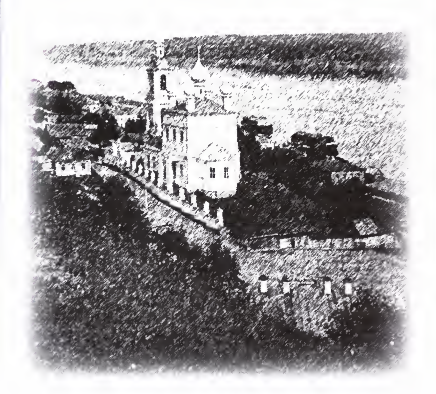
Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны: рыбаки вытягивают невод с сотнями осетров, и обязательно — белугу невообразимых размеров.

В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянулись илом, песком, и Плёс явился из небытия.

Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились, снизу стоял буксир со всеми положенными настоящему судну огнями. И, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем, а если на пути попадется какая-нибудь моторка — разрубят и не остановятся, но буксир — не моторка, а уж дебаркадер — тем более.

Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли: течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресла.

Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли: временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки! Правда, рыбы в сетях не



было — только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили и несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями — простейшая браконьерская снасть: укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлась перетягою, а теперь, для конспирации, просто снасть.

Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток — и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнакомые угодья, но как-то впустую...

— И на этом банке рыбы не стало, — вздохнул механик, — надо было раньше переезжать, года три-четыре назад, — тогда здесь неплохо ловилась. — Помолчал и снова вздохнул: — Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой икорно-балычного комбината — что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего... Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет... ну, внукам маленько достанется, а вот правнуки, наверное, рыбы уже не увидят.

Боковое зрение



Отец Александр, благочинный, служил на Георгия Победоносца за пятьдесят километров от города — там у старенького отца Сергия был храмовый праздник, попросту говоря, — престол. С утра, как положено, отслужили водосвятный молебен, а по окончании литургии прошли крестным ходом вокруг собора.

Назавтра отцу Александру предстояло здесь же хоронить останки воинов, найденные поисковыми группами, и он решил заночевать в селе. Избушка отца Сергия для этого не годилась: всей мебели — стул, стол, кровать... можно еще причесть аналой в красном углу — и ничего более. А вот у его соседа Борьки дом был просторный и к приему гостей располагающий. Туда после службы и пошли.

Борька, происходивший из этого самого дома, успел немало помотаться по весям и городам, где-то завел семью, где-то — свое дело, но со временем эти полезные обретения он растерял и вернулся, чтобы теперь всякому гостю показывать кольцо, привинченное к потолку, и многозначительно изрекать: «Здесь

я в зыбке качался». Со школьных времен у него была тяга к электрическим и электронным приборам, и во время своих скитаний Борька даже успел получить некоторое по этой части образование, так что легко ремонтировал односельчанам домашнюю технику, с чего и существовал.

Праздничный обед складывался по-холостяцки: напиток вопросов не вызывал, на закуску — селедка и соленые рыжики, горячее — отварная картошка, а первого блюда и вовсе не было. После обеда прилегли отдохнуть. Ближе к вечеру пошли прогуляться. Борька жил на самом краю села, и братское кладбище находилось неподалеку от его дома. Прикинули, с какой стороны надобно будет копать, и отец Сергий сказал, что экскаватора, то есть колесного трактора с ковшом, в селе ни у кого не сохранилось и что военкому об этом сообщено.

— Знаю, — вздохнул отец Александр, — ему еще почетный караул где-то добывать: у нас в районе теперь — ни одной воинской части, ни одного солдата...

— В крайнем случае я могу из ружья стрельнуть, — сказал Борька, — троекратный салют, как положено.

Отец Сергий отмахнулся:

— Балабол...

— А что? Если армии не стало, хоть из ружья: оно у меня двенадцатого калибра — громко стреляет...

— Страсть как громко, — подтвердил отец Сергий, — ты мне вечерами и помолиться не даешь.

— Так то ж сезон был, я на уток охотился.

— Какие утки? Тьма кромешная, а ты бабахаешь!

— Самое время! — Тут Борька взялся пространно и со всякими отвлеченностями описывать тактику вечерней охоты на водоплавающую дичь. Батюшки шествовали молча. Но если отец Сергий внимал

рассказчику, то отец Александр, погруженный в невеселые размышления, не слушал и даже чуть поотстал. Он еще утром насторожился, заметив, что народу в храме было меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. Благочинный знал, что дело не в батюшке, которого прихожане любили, кажется, все крепче и крепче, а в том, что люди исчезали куда-то — умирали, уезжали, наверное, и численность жителей сокращалась.

Он думал о том, что отец Сергий совсем состарился и скоро ему понадобится замена, а кого направлять в это сельцо — непонятно. Молодого священника с матушкой и детишками сюда не пришлешь — прихожане точно не прокормят... Это отец Сергий прижился — четверть века бессменно: и храм разрушенный поднял, и матушку здесь похоронил. Дочка у него далеко где-то, не появляется, а он живет один-одинешенек — ничего не требует. Отец Александр предлагал ему взять благословение у архиерея да и принять постриг, а он говорит, что место монаха в монастыре: «В монастырь меня уже не возьмут, на кой я такой старый им нужен — одна обуза. А здесь у меня жизнь мужицкая: изба, огород, дрова, стирка... Стиральной машины нет — приходится кипятить, а потом полоскать на озере... Устану, правило монашеское отложу — вот и грех. А у меня их и так без счету». Некем было заменить отца Сергия...

— Главное здесь — боковое зрение, — продолжал Борька, — оно видит в потемках и замечает всякое движение по сторонам. А это важно и для охоты, и чтобы от опасности уберечься: мало ли — вдруг сбоку медведь крадется! Вот, смотрите...

Он привел батюшек на берег озера и расставил метрах в десяти друг от друга у самой воды:

— Позицию занимаем лицом к закату — так видимость сохраняется на час дольше. За спиной, глядите, темень тьмучая, а впереди — светло. В небо смотреть не надо — там бесконечность, и глаз не знает, на что настраиваться. Смотреть надо на воду перед собой: она такая же светлая, как небо, но на плоскости глаз легче сфокусировать. Глаза не напрягайте, смотрите расслабленно, словно в никуда. Боковое зрение засечет, если хоть какая-то точка будет перемещаться. Как только обнаружите на воде отражение летящей утки, поднимаете глаза и ружье, понятно?

— Шалопай ты, Борька, — вздохнул отец Сергий, виновато глянув на благочинного, — ну зачем ты нас сюда притащил?

Отец Александр успокаивающе махнул рукой:

— Ничего, постоим, закат красивый...

Но постоять Борька не дал: он приволок со двора большую охапку сена и сделал батюшкам два мягких кресла:

— Не так устанете, и для маскировки хорошо. Теперь сидите тихо и смотрите.

Они сидели тихо и смотрели.

— У меня утки! — воскликнул отец Сергий, указывая на воду.

Борька подбежал к нему:

— Где?

— Да вот же, смотри, сколько их!

— Ну, батюшка, вы даете! Это водомерки, водяные паучки такие... Да-а... Обычное зрение у вас никуда не годится, а вот боковое — выручило: даже мелких насекомых в движении заметили.

И снова наступила тишина. Утки не летали.

— Подождать надо, — сказал Борька, — чуть-чуть стемнеет, и начнется...

Но как только чуть-чуть стемнело, невесть откуда возникла Марья Васильевна — глава местной администрации. Поздоровались. Она, оказывается, тоже проведывала братское кладбище, и даже прибралась там немножко — какой-то мусор нашла:

— Областное телевидение приедет — неудобно. А что вы тут сидите?

— Мы охотимся, — объяснил Борька.

— Да ну тебя — у вас и ружей нет... Скажите-ка лучше, за кого голосовать будете?

Они смотрели на воду и не отвечали.

— А я решила уже... Между прочим, я всегда угадываю: все, за кого я голосовала, обязательно выигрывали.

— Так вот кому народ обязан своим процветанием! — воскликнул Борька. — Скажу мужикам...

— А что такого?

— Когда мы с тобой школу заканчивали, сколько жителей у нас было?

— Человек шестьсот.

— А теперь?

— Теперь — четыреста.

— А ты еще спрашиваешь, что такого... Вот завтра захороним тридцать пять бойцов, и на этом братском кладбище народу станет больше, чем в нашем селе...

Но хоронить им завтра никого не пришлось: останки воинов перевезли куда-то далеко-далеко, где удалось найти взвод солдат для почетного караула и экскаватор. Или трактор с ковшом.

Дорожные святцы



На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор. Сходили к Преподобному, показали водителю храмы, богослужение, и он, почти не выбиравшийся из лесной глуши, был потрясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать.

Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уезжали с попутчиком: нам подсадили старика, который кем-то кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли Северной Фиваиды.

— Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не будем — к вечеру надо домой попасть.

— А ему и так хорошо, ему везде свято место.

— Куда, — спрашиваю, — старика потом девать-то?

— Не волнуйтесь: мы договоримся, кто-нибудь его у вас перехватит.

«Ну в крайнем случае, — думаю, — возьму к себе на приход — будет мне какой-никакой помощник».

Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки...

— Да как же, — интересуюсь, — он летом в валенках ходит — стопчутся ведь?

— А старчик, — говорят, — почти и не ходит — ноги у него сильно болят.

Ладно. Захлопнул дверь.

— Как, — спрашиваю, — зовут?

Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу:

— Как вас зовут?

— Отец Симеон... Да, отец Симеон... Семён, короче.

— Так вы монах?

— Монах, монах... Пострижен давно... еще тайно, тогда нельзя было, я ведь инженером работал, это я теперь вот в подряснике...

Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела... Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня: я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое-какие вещи, — все это тряслось теперь в кузове. А главное — лаврская братия снабдила меня алюминиевыми нательными крестиками: крестить приходилось до ста человек ежемесячно.

Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко напевать. Мы — свое, а он поет все громче, громче, и слышу я — это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а потому и непозволительно...

А старик дальше: тропари Никону, Михею и прочим Радонежским святым. Пел он так почти до Переславля Залесского. Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божиими. Пропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель: «До Ростова столько-то километров». Стали поминать Ростовских святых: «Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас», «Святителю отче Арсение, моли Бога о нас»... Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям-страстотерпцам и, конечно, преподобному Иринарху.

Засим — Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой-то несправедливости из месяцеслова выпал, но остался в Киевском патерике и в службе Торжества Православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось.

Вспомнили еще нескольких Ярославских святых, а потом пошло-поехало: то знак «река Обнора» — и все Обнорские, то «река Нурома» — и Нуромские, а заодно Комельские, Спасо-Каменские, Сянжемские... На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Димитрия Прилуцкого.

Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну, вы даете», — и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине: у поворота на Тотьму начали вспоминать Тотемских святых и вспоминали,



пока город не остался далеко позади. У села Маркуша спели преподобному Агапиту и наконец затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устьянский, но до реки Устьи мы сегодня не доберемся.

А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирилловским, Череповецким — целому сонму святых: «Потому что у нас, куда ни стань, везде свято место — земля такая».

Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братиям, «чтобы обозначиться». Ночевали у меня в деревне.

Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу: утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они далее по святой земле страдающего Отечества.

А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял:

— Все-таки мы тогда как-то странно ехали — машина летела, словно даже не касалась асфальта.

Отпуск



Отцу Игнатию отпуск выпал сразу после Крещенья. Летом в монастыре отпусков не давали — летом вся округа заполонена дачниками, да еще каждый день туристы на огромных автобусах, так что народу в храме битком, на исповедь — очереди. Кроме того, летом стройка, ремонт: тут красить, там копать — дня не хватает. Потому отпуска — только зимой.

— Езжай, куда хочешь, — благословил настоятель, — деньги у казначея возьмешь.

Отец Игнатий поблагодарил, но сказал, что ехать ему некуда.

— А раньше ты куда ездил?

— Домой, к сестре.

— Ну!

— Она ведь померла. Помните, мы молились о упокоении рабы Божией Евфросинии?..

Настоятель вспомнил:

— Было такое.

— Племянники дом продали, так что ехать теперь мне некуда.

Прошло еще несколько дней: отец Игнатий попрежнему ходил на братский молебен, пел на клиросе и про отпуск не думал. А настоятель думал: он был заботлив, но молод и не понимал, как можно отказываться от возможности сменить обстановку, отвлечься, отдохнуть; он объехал все святые места земли, теперь осваивал несвятые и хотел, чтобы иеромонах Игнатий, старейший насельник монастыря, хотя бы выспался. И по молитвам отца настоятеля дело сдвинулось.

Помог слесарь Володька. Вообще-то он был кандидатом наук и занимался прежде ракетами «воздух-воздух», из-за чего, собственно, в процессе разорения страны и пострадал. Помучившись без работы, уехал в деревню и подвизался теперь на ниве монастырского водоснабжения.

Володька был родом из Псковской области и каждую зиму ездил туда за рыбешкой, чтобы подкормить братию перед Великим постом.

— Поедешь рыбачить, — сказал отцу Игнатию настоятель.

— Как благословите, но обязан признаться, что не умею, — возразил старый монах.

— Почему не умеешь? Ты же в молодости был этим...

— Кем?

— Ну... моряком.

— Матросом. Старшим матросом на эскадренном миноносце. Палубу драил, а рыбачить не довелось. Так что не умею нисколько.

— Вот и плохо, вот и не прав: апостолы умели, а ты отказываешься... Ну да ладно: Володька научит, — и указал на водопроводчика.

— Так то ж апостолы... У меня и облачения должного нет.

— Кладовщик выдаст. А у келаря возьмете сухой паек на неделю — к Сретенью возвращайтесь.

Кладовщик принес валенки, тулуп, ватные штаны, шапку-ушанку и теплые рукавицы:

— В таком виде, батюшка, вы будете натуральнейший Дед Мороз.

Потом сходил еще раз, чтобы добавить серебристый ящик.

— А это что? — поинтересовался отец Игнатий.

— Вам, сидеть, — отвечал кладовщик, — меня за этим специально в рыбацкий магазин посылали.

Под утро отслужили с братией молебен о путешествующих, келарь загрузил в машину продукты, и отпуск начался.

Машина у Володьки была большая — иностранный пикап. Летом он снимал с кузова крышу и возил, как в грузовичке, мешки с цементом, кирпичи, водопроводные трубы, а сейчас кузов был тщательно вымыт, застелен линолеумом и закрыт.

— Куда едем-то? — спросил батюшка, когда выехали на трассу.

— Город Себеж — слыхали когда-нибудь?

— О! —удивился отец Игнатий. — Конечно, слышал: отец мой во время войны ногу там потерял. Как начнет протез прицеплять, сердится: «Съезди в Себеж, поищи ногу!» Протез неудобный был, надоел ему... А я так и не сподобился...

— Ну, может, теперь найдем, —улыбнулся Володька.

— Да она уже лет тридцать отцу без надобности... нет, тридцать пять...

— У нас там, где ни копнешь — всюду косточки. Рельеф сложный: озера, реки, ручьи, холмы, овраги, перелески, — там сотню танков в бой не бросишь, да

и бомбить — не разберешься кого. Так что больше — лоб в лоб...

Перед Себежем свернули на грейдер. Миновали несколько полуживых деревень и наконец добрались до последней, где дорога заканчивалась. Володька предварительно связывался с кем-то из земляков по телефону, и потому возле избы было расчищено место для автомашины, а сама изба слегка протоплена. Затопили еще разок — и русскую печь, и голландку, принесли воды и стали обустраиваться.

На стене в рамочке под стеклом висела свадебная фотография Володькиных родителей, которые теперь состарились, жили у сына и, случалось, захаживали в монастырь на богослужения.

Протопив печи, рыбаки помолились и улеглись спать. Постели были холодноваты, однако вовсе не это обстоятельство помешало отцу Игнатию выполнить благословение настоятеля и отоспаться: большая серая крыса, поселившаяся в пустовавшей избе и считавшая себя единоличной хозяйкой, совершенно не ожидала гостей и всю ночь встревоженно металась по комнатам. Володька зажигал свет — крыса исчезала, гасил — и она снова начинала топать, чем-то шуршать, что-то грызть...

Затихла крыса, когда рассвело. «Всякое дыхание да хвалит Господа», — оценил батюшка прошедшую ночь.

Отправились на озеро. Просверлив лунки, Володька дал отцу Игнатию удочку, дождался первого пойманного окунька и ушел: надо было объехать знакомых мужиков на предмет рыбных закупок.

Было пасмурно, тихо и совсем не холодно — это делало рыбалку приятной и легкой. До полудня окуньки и плотвички клевали весело, потом клев

прекратился, и отец Игнатий задремал, стараясь сидеть прямо, чтобы не упасть с ящика, купленного специально. Иногда открывал глаза, проверял удочку и вновь погружался в сон. Уже темнело, когда на лед вышел мужичок — наверное, тот самый Никола, который и протопил избу, других мужчин в деревне не оставалось. Он направился вдоль камышей, чтобы, как объяснял Володька отцу Игнатию, установить жерлицы на щуку.

Следующая ночь оказалась еще тревожнее: крыса носилась не только по полу, она запрыгивала на кровати, явно пытаясь выгнать людей из дома.

Зажгли свет.

— А вы говорите «всякое дыхание», — горестно произнес Володька.

— Не ропщи, — сказал батюшка.

— А я и не ропщу.

— Еще как возроптал...

— Ну так она же спать не дает! Поеду завтра по деревням искать крысоловку.

— Не надо крысоловку, лучше кошечку. На пару дней. У нас отец настоятель, когда ему ремонтировали покои, жил в старой баньке. Как только появлялись мыши или крысы, он брал на денек-другой кошечку из коровника. И те уходили.

— У Николы есть кот, но его в руки не возьмешь и в чужой дом не затащишь. Прозвание у него Изверг. А потом — он все время в командировках: я сегодня видел его где-то далеко-далеко отсюда.

— Нет, нужно что-то более снисходительное, чтобы, значит, снизошла до наших надобностей и претерпела перемещение.

— То-то и оно, что снисходительное. Вот у родителей жила здесь молоденькая кошчонка, но, когда я

их забирал, кошку выпросил двоюродный брат, так что она теперь в соседней деревне.

— Эта может и снизойти, — задумчиво произнес отец Игнатий.

— А что, может, — согласился Володька.

Они приехали в соседнюю деревню затемно. Двоюродный брат встречал их еще в трусах.

— Нам бы кошечку, — попросил Володька.

— Взаймы, — добавил отец Игнатий, — на пару деньков.

— Это можно, — сказал брат, зевая, — зовут ее Мурка, но, прошу обратить внимание, возвращать придется с процентами.

И принес пузатую кошку деревенской породы, которая определенно была на сносях:

— Берете?

— Берем? — переспросил Володька у батюшки.

— Берем, — благословил отец Игнатий.

Привезли кошку в родную избу, осторожно спустили на пол. Постояла она на раскоряченных лапках, постояла да и пошла прямиком к продавленному дивану. Глянула за диван и мяучит. Володька отодвинул мебельную реликвию, а там — дыра в полу. Подмели за диваном, постелили чистый половичок, и Мура вытянулась во всю длину, чтобы, значит, не мешать брюшку.

Рыбачили вдвоем и наловили много, даже Володька, и тот удивлялся:

— Ничего себе! Отродясь столько не лавливал! Надо, батюшка, всякий раз приглашать вас с собой.

Вечером отец Игнатий, читая правило, уснул — хорошо еще, что на коленях, падать было невысоко. Однако в эту ночь рыбаки выспались: ни единого шороха никто не слышал.

Проснулись поздно: окна солнечные и в ледяных узорах – подморозило, стало быть. Когда вышли из дома, батюшка показал Володьке крысиный след, который уходил в сторону брошенного скотного двора. Володька поехал скупать у мужиков рыбу, а отец Игнатий продолжил промысел самостоятельно.

Назавтра тронулись в обратный путь. Сначала завезли снисходительную кошчонку, которая и крысу выгнала, и «проценты» при себе сохранила. Одарили ее пакетом свежемороженой рыбы. У какой-то деревни остановил мужичок – добавил в кузов большую щуку, пару огромнейших окуней и полмешка мелочевки.

Володька был, кажется, вполне доволен: и товар приобрел, и земляков хоть немного утешил, а то ведь по деревням теперь никаких заработков нет, люди в мертвецкой нищете прозябают.

Отец Игнатий тоже находился в благом расположении: ему было приятно, что съездил не зря и пусть ничтожную, но пользу принес, – глядишь, из его окуньков братии сварят ушицу. А еще приятнее было оттого, что гулянка закончилась: за эти дни он истосковался по монастырю, по своей келье и укорял себя за то, что в разговоре с отцом настоятелем не проявил убедительности: «В следующий раз на колени пред ним упаду, только бы не отправлял в отпуск: отпуска эти – суета несусветная. И более ничего».

Самая секретная база



Машина остановилась прямо у распахнутой дверцы вертолета. Отец Василий, придерживая подрясник, неловко взобрался по лесенке, и полетели. Шли на небольшой высоте над водой: хорошо были видны и деревенские домики по берегам, и лодчонки в протоках, и даже люди, плывшие куда-то в этих лодчонках.

Потом земля кончилась — начались заросли тростника. И вот, когда до моря оставалось совсем немного, в зарослях тростника открылся остров с красивым дворцом посредине, малыми сооружениями по бокам и вертолетной площадкой на задах пышной усадьбы. Все это было обнесено глухим забором.

Приземлились. Двое военных в камуфляжной форме помогли батюшке спуститься, поздоровались, но имен не назвали. Взяли у него требный чемоданчик и, осторожно поддерживая под локоточки, повели во дворец. Первый пилот пошел следом, а второй остался заниматься чем-то техническим. Дальше все двинулось своим чередом: батюшка облачился, на четырех сторонах разместил наклейки

с крестами и взялся было читать молитвы, но вдруг замер:

— А что это у вас, — спрашивает, — вместо икон — свиные рыла?

Действительно, стены гостиной, где и расположился отец Василий, были украшены клыкастыми кабаньими головами — охотничьими трофеями то есть.

— Не обязательно, — возразил один из военных — старший по возрасту и, похоже, по званию. — Имеются еще и сайгачьи, а также чучела разных уток и других птиц.

— А на втором этаже есть заяц, — добавил младший.

Батюшка достал из чемоданчика складенек, раскрыл его на столе и продолжил молебен. Потом, как полагается, окропил хоромы крещенской водой и помазал наклеечки освященным елеем. После дворца освятил баню, склад, дом охранников, кухню, три катера и, наконец, вертолет.

— Всё? — устало спросил отец Василий.

— Так точно, — подтвердил старший, — теперь можно перекусить.

Обедали у охранников на кухне. Вчетвером. Позвали и второго пилота, однако он пока не мог оставить техническое занятие и только бранился в ответ. За обедом батюшку разморило, стало клонить ко сну, и ему очень захотелось домой, ведь до этого путешествия он успел сегодня отслужить литургию, окрестить пару детишек и теперь, конечно же, приустал. Остальная компания, напротив, с каждой минутой становилась только бодрее и общительнее. Говорили о рыбалке, о ценах на строительные материалы, о ремонте автомашин, и отец Василий не прислушивался. А потом вдруг первый пилот сказал:

— Помогите разрешить духовный вопрос.

— Что такое? — встряхнулся батюшка.

— Теща у меня вроде бы несглазливая: когда приезжала на день, на два — ничего не случалось. А тут с тестем повздорила, и живет у нас уже целый месяц. За это время дочь ногу сломала, — он стал загибать пальцы, — сарай сгорел, в машине стекло разбили, — и поднял руку с тремя загнутыми и двумя оттопыренными пальцами.

— Да-а, — сочувственно вздохнул старший охранник.

— И что делать мне в такой ситуации? — обратился первый пилот к отцу Василию.

Тот задумался.

— Я возвернул ее обратно, — ответил сам себе вертолетчик, — и они с тестем помирились. Что вы, батюшка, на это скажете?

— Скажу: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся».

— А у нас тоже есть духовный вопрос, — присоединился старший охранник. — У нас зеркала по ночам падают.

— Как падают? — не понял отец Василий.

— Прямо так и падают, — отвечал младший. — Я тут ночевал в здании, вдруг просыпаюсь среди ночи — а передо мной на стене зеркало в человеческий рост; смотрю на него: оно вываливается из рамы и — вдребезги...

— И так стало почти каждый раз после отъезда гостей, — добавил старший. — Нам самим приходится покупать новые зеркала, это, сами понимаете, разорение, а рассказать начальству не можем: решат, что мы тут пьянствуем да хулиганим.

— Я уж за лето четыре зеркала им привозил, — вздохнул первый пилот.

— Да, — подтвердил старший, — четыре заезда гостей — и четыре зеркала.

— Может, модель какая-то неудачная? — спросил батюшка.

— Меняли, — махнул рукой вертолетчик, — но все равно: гости улетят, и в одну из ближайших ночей зеркала лопаются: иногда в гостиной, иногда в ванной комнате, — которое в ванной, хоть подешевле. Вот мы и пригласили вас...

— Ну, зеркала, пожалуй, падать больше не будут, — успокоил отец Василий и, помолчав, добавил: — Надо же, до чего погибельные люди: отражением своим разрушают материю. Каково это нашей стране под ними корячиться?

Тут ввалился второй пилот: руки в машинном масле, из нагрудного кармана грязная отвертка торчит. Стал объяснять, почему что-то там не отвинчивалось, но первый прервал:

— Погоди ты, — и к батюшке: — А у меня еще духовный вопрос. Знаете, рядом с аэропортом есть кладбище?

— Конечно знаю.

— Которое на холме.

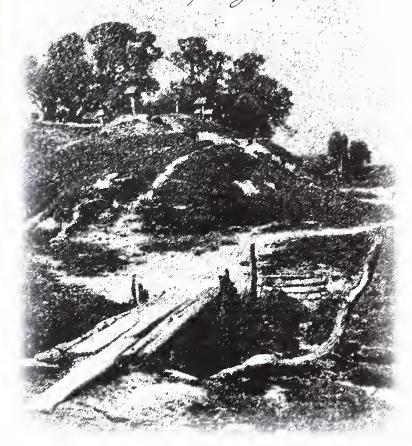
— Знаю, знаю, нашему брату частенько приходится на погостах бывать.

— Захоронения там подбираются уже к самой вершине. Все быстрей и быстрей. А я хотел бы на этой макушке прилечь: оттуда весь аэродром — как на ладони...

— Наверное, можно выкупить, — пожал плечами отец Василий.

— Да там нет ни директора, ни сторожей.

— Ну, тогда огороди участочек, поставь крест или какой хочешь памятник и напиши: «майор Петров».



— Почему «майор Петров»?

— Можешь еще что-нибудь, но обычно в таких случаях пишут «майор Петров».

Отец Василий слышал об этом от знающей личности. Как-то возили его на далекий остров осмотреть полуразрушенный храм. Ткнулись в берег, вышли

из катера, а навстречу им огромных размеров человек в плавках и тапочках: с черной бородой, длинной черной гривой, с большущим крестом на груди. Правильнее сказать, не на груди, а на вершине дороднейшего живота. Крест — желтого металла, с цветными камушками или стеклышками. В точности, как наградной священнический, однако священники носят такие кресты поверх облачения, а тут — вместо нательного. Отец Василий решил, что человек этот — достоинства архиерейского. За сорок лет службы он ни разу не видел архиерея в плавках, но определил, что для священнического служения существо это чересчур устрашительно — прихожане в момент разбегутся, а вот для архиерейского — вполне подходяще, чтобы, значит, попы трепетали.

Но оказалось, что человек этот — директор кладбища одного из центральных городов земли нашей и строит здесь рыболовную базу для себя и своих друзей. Вот он-то и открыл батюшке тайну «майора Петрова».

Между тем трапеза благополучно подошла к завершению. Все распрощались, и вертолет понес отца Василия в родной город, чтобы домой и спать.

Перед посадкой сделали круг над кладбищем. Первый пилот вышел из кабины и указал в иллюминатор на макушку холма: оградки вот-вот должны были покорить высоту.

— Времени у вас не больше недели, — сказал ему отец Василий, когда приземлились.

Через три дня вертолетчик явился в храм и с гордостью сообщил, что обнес оградкой большой участок и поставил крест.

— Я написал там «Героя Советского Союза» — для надежности, чтобы никто не тронул.

— Ты бы тогда уж «дважды Героя» писал, — пошутил батюшка, — заодно установил бы и бронзовый бюст на родине.

— Я ведь не придуманного героя написал, а настоящего! Нам когда-то в училище рассказывали про одного: во время войны сгорел вместе с самолетом, сгорел дотла. Хоронили, можно сказать, символически: обувь да обмундирование — все, что в казарме осталось...

— Ну вот, коли такое дело, теперь молись за него: дома молись, в храме ставь свечки, пиши записки о упокоении, заказывай панихиды, — и будешь ты не только миротворцем, но и молитвенником. Единственным на своей секретной базе.

— На самой секретной... Узнать бы про него... Ну, что за человек он был.

— Сгоревший летчик?.. Прекрасный человек, замечательный!

— Откуда вы знаете?

— «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

— А еще один духовный вопрос можно?

— Можно, можно, только скажи, если не секрет, как тебя величают.

И хотя рядом никого не было, он шепнул свое имя отцу Василию на ухо.

— Ну вот, теперь я могу за тебя помолиться. А сейчас мы пойдем в трапезную, матушка накроет на стол, и ты будешь задавать духовные вопросы — сколько твое прямодушное естество пожелает.



Центр

Улица была чиста и пустынна — ни людей, ни автомобилей. Слева, за деревьями, виднелись остовы недостроенных и брошенных зданий, справа, вдоль тротуара, тянулась высоченная каменная стена с колючей проволокой по гребню. Белые буквы размером с человеческий рост были широко разбросаны по стене и на первый взгляд являли собою нечто загадочное и необъяснимое. Однако, присмотревшись и мысленно восстановив те, от которых никаких следов не осталось, можно было прочесть: «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины».

Стена прервалась ржавыми железными воротами и небольшой будочкой — проходной, на дверях которой висел замок. А дальше опять: те же полуистлевшие буквы и те же слова.

С левой стороны открылось здание усадебной архитектуры: желтого цвета, с белыми колоннами и под зеленой крышей — так в середине прошлого века красили строения особой государственной важности. Аллея из голубых елей преклонных лет, уходившая от главной улицы к зданию, добавляла картине

торжественности и великолепия. И только клумба перед аллеей, поросшая репейником, нарушала возвышенную гармонию.

Наконец впереди показались двухэтажные домики — там следовало повернуть во дворы, миновать спортплощадку и отыскать нужный адрес. Дворы были такими уютными: под кронами старых берез и кленов кое-где совсем по-домашнему располагались столы со скамеечками, беседки. Правда, заметил я, что некоторые сооружения опасно кренились в разные стороны, а у одной ажурной беседки крыша и вовсе провалилась внутрь.

По металлической сетке, огораживавшей пустырь, я понял, что добрался до стадиона. И футбольное поле, и корты — все так густо заросло высокой травой, что, конечно же, совершенно не годилось для использования по назначению.

Дальше снова пошли дворы, и снова уютные. В конце концов нашел я нужный мне дом и квартиру.

Дверь отворила маленькая, но весьма бодрая старушенция, которая была предупреждена о моем приходе. Разумеется, мы не узнали друг друга, да и не могли узнать: со времени нашего общения прошло около полувека, я тогда был юношей-старшеклассником, она — вполне еще молодой женщиной. Но стоило мне назвать имена нескольких общих знакомых из той поры, память ее встрепенулась:

— Погодите, погодите... Мы вместе ездили на турбазу Дома ученых, вы там ловили щук, и повариха готовила из них котлеты. Очень вкусные, между прочим, помните?.. Она добавляла в фарш морковь и капусту — я с тех пор рыбные котлеты точно так же готовлю... Потом отправились путешествовать по карьерам и рудникам — Петра Ивановича с его

регалиями всюду пускали. Вы нашли тогда большой кристалл голубого топаза, правильно?.. Петр Иванович сказал, что образец — не для частной коллекции, передал находку в музей и зарегистрировал под вашим именем, так?.. Помню! Вы тогда еще много интересных камней нашли. Петенька говорил, что специально для того и пригласил вас, совершенно несведущего в минералогии, дескать, новичкам везет... Вы, кстати, не стали коллекционером?.. И в геологию не пошли? Впрочем, что я спрашиваю, и так видно — одежда церковная... Погодите: а как вы попали в друзья к Петру Ивановичу, у вас ведь такая разница в возрасте?.. Ах, да: он с вашим старшим братом что-то там по работе общался, припоминаю...

Она щебетала и щебетала: рассказала, как Петр Иванович — ее драгоценный супруг — заболел, как она пыталась выходить его, когда у врачей опустились руки:

— Надо было бы сводить вас к Петеньке, но передвигаюсь я очень медленно, а кладбище далеко — боюсь, до вечера не успеем вернуться. Там у меня и первый муж... Делали особо чувствительную взрывчатку, и картонный стаканчик с этой взрывчаткой он передвинул по столу... После этого в технику безопасности ввели правило: поднимать стакан со взрывчаткой строго вертикально. И Петенькина первая жена — там же: умерла во время операции аппендицита. Остался маленький сын. И сразу вокруг Петра Ивановича одна барышня закрутилась: у нас ее не любили, называли черной вдовой — паучиха такая есть. Когда мы с Петенькой расписались, она, конечно, отстала. Через год еще один ученый потерял жену во время простенькой операции, туда вдову и пристроили... А вскоре они

уехали: ученый бросил науку и стал заниматься политикой...

Я не понял, каким образом роковая дама связана с незадачливой хирургией, и старушенция неохотно добавила, что здесь, в Центре, решались вопросы действительно мирового значения, потому он и привлекал к себе внимание могучих, хотя и не всегда видимых, сил, о которых Петр Иванович говаривал: «из-под ковра», «из-под двойного ковра», «из-под чужого ковра», «из-под всех ковров сразу».

Потом пили чай с рябиновым вареньем:

— Петенька очень любил, а рябины у нас тут много. Хорошо еще лимон добавлять, однако у меня нынче без лимона, — и смущенно улыбнулась.

Я понял, что живет она бедственно. Спросил о пенсии.

— Мне хватает — жить можно: автолавка привозит продукты, аптечный киоск работает... Наука вот, к сожалению, прекращена, да и ученых почти не осталось: в нашем поселке всего один — высокий такой, ходит в шляпе, с тросточкой, в длинном пальто, мы его Чеховым называем. А в коттеджном поселке — не знаю, сохранился ли кто-нибудь. Мы ведь изначально селились именно здесь — рядом с институтом, потом построили коттеджи — они чуть подальше находятся. Но квартиры за нами оставили. А теперь все, кто жив, вернулись обратно — квартиру содержать легче и дешевле. Есть еще домики в низине, у водохранилища: там жили ученые, которые любили рыбалку, — пока работал Центр, вода и зимой не замерзала. Но о том поселочке я давно уже никаких сведений не имею.

Она вновь вспомнила о временах пятидесятилетней давности и заметила, что тогда все известные ей

люди — не только в Центре, но и по всей стране — занимались чем-то определенным:

— Один у Королева камеры сгорания проектировал, другой — у Туполева делал крыло, третий был известным поэтом, четвертый работал в антарктических экспедициях, подруга моя преподавала в консерватории. И это ведь не какая-нибудь богема: отец подруги был машинистом-паровозником — интереснейший человек, мы так любили слушать его... Все — разные, яркие, все — личности! А теперь кого ни спроси — все что-то компьютерное... Петенькин сын уехал в Америку — что-то компьютерное, внуки — там же и тоже что-то компьютерное. А это, знаете ли, неинтересно совсем, скучно, безлико... Нас тут осталось полсотни старух да один Чехов. Почти у всех есть родня, но мы никуда отсюда не уезжаем — знаете почему?.. Там, у вас, скучно... Мы привыкли к жизни другой, мы в летних отпусках всю страну с рюкзаками исходили, мужья наши могли на табуретке промышленный лазер собрать... Идемте, я покажу...

Мы зашли в квартиру напротив, причем ключ торчал в дверях, и старушка показала мне странную конструкцию, стоявшую, правда, не на одной, а на двух табуретках:

— Лазер. Делали с соседом подарок для школы. Не понадобилось — школу закрыли. Ученые пытались протестовать, сосед наш, а он лауреат государственной премии, бунтовал пуще всех, но не хватило здоровья. Следом ушла и его супруга — она была учительницей литературы. Кстати, Петенька в эту школу и коллекцию минералов передал — все потом куда-то исчезло.

— А дверь, — спрашиваю, — почему не запираете?

— У них замечательная библиотека — наши бабушки иногда захаживают, книжки берут. Вот, взгляните...

Лист бумаги лежал на столе. Я прочитал: там было разными почерками записано, кто, когда, какую книгу взял, когда вернул...

— Ну а чужие люди?

— Чужих у нас нет и никогда не было: Центр охраняется так, что проникнуть сюда невозможно. А на ключ я закрываю от кошек.

— Зачем же, — спрашиваю, — вас так охраняют? Или вы до сих пор носители государственной тайны?

— Да какие там носители? Разве что Чехов... Охраняют не нас: охраняют рабочую зону — ту, что за высокой стеной... Ну, где написано: «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины». Правильно написано: гарантии больше нет... Мы повымрем, дома опустеют, а рабочую зону так и будут охранять...

Приближался вечер, мне следовало уходить, чтобы покинуть Центр до наступления ночного режима. Она отметила в моем пропуске время нашего расставания, указала более короткий путь к главному въезду и спросила:

— А каким образом вы вообще меня разыскали?

Я объяснил, что был в гостях у знакомого батюшки, тот сказал, что окормляет население Центра, я вспомнил о давнишнем путешествии на турбазу Дома ученых, и оказалось, что вдову дорогого мне Петра Ивановича батюшка знает и вполне может организовать встречу.

— Он добрый: он приходит нас хоронить, — похвалила моего собрата древняя старушенция.

Вышли мы через черный ход. У крыльца стояла старая «Волга» — с оленем на крышке капота. Та самая «Волга», на которой мы и катались полвека назад. Петр Иванович, помнится, возил в багажнике запасные рессоры: машина до того перегружалась

найденными образцами, что рессоры, случалось, и не выдерживали.

В соседнем доме играли «Баркаролу» из «Времен года» Чайковского. Окно первого этажа было открыто. Горела за окном настольная лампа под зеленым абажуром. Я остановился послушать. Играли неумело, неровно, с давно заученными неточностями и ошибками.

Выбрался на главную улицу я и впрямь быстро, однако совсем не там, где сворачивал во дворы, а чуть дальше — уже за рабочей зоной. Передо мной открылась долина, в глубине которой лежало водохранилище. Горизонт слабо освещался багровым закатом. Порывы ветра то и дело поднимали опавшую наземь листву, и листья подолгу кружились на фоне заката, словно воронье.

Неподалеку на тротуаре стояли двое мужчин. Один из них, высокий, был в длинном пальто, шляпе и с тросточкой — действительно, натуральный Антон Павлович. Второй — пониже, полноватый — с первого взгляда никакого великого писателя не напомнил. Оживленно жестикулируя, они о чем-то беседовали, и разговор их долетал до меня, но неразборчиво. Причем если Чехов размахивал двумя руками, то полноватый — только одной: другая рука придерживала велосипед. Они были так увлечены, что присутствия моего не заметили. Потом Чехов приподнял шляпу — вероятно, прощались — и пошел по улице вдаль, а второй сел на велосипед и по узкой асфальтированной дорожке укатил вниз, к водохранилищу.

Главный въезд я миновал вовремя. Знакомый батюшка встречал меня на машине.

Доктор философии



После службы — а дело происходило в Москве — отправился освящать квартиру. Пригласили две прихожанки. Незадолго до этого я же и крестил их: сорокалетнюю маму и тринадцатилетнюю дочку, и тогда еще они повели разговор об освящении своего жилища, страдающего от духов нечистых: по ночам кто-то там плакал, стенал, смеялся... А еще предупреждали меня, что бабушка у них — воинствующая безбожница, всю жизнь преподавала философию, профессор, доктор наук. Жили они втроем. Дед — партийный работник — давно умер, а отец девочки давно оставил семью.

Приехали мы к массивному тяжеловесному дому, из тех, что именуются сталинскими, поднялись в просторную квартиру, и я занялся своим делом. Причем, пока совершались соответствующие приготовления и читались молитвы, бабушки видно не было, лишь потом, когда я пошел кропить пятикомнатные хоромы, она обнаружилась в рабочем кресле хозяина: высунувшись из-за высокой спинки, сказала: «Здрасьте», — и снова исчезла. Завершив

освящение, я выпил чашку крепкого чая, предложенного хозяйкой, и уже одевался в прихожей, когда появилась бабушка, чтобы, наверное, попрощаться со мною.

Событие могло бы закончиться не выходя за рамки рутинной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к старухе с призывом принять крещение: мол, болеешь часто, да и годы преклонные... И тут произошел разговор, который можно посчитать просто забавным или анекдотическим даже. Однако по внимательном рассмотрении всякий желающий способен углядеть за словами старушки глубинный смысл. А то и вовсе — заглянуть в бездну...

— Мы — духовные антиподы, — сказала старуха, указывая на меня, — то есть противники и даже враги...

— Последние восемьдесят лет? — спросила девочка.

— Последние две тысячи лет, — отвечала старуха с гордостью, — и я не буду изменять вере своих отцов.

— В Маркса и Ленина? — насмешливо поинтересовалась внучка, намекая, наверное, на то, что и с верою своих предков — похоже, иудейскою — бабулька была не сильно знакома.

— Это тоже наши люди, — спокойно возразила старуха.

— А апостолы? — вежливо заметила ее дочь.

— Они изменили крови: наши учат брать, а эти учили отдавать.

— А Христос? — поинтересовалась девочка.

— Ха! — махнула она рукой. — Этот нам вообще чужой. Он — Сын Божий.

Тут дочка с внучкой натурально изумились тому, что воинствующая безбожница проявила вдруг некую религиозную убежденность.

— Я всегда знала все то, что следует знать, но всегда говорила только то, что следует говорить, — внятно произнесла старуха.

— А чего ж ты в своем Израиле не осталась, раз уж ты такая правоверная иудейка? — набросились на нее дочка с внучкой.

— Там невозможно жить, — обратилась старуха ко мне, словно ища понимания, — там ведь одни евреи — это невыносимо...

— Ну и логика у тебя, бабуль! — изумилась девочка. — И ты с такой логикой сорок лет студентов учила?!

— Да — логика, да — профессор, да — доктор философских наук, а что?.. Что, я вас спрашиваю?.. Теперь будем уезжать не в Израиль, а в Америку.

— Зачем еще? — спросила женщина.

— Как — зачем? И она еще спрашивает — зачем? — старуха снова обратилась ко мне: — От погромов!

Дочка с внучкой стали возмущаться, однако из множества возражений бабушка приняла лишь одно: «Да у них на погромы и денег нет».

— Нет, — эхом согласилась она и тут же энергично воскликнула: — Наши дадут им денег, и начнутся погромы! Что мы будем делать тогда?

— Спрячемся у батюшки, — отвечала дочь, утомившаяся от бесплодного разговора.

— А вдруг места не хватит, у него ведь могут найтись люди и поближе нас.

— Вот и крестись давай, чтобы оказаться поближе! — внучка рассмеялась.

— А кто у него дома есть? Кто будет нас защищать? Кто...

— Сам батюшка и будет, — оборвала ее женщина.

— Но он же, — задумчиво проговорила старуха, — он же уйдет на погром...

С тех пор покой этой квартиры не нарушался ни загадочным плачем, ни пугающим ночным хохотом. Бабушка, напротив, стала чувствовать себя крайне неважно: она жаловалась, что ее изнутри кто-то «крутит», «корежит», а однажды с ней случился припадок вроде эпилептического, хотя никаких намеков на падучую медики не обнаружили.

В конце концов она не выдержала и эмигрировала за океан.



Письма митрополита



Незнакомая старушка подошла после богослужения и сообщила, что некий человек хочет передать мне важные исторические документы. Предприятие осложнялось тем, что человек этот жил в Эстонии, в Москву приехать не мог, а отправлять документы почтой не решался:

— Русские письма пропадают, — объясняла старушка.

Получалось, что встреча может состояться лишь на границе — в Иван-городе.

Как-то зимой выпало три свободных дня между службами, я позвонил хранителю старых бумаг и отправился. Всякому хорошему делу, как известно, сопутствуют искушения. Здесь они начались по приезде в Санкт-Петербург: оказалось, что билетов до Иван-города нет. Пришлось выбираться на трассу и ждать попутного автобуса. День выдался студеный — градусов двадцать пять, да еще, как положено в этой местности, ветер, и потому, не дождавшись за полтора часа нужного транспорта, я запрыгнул в какой-то автобус, чтобы оттаять. Он

двигался в нужную мне сторону, однако очень недалеко. Пришлось вылезать и ждать следующего. Следующий довез меня до половины пути и, перед тем как свернуть с дороги, высадил возле дорожного поста. Я попросил помощи.

— Это можно, — сказали инспектора, — в любую машину пристроим, — но запросили сумму, превышающую мое жалование.

Намерзнувшись вдругорядь на ближайшей автобусной остановке, я зашел в придорожный магазин.

— Окоченел, — определила продавщица. — Чем согреваться будем — водочкой?

— Хорошо бы, — говорю, — чайку с кагорчиком.

— Чаю, так и быть, налью, а кагора у нас отродясь не бывало. Если не желаете водки, возьмите коньячный напиток местного производства.

— Кончину безболезненную, непостыдную, мирную — гарантируете?

— Народ пьет — никто не умер пока.

Расположиться было велено на подоконнике, где дремал белый кот. Я хотел потеснить его и спросил у продавщицы, как зовут альбиноса.

— Зови не зови — он глухой. Да и что хорошего тут услышишь? Мат-перемат...

Кот на мгновение приоткрыл глаза: один — голубой, другой — розовый, и опять уснул.

Отогревшись, я поблагодарил продавщицу, вышел на трассу, и вскоре предо мной остановился автобус: теплый, с мягкими сиденьями. Благополучно долетев до места, я отыскал нужный дом. Встретили меня обычные православные люди, которые всюду — свои, напоили чаем, вручили пакет и проводили на обратный автобус, так что к ночи я возвратился в Санкт-Петербург, а утром — в Москву.



Пакет хранил письма и фотографии святого митрополита Макария — преданнейшего воина Церкви Христовой, служившего ей семьдесят с лишним лет, из которых сорок два года — в архиерейском сане.

Начав с миссионерской деятельности на Алтае, он был затем епископом Томским, а с 1912 года — последним перед революцией Московским митрополитом.

Душеполезные письма эти были адресованы одной из духовных дочерей владыки Макария, трудившейся сестрой милосердия на Западном фронте. После ее кончины они долгое время бродили неведомо где, пока не осели у того самого человека, который и принес их из заграничной страны: он называл себя монахом Савватием. Каких-либо частных тайн корреспонденция не содержала, а потому просьба хранителя об издании писем представилась выполнимой.

И вот как-то в Троице-Сергиевой лавре сижу на скамеечке, отдыхаю. Подсаживаются двое семинаристов: у каждого в руках только что вышедшая книжка писем. Один читает: «Жаль, что евреям дана воля смущать простой русский народ: они идут против Христа». Другой: «Во времена нашествия монголов на Русь духовенство и иноки не испытывали столько оскорблений и лишений, сколько испытывают от несчастных христиан, богоотступников нашего времени». Завязался у них философский разговор о богоборцах и богоотступниках, и по всему выходило, что предатели и перебежчики — куда хуже врагов. Беда нашему Отечеству...

Тут зазвонил колокол, и мы направились к службе.

Африканский брат



Как-то видим на богослужении негритянского прихожанина: стоит себе, молится да крестное знамение совершает не по-католически — слева направо, а по-нашему, то есть как раз справа налево... После службы спрашиваем его: какого он роду-племени и почему православный? Отвечает на англо-французском: дескать, он наипервейший наш африканский брат по имени Анатолий, а далее переходит на неведомый нам язык, и мы ничего не уразумеваем.

— Короче, — не вытерпел отец диакон, — ты хоть из какой страны?.. Ну, из какой кантри? — Диакон у нас молодой и вполне современный.

Африканский брат сказал какое-то слово, которым, возможно, обозначается название отеческой его стороны, однако никто из нас повторить в точности это слово так и не сумел, а потому пытаться изображать его теперь буквами русского алфавита было бы слишком дерзко.

Побеседовав таким образом еще с полчаса, мы узнали, что Анатолий приехал чему-то учиться,

но до начала занятий целых два месяца, и пока он живет в посольстве той самой страны, название которой у нас никак не выговаривалось, однако хочет потрудиться на благо вселенского Православия и просит за труды совсем немного: раз в день кормиться обедом.

— Толян! — расчувствовался отец диакон и положил руку на плечо своего нового брата. — Мы тебя и три раза накормим — не сомневайся! Правда, батюшка? — Потом вздохнул: — Видать, в посольстве у них с харчами не задалось: одни бананы, наверное. Да и те, может, зеленые...

И стал африканский молитвенник каждое утро приходить в храм: отстоит службу, потом — на трудовые свершения: у нас реставрационные работы шли, и всякого мусора было много — вот Анатолий и возил его куда-то на тачке. В свой час — обед в трапезной: помолимся, скорехонько поедим, снова помолимся — и опять по своим послушаниям. А как только колокол зазвонит к вечернему богослужению, Анатолий — тачку на место (у нее и специальное место под строительными лесами расчищено было — вроде гаража), со всеми попрощается и — в посольство несказанной своей страны. Он бы, конечно, и на вечернее богослужение с превеликою радостью оставался, да у дипломатических его соотечественников были какие-то свои режимные строгости, которые с нашим уставом не совпадали. И вот что примечательно и потому требует неотвлекаемого внимания: ни русского языка, ни церковнославянского Анатолий не знал, да и музыкальная культура наша была ему незнакома, однако каждую службу он проводил в благоговейной сосредоточенности, крестился и кланялся в нужное время, не озираясь

при этом на других... Так давалось ему с небес по его искренности и смирению.

И пока африканец ходил к нам, он, сам того нисколько не ведая, служил укором представителям несчастного племени русских интеллигентов, забегавшим иногда, словно в капище огнепоклонников, чтобы единственно «поставить свечку», и тут же вылетавшим обратно, поскольку «ничего у вас не понятно». Бедолаги... Жертвы кропотливой селекционной работы, начатой еще в пятнадцатом веке старательным иудеем Схарией, сумевшим привить к православному русскому древу ветвь иудейского богоборчества. В конце концов удалось выпестовать трагическую химеру: ветвь эта от корней напояется чистой водою Истины, но вместо листьев — смердящие серой копыта, рога и хвосты. И от гибельного этого запаха вянет соседственная листва, сохнут другие ветви...

Впрочем, Анатолий успел послужить укором не только этим заблудшим людям, первейшим родовым признаком которых является подобострастное отношение к потомкам незабвенного Схарии, но и представителям иного человеческого сообщества, сильно размножившегося в девяностые годы нашего печального века. Однако тут следовало бы ненадолго отвлечься, чтобы в самом кратчайшем виде обрисовать страничку церковной жизни, со стороны обычно не замечаемую.

В наши дни среди просящих милостыню редко увидишь искренних — под искренними я подразумеваю людей, действительно терпящих материальные бедствия: страдальцев этих быстро вытесняют закоснелые паразиты. Которые, конечно же, не могут обделить своим хищным вниманием ни один приход.

И вот бредут они каждодневно неутомимою чередою от храма к храму, аки паломники, но внутрь, как правило, не заходят: в доме Божьем чувствуют они себя неуютно, что свидетельствует о невидимом духовном родстве с первым племенем, укорявшимся Анатолием.

И ведь чем они отталкивают? Даже не ложью, которая, понятное дело, оскверняет их души. В конце концов, они безусловные коммерсанты, а правила коммерции, как ни прискорбно, включают в себя и хитрость, и лукавство. Самый отталкивающий грех нового племени — лень. Беспредельная и непоколебимая.

Снимая облачение, слышу через раскрытое окошко голос отца диакона:

— Знаю, знаю: обокрали, не на что уехать... В Ростов, что ли?.. Да тебя наш батюшка в Ростов уже один раз отправлял. И соседский — тоже. Ты уж, поди, десять раз мог вокруг света объехать. Ну хотя бы в Пермь для разнообразия попросился, а то заладил: в Ростов да в Ростов...

В Пермь не попросится — думать лень: хоть мгновение, а — лень.

Вот еще одна: «Иногородняя, попала в больницу, выписали, не на что доехать до Харькова, помогите». Эта тоже давненько ходит, несколько раз мы ей уже насчет Харькова отказывали, однако она не запоминает — даже запоминать лень-то.

— А в Пермь не желаете? — интересуется диакон.

Далась ему эта Пермь — родом он, что ли, оттуда?.. Но и она не хочет в Пермь.

— Хорошо, давайте купим билет до Харькова, — предлагает ей диакон, и уже не впервые.

Но она не помнит и соглашается, рассчитывая перепродать.

— Я даже посажу вас на поезд, — и это уже говорилось не раз, так что он успел утомиться от однообразия.

Это ее не устраивает — в Харькове делать ей нечего. Женщина поворачивается и уходит. Но через неделю опять придет, и опять весь разговор повторится. При этом ни один психиатр не обнаружил бы у нее значительных отклонений: ведь ни в одном медицинском справочнике лень не значится, хотя вполне может стать смертельной болезнью души. Однако психиатрия занимается лишь сумасшедшими, но никак не душевнобольными...

Потом как-то, когда мы шли к метро по бульвару, отец диакон указал мне на компанию бомжиков, устроившую пикник под старинными липами:

— Час назад вы благословили одарить во-он того мужичка продуктами. Теперь этими харчами коллектив и закусывает. И ведь каждый из них выпивает по бутылке в день, тридцать бутылок в месяц, — и откуда деньги такие, если никто из них не работает?.. Между прочим, моей зарплаты на такую жизнь не хватило бы. Да и здоровья тоже...

Назавтра я этому мужичку отказал. Тогда собралась вся бродяжья компания — человек семь или восемь, и давай взывать к моей совести: мол, соотечественников, братьев своих родных обижаю.

— Ну, коли братья, — говорю, — поработайте, сколько можете, на благо отеческой Церкви нашей, а мы уж вас от души накормим.

Они в ответ лишь ухмыляются. Тут из-за угла выруливает со своей тачкой пламенный Анатолий и проходит в точности между мной и моими соотечественниками, не обращая, впрочем, на нас никакого внимания, — наверное, трасса у него так проложена...

— Вот, — говорю, — один-единственный человек только и помогает восстанавливать православный храм, и тот — негр из далекой африканской страны неповторимого наименования. А вы — целыми сутками по канавам валяетесь...

Они ушли и больше не появлялись — надо полагать, отыскали другую кормушку. Анатолий же, честно отработав два месяца, переехал в институтское общежитие. Там неподалеку есть храм, куда он ходил по воскресеньям: освоив русский язык, брат наш стал исповедоваться и причащаться. Иногда навещал отца диакона, — они были очень дружны и легко понимали друг друга. Когда учеба окончилась, Анатолий приехал попрощаться: приятели обнялись, диакон, всхлипывая, бил его рукой по спине, повторяя: «Толян! Толян!» Тот плакал молча. Потом отец диакон говорил мне, что даже не соображает, с чего это он так расчувствовался.

Просто до сего времени он не ведал еще, что родство духовное возвышеннее и крепче всякого другого родства, даже кровного.

Совсем немного геополитики



Летели в Белград. Майор-десантник, сидевший у окна, время от времени приглашал заглянуть вниз:

– Военный аэродром, – и тыкал пальцем в стекло. – Пустой, брошенный...

Или:

– А здесь была ракетная батарея. Ничего не осталось, все разорено... И так до самой границы: ни перехватчиков, ни ракет – нас с вами даже сбить некому...

Майор был невесел: он только что похоронил однополчан, погибших в Чечне, и возвращался в Косово.

По другую руку от меня сидела дама – жена какого-то вельможи: тот провожал ее в аэропорту. Дама была очень ухожена, однако в том уже возрасте, который всякой ухоженностью лишь подчеркивается. На коленях дама держала пластмассовую корзину, в которой безучастно ко всему пребывала лохматая собачонка. Даме хотелось поговорить, и она сказала:

– Это Пушоня.

– Скотный двор, – вещал майор, – пустой, брошенный...

— Может, все коровы куда-то попрятались, — предположила дама.

— Да он уж весь травою зарос, а поле вокруг него — кустарником.

— А как вы с такой высоты отличаете военный аэродром от гражданского? — Похоже, майор-десантник ее заинтересовал.

— Возле гражданского должен быть какой-то населенный пункт — хотя бы районный центр, а у военного — гарнизон: казармы да пара офицерских домов...

Дама вздохнула:

— Пушоня у меня заболел — везу его лечить...

— А что с ним? — насторожился майор.

— Меланхолия, — снова вздохнула дама.

— Не заразная, — успокоенно произнес майор и вдруг встрепенулся: — Так это ж не собачья болезнь.

— А чья же?

— Как чья? Коровья!

— Вы не правы: коровья — бруцеллёз...

— То же и бруцеллёз, — после некоторого раздумья согласился майор, — но главная — меланхолия, это я точно знаю: у меня брат ветеринар... двоюродный...

Следует заметить, что пока они так через меня беседовали, я читал подготовленный к изданию перевод проповедей известного сербского святителя. И до сего момента мне это почти удавалось.

— Все равно — меланхолия, — твердо сказала дама и схватила меня за локоть. — А знаете отчего?..

Мы не знали. Оказалось, виною всему новый шкаф — с зеркальною дверцею до пола. Впервые увидев свое отражение в зеркале, Пушоня нежно обрадовался внезапному гостю и захотел познакомиться с ним поближе: заглянул за приоткрывшуюся дверцу да так и обмер:

— Знаете, собаке ведь надо сзади обнюхать...

Ну, об этом, положим, мы слышали.

— Он заглянул сзади, а там никого нет. Он — еще раз спереди: там собачка, а сзади — опять никого... Он еще пару раз туда-сюда — безрезультатно. И тогда он задумался, прямо как человек, взгляд стал таким умным и грустным, — дама вытаращила глаза, пытаясь изобразить собачью печаль и мудрость, — пошел прочь от этого шкафа, ударился мордочкой в стену и упал... А потом у него сделалась меланхолия: не ест, не пьет... Везу его к знаменитому профессору — крупнейший в мире специалист... Вы слышали: на выборах у них никто не победил, и теперь будет второй тур?

— Не будет, — пообещал майор. — Американцы проплатили только один тур, так что кого назначат, тот президентом и станет.

Она отпустила мой локоть и не без кокетливости обратилась к майору:

— А вы, миротворцы, там, наверное, простой народ защищаете?

И тон ее, и сам вопрос десантнику не понравились:

— Мы там... обслуживаем американцев, — и отвернулся к окну.

В Белграде майора встречали наши военные в таких же, как у него, камуфляжных комбинезонах, даму — молодой человек с плакатом «Меланхолия», а меня — двое монахов. Нам предстояло проехать триста пятьдесят километров к южным границам.

...До поздней ночи сидели над переводом, а утром в мою келью постучался иеромонах, и на колесном тракторочке мы поехали в горы. Небо на юге было исчерчено инверсионными следами, два самолета шли параллельными курсами.

— Здесь международная трасса, — пояснил провожатый.

Однако пассажирские самолеты парами не летают. Кроме того, следы повторяли изгиб границы: за богохранимой сербской землей велось пристальное наблюдение.

Трясясь на каменистых дорогах, мы пробирались от одного древнего храма к другому, и иеромонах рассказывал мне о русских священниках, служивших здесь и в двадцатые годы, и в сороковые, и в пятидесятые... Наконец приехали к малой церквушечке. Зашли, приложились к иконе, и иеромонах вышел, оставив меня одного. Когда-то мы с отцом настоятелем хотели устроить на этой горе русский скит, в котором могли бы жить и молиться наши иноки, однако теперь не то что русским — самим сербам здесь жить небезопасно: албанцы то и дело совершают набеги...

— Они стали селиться у нас полвека назад, — рассказывали монахи, — занимались торговлей, потом расплодились и говорят, что теперь наша страна должна принадлежать им... У вас албанцев нет?..

— Пожалуй, одних только албанцев у нас и нет, — отвечал я.

В обратный путь по каменьям возница отправился без меня — пожалел. Я спустился с горы пешком и пошел по шоссейке навстречу трактору. Кое-где на обочине лежало по три-четыре бетонных пирамидки метровой высоты — перекрывать дорогу в случае военных действий: снайпер с гранатометчиком, расположившиеся на противоположной стороне ущелья, смогут попридержать у такого заграждения вражескую колонну. Ненадолго, пока их не убьют.

Было жарко, хотелось искупаться, я свернул к реке, бежавшей рядом, и вдруг увидел в траве иконку: на

меня смотрел Иоанн Предтеча... Сразу вспомнилось: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это была простая бумажная иконка, закатанная в прозрачный пластик. Греческий текст на обороте с греческим же прямодушием призывал всякого читающего стать святым. Кто мог обронить ее здесь — непонятно: в этих краях давно уже не видали туристов.



Гул реактивных двигателей раскатывался по земле почти беспрерывно, а белых следов на небе становилось все больше и больше. Ветер дул с юга, и полосы проплывали над нами:

— Американцы, — признал наконец иеромонах, — вдоль границы летают, — и обвел рукой: — Косово, Македония, Болгария, Румыния... Была бы сейчас зенитная ракета — не удержался бы, — и вопросительно посмотрел на меня.

Я хорошо понимал его, но:

— Бодливой корове Бог рог не дает: потому-то, наверное, мы с тобой, брат, в Церкви, а не в ракетных войсках.

Вернулись к вечернему богослужению: по календарю совершалась память Иоанна Предтечи, икону которого я только что обрел в придорожной траве...

После службы собрались у отца настоятеля. Телефонная связь не работала. Принесли радиоприемник. Крутили-крутили колесико, но и сербские

радиостанции, и российские, и немецкие, и французские, и американские передавали одни и те же сообщения и даже комментарии к ним — слово в слово, как будто написано все это было одной рукой.

— Нет ничего более тоталитарного, чем демократия, — грустно сказал настоятель.

Потом удалось по мобильному телефону поговорить с Белградом, и выяснилось, что в столице нет света, все подступы к ней заблокированы, аэропорт закрыт... Насельники тревожились за меня — мне ведь наутро следовало уезжать.

— За четыре месяца управитесь? Порядок наведете? — спросил я.

— Должны, — неуверенно отвечали отцы. — А почему — за четыре?

— У меня паспорт до февраля, — после того как под праздник Иоанна Предтечи мне явилась его иконка, я уже ни о чем, кроме покаяния, не беспокоился.

Настоятель махнул рукой и выключил радиоприемник:

— Пошли молиться.

Служить мы закончили к шести часам утра: телефоны работали, лампочки по всей стране светили вволю, аэропорт открылся, блокаду сняли.

Я попросил у братии прощения: они, конечно же, сильно переволновались за меня.

— Для нас каждый русский — святой, — сказал отец-настоятель, афонский монах, вернувшийся на родину в трудную для нее минуту.

Когда я садился в автобус «Скопье — Белград», крестьянин-серб спрашивал водителя, как дела в Македонии.

— В Македонии таких проблем быть не может, — отвечал водитель, — мы дружим с Западом, поэтому у нас спокойно и хорошо.

...К вечеру в центре Белграда началось столпотворение: десятки тысяч людей бродили по улицам и непрерывно дули в свистки вроде милицейских, а поскольку из-за шума разговаривать было невозможно, все еще и кричали. Сквозь толпу время от времени проползали автомобили, на крышах которых стояли и сидели люди с плакатами. Асфальт был усыпан листовками, названия улиц на домах заклеены победными лозунгами, а автомобильные номера — наклейками с датой выборов, на гигантских рекламных щитах всюду красовался портрет победителя. Тут поработала не одна типография. И не одну неделю. На спешно устанавливаемых эстрадах бесновались рок-музыканты, с лотков раздавали булочки, пиво, однако народ был на удивление трезв.

Встретилась только одна компания подвыпивших парней, но и те оказались земляками — футбольными болельщиками:

— Наши должны были играть с ними, а тут, отец, видишь, ерунда какая-то получилась, и матч перенесли... И чего они так радуются? Им ставят нового президента — незаконного, между прочим, он ведь и половины голосов не набрал, — а они, чудаки, радуются... Я — флотский, хотя не моряк, а речник: катаю по Москве-реке отдыхающих, — но я так понимаю...

Далее флотский не вполне складно, но достаточно вразумительно объяснил, что для открывания кингстонов нужны были предатели-грубияны: «Ну, пьянь там, до денег жадные, до власти, просто дураки», а теперь — грамотные и осторожные рулевые, которые могли бы удержать тонущий корабль

в вертикальном положении и не уронить его на соседние баржи и шлюпки...

— Что у них, что у нас, — заключил он, махнув рукой.

Утром в аэропорту я увидел знакомую даму: она шла через зал, влача за собой Пушоню.

— Как успехи? — спрашиваю.

— Один сеанс провели, наметилось улучшение, — отвечала она, — но профессор из-за этого кризиса срочно улетел в Штаты — основная клиника у него там. Позвонила мужу — он уже перевел в Америку деньги. Так что мы отправляемся следом. Заодно повидаем дочку с внуком... Мы, правда, собирались вместе встречать миллениум — то есть новое тысячелетие, но раз уж такой случай — почему не воспользоваться?..

Наклонив голову, она улыбнулась:

— Поздравляю вас...

— С чем?

— С победой великой октябрьской капиталистической революции, — и кокетливо подмигнула: — Мир стал свободнее на одну страну...

...Случилось так, что ровно через год я снова оказался в Белграде. Был объявлен великий праздник: по телевидению выступали заматеревшие победители, прославляли себя, свободу слова и права человека. В центре города снова гремели оркестры, однако гуляющего народа было теперь значительно меньше. Работали американские забегаловки, с лотков продавали американские фильмы, а в Македонии шла война.

Прошлогодний шофер явно не был пророком, и Дух Святой не глаголал через него.

Ночная служба



Он был афонским архимандритом, но когда в Сербии началась война, попросился домой, чтобы собирать народ на молитву. За семь лет постриг сорок монахов и монахинь, восстановил четыре горных монастыря.

Я бывал у него в гостях, жил по строгому афонскому уставу с долгими ночными богослужениями, мы вместе молились. Днем ездили по монастырям, ему вверенным, где отец архимандрит молниеносно решал хозяйственные вопросы, казавшиеся мне обременительными.

Последний день последнего моего визита начался с путешествия в женский монастырь, находившийся под попечением батюшки. Монахини жаловались: луговина зарастает густым колючим кустарником, который никак нельзя одолеть. Говорили, что даже трактор не может продраться сквозь них. Правда, трактор был маленький, несерьезный, одно название. Батюшка попросил спички, их тут же принесли, и он поджег с наветренной стороны сухую траву. Пал расстелился по луговине, захватил кусты, но горели они никудышно.

— Несгораемая купина, — изумился отец архимандрит и потребовал автомобильную покрышку.

Монахиня сбегала к сараю, прикатила новехонькую. Мы рассмеялись, попросили что-нибудь постарее. Явилась покрышка, истертая чуть не до дыр, — самая подходящая. Бросили ее в кусты, она вспыхнула и задымила так, что нас видели со всех самолетов, пролетавших по международной трассе над Южной Сербией. Я тревожился, не перекинется ли огонь на деревья — кругом леса.

— Нет, — весело отмахнулся батюшка.

Почему он был так уверен — не знаю, но огонь и впрямь замер у самого леса. А кусты выгорели. Оставалось вспахать гарь игрушечным трактором, засеять травой, и жизнь монастырских коров станет еще привольнее.

После обеда отслужили вечернюю службу и отправились в городишко, подобие нашего районного центра, чтобы продать одну машину и купить другую. За те же деньги, такую же старую, но поменьше и с дизельным двигателем, а то бензина в горы не натаскаешься.

Приехали в дом к батюшкиным знакомым. Переговоры проходили в гостиной, и я на них не присутствовал. Мне по протоколу выпало иное послушание: сидеть на веранде и поочередно принимать участников сделок, а также хозяина дома и полицейского. Каждому я наливал рюмку яблочной водки — ракии и произносил тост «за успех предприятия». Потом навестили нотариуса. Он принял нас у себя дома в халате и шлепанцах, поставил печать, выпил рюмку ракии: бутылка была у меня в кармане, рюмка — в рукаве, — и мы расстались. На все ушло полчаса.

Монастырь Сретения Господня

После чего отправились куда-то по ночным дорогам, долго ехали и остановились у подножия горы. Место это я знал — наверху был древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, пятнадцатого, если не ошибаюсь, века. В горах Сербии сохранилось немало

старинных храмов. Как правило, они не заперты. В них — аналои с простыми иконами, немного свечек. Люди, изредка попадающие сюда, могут поставить свечу и помолиться. Обычно на аналоях даже мелочь какая-нибудь лежит — оставляют за свечки.

Поднялись по каменистой тропинке и встретились с монастырской братией — было их семь человек, причем двое пришли из скита через горы пешком, светили себе фонариком. Иеромонах отслужил при свече Божественную литургию, отец архимандрит достал из портфеля ветхое облачение и благословил меня причаститься. Когда я вошел в алтарь, в узком, словно бойница, окошке на горнем месте открылось солнце. Лучи его осветили каменный престол, священные сосуды, плат, антиминс. Теперь можно было задуть свечу.

После службы вышли из храма, монахи достали термосы, развернули узелки с едой, мы пили чай, ели лепешки, яблоки... Солнце поднималось все выше, освещая склоны украшенных осенью гор с разбросанными кое-где черепичными крышами крестьянских домиков. Потом высветилась долина реки с жухлыми луговинами и наконец сама речка, вьющаяся далеко-далеко под нами.

В тот же день я улетел в Москву, не зная еще, что никогда больше не увижу своего друга.

Дикий Запад



Что уж так не везло Америке на прошлой неделе — не знаю. Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглашали послужить год в одном из наших храмов, а он отказался:

— Не люблю я, — говорит, — эту Америку.

А ему:

— И не люби — только служи: храм — он ведь везде дом Божий: что здесь, что там...

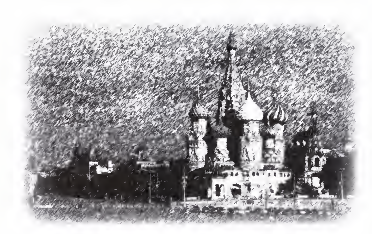
Батюшка повздыхал:

— Насчет храма, конечно, правильно, но не могу: представил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг — пустыня духовная...

Его — дальше уговаривать: уламывали-уламывали, пока он не впал в глубокую скорбь:

— Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг — сплошная Америка... Удавиться хочется...

Тогда уж от него отстали: ну, действительно, если человек, коснувшийся этой страны одним лишь воображением, впадает в такую пагубу, лучше отстать.



На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алтаре, разговорились о каких-то своих перспективах:

— В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют, но уж хоть бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру вроде Штатов...

То есть по представлению и приятеля моего, и двоих семинаристов страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме как страна мертвого духа.

А тут выхожу из алтаря после службы — забегают две девушки с рюкзачками: похоже, иностранки. Одна растерянно прижимается к стене, а другая, как положено, крестится, прикладывается к праздничной иконе, потом, после земных поклонов, к раке святого Василия Блаженного.

— Откуда? — спрашиваю, когда она подошла под благословение.

— Из Америки.

— Как зовут?

— Екатерина.

По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она — дочь нынешних эмигрантов:

— Русская?

— Нет; у меня мама гречанка. Она считает, что спасти человечество может только Россия, и потому с детства обучает меня русскому языку: первой учительницей у меня была русская княгиня.

— А папа кто?

— Папа — американец, — и махнула рукой. — Дикие люди, очень к земному привязаны: деньги, слава, карьера, власть — больше ничего не понимают.

— А подружка?

— Тоже американка: «Мы — самые сильные, самые умные, самые лучшие, самые богатые, самые-самые». А в храм Божий вошла — и перепугалась. Я же говорю: дикие люди! Вместо души — калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вместе с ней ехать. Мы уже были у преподобного Сергия, вечером отправляемся в Питер — к отцу Иоанну Кронштадтскому и блаженной Ксении, а потом — в Дивеево, к батюшке Серафиму.

— И что же, ты знаешь их жития?

— Конечно! Мы с мамой все больше русские книги и читаем. И каждый день молимся за Россию.

— А за Америку?

— Дерзновения нет.

— Это как же?

— Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны...

Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит незнакомая женщина:

— Батюшка! Что мне делать? Дочь вышла замуж за американца, уехала в Штаты и теперь спивается.

«Вот уж для этого, — думаю, — вовсе не обязательно было забираться так далеко...»

Мы поговорили, я сколько мог умягчил ее скорбь и пошел по родной земле восвояси.

Дахау



Познакомились мы в читальном зале большого архива: оба запросили одни и те же исторические документы. Соперником оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив исторические документы, отправились в ближайшее кафе для беседы. Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Германии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяйственных проблемах православных приходов, о ремонте храмов, регентской школе...

Тут уж я говорю: а вы каким, дескать, боком к теме этой прикосновенны? Выясняется, что боком непростым и особенным. Он — историк, занимается изучением гитлеровских концлагерей, а, скажем, в лагерь смерти «Дахау» ссылали православных священников из Южной Европы. И не только священников, но и высочайших иерархов: например, Сербского патриарха Гавриила, епископа Николая (Велимировича)...

Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили православный храм — деревянный, как рядом

с ним сажали березки. Там же построили храмы других христианских конфессий и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест, у синагоги — менору-семисвечник. Потом, правда, крест пришлось убрать. Менора осталась...

Наши батюшки консультировали его по вопросам, связанным с церковной жизнью заключенного духовенства: ведь в бараках надо было совершать богослужения, причащаться. Писались прошения, их рассматривало лагерное начальство, иногда разрешало, иногда отказывало. Если разрешало, выставлялись какие-то требования... И все это на бумагах — с подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием времени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время указывалось в высшей степени пунктуально: выстрел произведен во столько-то часов, столько-то минут — подпись офицера, смерть наступила через столько-то минут — подпись врача.

Так же обстоятельно заполнялись в Дахау анкеты — был даже вопрос о вероисповедании. Скрывать что-либо не имело смысла — все одно смерть. Немецкий историк сказал, что через его руки прошли тысячи дел: подавляющее большинство заключенных — советские офицеры. Почти все они — православные, иногда — мусульмане, никаких других не было. «Других — не было», — внятно повторил он, и между прочим заметил, что войну эту выиграло последнее поколение крещеных русских людей. Потом крестить практически перестали, и все последующие баталии заканчивались не столь впечатляюще.

Тут мы и расстались: допив кофе, он снова пошел в архив — я почтительно уступил ему право на исторические документы.



Неслучайность всего

В жизни каждого взрослого человека легко отыщутся два-три случая, которые иначе как чудесными совпадениями не назовешь. Их может быть и более, но, конечно, не слишком много, дабы от избыточности впечатлений человек не потерял душевного равновесия и не лишился рассудка.

Иногда нам удается истолковывать смысл, значение или предназначение таковых совпадений, чаще же они остаются загадкой, которая время от времени тревожит наше сознание, требуя ответа, но так и не получая его.

Повествования об этих чудесных случаях мне доводилось слышать от множества — возможно, от сотен — людей, однако, не дерзая посягать на их личное достояние, расскажу немного о том, с чем сталкивался сам: этого богатства и у меня в достатке. И все прибывает...

На днях пригласили освятить одно из отделений большой больницы. Спрашиваю:

— Тридцать второе?

— А откуда вы знаете?

Юношей я собирался поступать в медицинский институт и работал в этом отделении санитаром. И вот снова попадаю сюда. Зачем — не ведаю, однако не удивляюсь: это из разряда совпадений обыкновенных, частых. Скажем, некогда издательство, в котором мне довелось трудиться, получило помещение в новом доме на Хорошевке. Спрашиваю:

— Номер дома, случаем, не шестьдесят два?

— Как вы угадали?

Просто: по этому адресу я прожил двадцать пять лет. Но тот дом сломали, людей выселили на другие концы Москвы, и вот теперь я возвратился к знакомой школе, к деревьям, некогда посаженным моим отцом. Ива теперь оказалась у самой дороги. Тысячи людей проходят и проезжают мимо нее каждый день, и никто не ведает, что полвека назад мы с отцом привезли из Серебряного бора тоненький прутик и воткнули его в самом низком месте двора — у водосточной решетки. Давно нет моего отца, нет той решетки, нет уже и самого двора, как нет двухэтажных домишек, построенных пленными немцами... Огромные здания, а между ними — старая ива.

Далеко за спиной это время, далеко в прошлом мирские труды и мечтания. Несколько лет уже я служу в храме, прихожанином которого, как выяснилось недавно, некогда был мой прапрадед. Здесь он молился, причащался, он и жил здесь — в доме священника. И ходил по тем же самым ступеням, которые теперь истираю я. Но и это не всё; однажды с вполне досужими интересами я забрался в глухой район на севере Вологодской области. Приобрел избушку, рыбачил, охотился. Помогал восстанавливать разоренный собор, стал священником и отслужил там четыре года. Впоследствии обнаружилось, что

именно из этой глуши прибыли в Москву мои старинные предки. Правда, в ту пору земли тамошние были не заброшенными, а процветающими, но речь о другом: мне стало ясно, что если бы я по своему произволению переселился на какой-нибудь остров в океане, то и там отыскалась бы могилка четвероюродной бабушки.

Не ведаю, что означает каждое из этих совпадений по отдельности и означает ли что-либо вообще, однако взятые вместе они навевают мысль о том, что целые фамилии из поколения в поколение живут, словно привязанные к колышку. И как бы далеко ни забредали мы в своих исканиях и дерзаниях, нас время от времени возвращают к этому колышку. Для смирения, может быть. Чтобы напомнить, кто мы, откуда мы и где живем, — на земле то есть, под луной и под солнцем, где нет и не может быть ничего нового. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас, сказал Екклезиаст.

День медика



Каждый раз, приезжая сюда, я останавливаюсь в доме, построенном для санаторных врачей. Теперь разруха, санатории разорены, врачи без работы. По утрам просыпаюсь от консилиумов за окном: то лечат кошку, то собаку. Их во дворе — и так без счета и кормить нечем, а они все бредут, хромают, ползут: изуродованные, больные. Вероятно, по меткам определяют, куда прежде них калеки да недужные влачились. Как-то прямо во дворе овчарку оперировали — ее машина сбила. Анестезию надо делать, а вену под шерстью найти не могут, но потом где-то на лбу нашли... Овчарка эта с наложенными на задние лапы шинами так и жила у подъезда, пока не поправилась, потом ушла — у нее где-то хозяин был...

Сегодня праздник — День медицинского работника. Солнце еще не коснулось верхушки кипариса, стоящего возле дома, — значит, еще семи нет. Но под окном анестезиолог с хирургом обсуждают окрас новорожденных котят — мы снова с прибылью.

Сегодня я должен непременно наловить рыбы. И желательно какой-то хорошей, крупной, чтобы

не только кошкам — им я ловлю каждый день, а для праздника — может, сварим ухи. Спускаюсь вниз, к рынку, здороваюсь с таксистами, и один увозит меня к недостроенному санаторию. Там, с бетонных волнорезов, удобно рыбачить. Подъезжаем, а на каждом пирсе люди: одни стоят непосредственно на головах, другие — в еще более причудливых позах.

— У них что-то вроде съезда, — вспоминает таксист, — вчера вдоль всей трассы худосочные со свернутыми ковриками тащились.

— Но они, — говорю, — могут стоять где угодно, хоть вдоль дороги, а мне-то ловить — только в воде.

Иду на любимый пирс, где и глубина побольше, и зацепы редко случаются. Там двое: парень и девушка. Вероятно, у позы, в которой они пребывают, есть какое-то именование, но я человек непосвященный и даже описать толком ничего не могу: головы — наверху, руками стоят на ковриках, а ноги задраны так, что ступни оказываются за ушами. Клоуны иногда почти в такой позе скачут на руках по полу, только вот ноги у клоунов при этом торчат вперед, а не прячутся за уши.

Подхожу, приветствую. Слегка пошевеливая босыми ступнями, они вполне дружелюбно здороваются. Спрашиваю, нельзя ли мне здесь удочки закинуть?

— Пожалуйста, — говорят, — нам это нисколько не помешает.

Я расположился и ловлю, попадается всякая мелочь. Тут с пляжа ко мне приходит любопытствующий. Эти любопытствующие — они одинаковые: усатые, полные дядьки. «А шо вы тут делаете?.. А шо ловится?.. А его исты можно?.. А як его готовить?..» Стоит за спиной, смотрит. Если сейчас поймается что-то привлекательное, то завтра любимый волнорез будет занят: на моем месте сядет усатый дядька,

рядом — его жена, а по сторонам — дети. Но рыба перестала клевать. Загораем.

Появляется еще один человек со свернутым ковриком. Похоже, это большой учитель. Ученики принимают нормальное положение, и юноша восторженно докладывает, что его подруга освоила нечто новое.

— Ну-ка, ну-ка, — подбадривает учитель.

Стоя на одной ноге, девушка берет руками другую ногу, заворачивает ее за спину и сгибает на талии.

— Это — новая ступень духовного совершенства! — великодушно оценивает учитель. А я вздыхаю: крутишься тут среди соблазнов и грехов, отбиваешься от искушений — где отмахнешься, а где и не очень; и только, кажется, дотянулся до первой ступеньки — бах! — опять в луже. Так всю жизнь в грязи и лежишь, да еще с разбитой физиономией. А у этих: ногу за спину завернул — и готово тебе духовное совершенство!

Подходит к нам и с почтительностью расспрашивает, что и как ловится.

— А шо ты лысый? — интересуется дядька. — И шо хлопчики твои — лысые?

— Это чтобы космические лучи свободнее в мозг проникали, — поясняет учитель.

— А-а, — кивает усатый и задумывается: — Може, голову мыть почаще?

Вежливо попрощавшись и пожелав удачной рыбалки, участники съезда уходят.

— Шо ж я не спросил? — вдруг восклицает дядька.

— О чем? — говорю.

— А шо ж они тогда дивчин наголо не стригуть?.. Шо — на них космических лучей не хватае?..

Крупная рыба не клюет. Кошкам-то я поймал, а вот для праздника — не получилось. Придется на обратном пути купить консервы.

Собираемся в старинном особняке: до революции здесь была чья-то дача, а потом — коммуналка: в каждой комнате по семье. У нашей хозяйки, кроме комнатки, застекленная веранда, где мы и празднуем. В компании — три докторши пенсионного возраста и одна их бывшая пациентка еще более уважительных лет.

На всех — бутылка шампанского, но и этого оказалось довольно: докторши стали наперебой вспоминать благоденствие полувековой давности, когда курорты процветали, а врачи были грамотными настолько, что даже исцеляли больных. И тут бывшую пациентку занесло в еще более древние — довоенные — времена: она стала рассказывать, как в шестнадцатилетнем возрасте ходила в Москве на каток — а она была коренной москвичкой — и сопровождали ее двое молодых кавалеров. И она поднимала руки, потому что кавалеры были высокими, а она — миниатюрной, каковой и осталась, и они брали ее за руки и так, втроем, скользили...

Она грациозно взмахнула руками и — умерла... Лицо белое, изо рта пена, докторши щупают пульс — пульса нет. Я — в комнату: молиться перед иконами великомученика Пантелеимона и святителя Луки. Пенсионерки были действительно грамотными: у них тут же отыскалось самое нужное лекарство, сделали укол, и щеки бывшей пациентки порозовели. Вскоре она пришла в сознание, узнала о происшедшем, но отказалась поверить.

— Вы шутите, — изумленно сказала она.

— Совсем не шутки, а клиническая смерть, — установили диагноз докторши.

— С чего вдруг?

— Сами не понимаем, — и стали пересказывать ей предысторию смерти.

Как только они дошли до катка и кавалеров, она воскликнула:

— Да, такие красивые, высокие, — взмахнула руками и умерла еще раз...

Я — снова к образам святых целителей. Повторили прежний укол, потом у соседки нашлось подходящее средство — вкололи и его: пульс появился, но давления не было. «Скорая» увезла ее в городскую больницу, мы приехали следом. Там выяснилось, что у нашей пациентки привычный вывих плеча, что в молодости она переносила травму достаточно терпеливо, а теперь случился болевой шок, который был непосилен для ослабевшего организма. Руку вправили, перебинтовали, повесили на перевязь. Мы взяли такси и по дороге дослушивали элегию о романтических кавалерах, благо рука была неподвижна. И так радовались всему: и счастливому воскрешению, и Дню медицинского работника, с которым поздравили всех врачей и сестер больницы, и воспоминаниям о тех очень далеких, но прекрасных вечерах в зимней Москве.

Возле самого дома, когда мы бережно вынимали из машины страдалицу, встретились двое утрешних молодых людей: на ночь глядя они спешили куда-то с ковриками. Поинтересовались происшествием, я коротко объяснил.

— А у нас, — сказал юноша, — вывихов не бывает.

— Вам, — говорю, — наверное, просто вспомнить нечего. А наша жизнь полна такими воспоминаниями, что вывихи пока, к счастью, случаются.



Сила немощи

Заехал в монастырь переночевать и попал на именины к настоятелю. Праздновали, конечно, днем, а за ужином доедали остатки рыбного пирога — других следов торжества не осталось. Потом пошли на озеро, прогуляться. Собственно, озеро находилось несколько в стороне, но один из его заливов приникал к стенам обители. Там на берегу стояли скамейки, на которых, как можно было предположить, любили отдыхать немногочисленные насельники. Мы разместились — свободно и даже как-то вразброс, чтобы сохранять уединение, но при этом видеть и слышать друг друга.

Настоятелем был пожилой игумен, присланный из большого монастыря. К послушникам, независимо от их возраста, он относился как к малым детям, называл их разбойниками, непослушниками и другими подобными именами, сохраняя при этом строгость в служебных и деловых отношениях.

Справа от него сидел худощавый смиренник с большими, как блюдца, не то серыми, не то голубыми глазами. Он, как мне рассказал настоятель, был из

старообрядцев, северянин. Вчера он спас отрока: деревенский парнишка проверял отцовские сети да зацепился, выпал из надувной лодки и стал тонуть... Этот, с глазами, как блюдца, услыхал крики, прибежал, сплавал, успел...

Не знаю уж, сколько времени провели мы так в тишине и в созерцании осеннего вечера, как вдруг смиренник предупредил:

— Сейчас случится сражение, — и указал на гусей, заплывающих в наш залив.

Настоятель вопросительно посмотрел на него.

— Это – стадо с сахарного завода. В нем, наверное, голов сорок или пятьдесят.

— Ну и что? — не уразумел настоятель.

— А то, что залив принадлежит гусям деревенским, — вон они, семь штук, у берега плещутся...

И описал надвигающиеся события. Похоже, он хорошо знал законы животного мира, потому как грядущая эпопея развивалась в точном соответствии с его предсказаниями.

Как только деревенские заметили вторжение неприятеля, все они вслед за своим вожаком бросились наперерез. Сахарнозаводчики смотрели на это с явным высокомерием, однако притормозили. Достигнув агрессора, малое стадо бесстрашно вклинилось в середину толпы и стало яростно молотить во все стороны. Мощные гусаки противника, небрежно уклоняясь от беспорядочных и суматошных атак, наносили в свой черед удары такой сокрушительной силы, что от деревенских перья летели. Однако ярость защитников, не щадивших своего живота, таила в себе непредсказуемые угрозы, и чужаки стали отступать к противоположной стороне залива. Наконец, лениво отбиваясь, они вышли на берег,



но и там, на земле, преследование продолжилось, и оба войска исчезли с глаз.

— Что ж они такие опасливые? — вопросил настоятель.

— Не опасливые, — отвечал наш прозорливец. — Они, конечно, сильнее, но для деревенского стада этот залив — свой. Можно сказать, родина. И они будут биться насмерть. Заводские — сильные, наглые, но такой народ перья терять не любит.

Тут наконец вернулись победители: впереди шел вожак, молча, а за его спиной все обсуждали закончившуюся баталию. Спустились в воду, направились в глубь залива, где стояла маленькая деревенька, и долго еще мы слышали их разговоры и восклицания...

— Конечно, это всего лишь птицы, но «всякое дыхание да хвалит Господа», а потому и сей пример свидетельствует: не в силе Бог, а в правде, — заключил настоятель.

Интересно, что следующий день подарил мне еще одну иллюстрацию к рассуждениям о силе и о победах. И на сей раз не на птичьем примере, а совершенно из человеческого бытия.

Наутро, когда я готовился уезжать, смиренник шепотом попросил меня отслужить при первой возможности благодарственный молебен.

— А по какому поводу?

— Да я, батюшка, плавать не умею нисколько: у меня на родине вода ледяная — не для купания.

— Так как же ты?..

— Не знаю.

— А отчего не сказал отцу настоятелю?

— Неловко: будто я в чудотворцы стремлюсь...

— А разве не чудо? В подряснике, в сапогах, вода холодная, плавать не умеешь — и парня спас...

— Не знаю, батюшка, сам не знаю, как получилось: ни сил, ни умения у меня для такого действия нет. Думаю, Господь хотел сохранить мальчонку — и сохранил. А что я немощен, так это для Бога пустяк: сила Божия, как известно, в немощи совершается.

Святой



Есть такой тип церковных тетушек: ездят с прихода на приход, ссылаясь на чьи-то благословения, передают батюшкам приветы неведомо от кого, поклоны от незнакомых братий и сослужителей и рассказывают всякие новости: рассказывают, рассказывают... Ну, думается, коли уж такие тетушки есть, наверное, они зачем-то нужны. Впрочем, не знаю. А один старый архиерей — кстати, весьма серьезный философ — называл их: «шаталова пустынь» и утверждал, что они, напротив, ни для чего не нужны. Поди разберись тут...

И вот три такие тетушки заявились в храм к моему приятелю, когда мы как раз собирались уезжать в Троице-Сергиеву лавру. «Благодать-то какая, — говорят, — и нас возьмите!» Посадили их на заднее сиденье.

Дорогою двое из них тараторили не переставая. Сначала сказали, что приехали по рекомендации Виктора из Псковских Печор, с которым приятель мой будто бы служил в армии. Тот вспоминал-вспоминал, и что-то плохо у него получалось: немудрено — все ж таки прошло тридцать лет... Потом нам поведали,

что у диакона Николая из какой-то епархии родился четвертый сын, а у протоиерея Петра — восьмая дочка. Мы очень порадовались за отцов, о существовании которых даже не подозревали и которые между тем настругали столько детишек. Далее начались рассказы о мироточениях и других чудесах, перемежавшиеся разными сплетнями, так что пришлось тему разговора сменить:

— А что это подружка ваша молчит? — спросил мой приятель.

— Да она только начала воцерковляться: еще стесняется батюшек, — в суетливости своей они не заметили, что добродетельную скромность поставили человеку в укор...

Однако тут же набросились на попутчицу с уговорами и увещеваниями. Некоторое время она сопротивлялась, повторяя: «Да кому это интересно?» — но в конце концов согласилась рассказать какую-то свою историю.

Дело происходило в конце пятидесятых годов, когда рассказчица была студенткой. Жила она тогда в Симферополе. Случилось с ней сильное недомогание, и отвезли ее на «скорой» в больницу. И вот лежит она в приемном покое и час, и другой, и третий... Сознание временами стало покидать ее, а возвращалось все реже и реже...

Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену видит она: спускается по лестнице старичок в белом халате. Медленно спускается, осторожно, перила цепко так перехватывает... Подошел он, склонился над ней, — а глаза у него — белесенькие, словно слепые. И спрашивает дежурную медсестру:

— Давно привезли?

— Часа три, наверное, если не больше.

— А почему не оперируют?

— Партсобрание ведь! Отчетно-выборное! Не велели тревожить ни в каком крайнем случае.

Он приказал:

— Быстро в операционную! — и добавил: — Ей осталось жить двадцать минут...

Здесь сознание снова покинуло умирающую. Очнулась она уже в операционной: на стене висела икона Пресвятой Богородицы, и слепенький старичок молился перед этой иконой...

— Я успела подумать, — вспоминала рассказчица, — что мне страшно не повезло: мало того, что хирург — слепой, так еще и время теряет, хотя сам сказал, что осталось двадцать минут. И вдруг я — безбожница, комсомолка, выбросившая бабушкины иконы, — взмолилась: «Пресвятая Богородица, спаси!» Я знаю, что говорить не могла, — рот у меня пересох и губы не шевелились, я обращалась к Богородице мысленно, но старичок, подойдя ко мне, сказал: «Не тревожься — спасет»...

Операция прошла замечательно, и больную через несколько дней выписали. Спустя годы узнала она, что оперировал ее Симферопольский архиепископ Лука — великий хирург Войно-Ясенецкий... Святой... Такая история.

В лавре мы с приятелем занялись своими делами, а тетушки отправились восвояси.

Впоследствии рассказчица стала монахиней одного из женских монастырей. А подружки ее все снуют и снуют по приходам.

Одна забота



К моему знакомому приехала тетка из Крыма и попросилась в Троице-Сергиеву лавру. Я в эту пору находился в Москве. Он позвал меня, отправились вместе. Только миновали ворота — тетка в слезы: оказывается, племянник не крещен и, стало быть, помолиться за него нельзя.

— Старшие сестры у него крещеные, а когда этот родился, батюшки уже не было. Каждое утро за всех родственников молюсь, всех поминаю и сейчас вот записочки в монастырь привезла: всех вписала, кроме него, — одна у меня забота...

Поклонились преподобному Сергию, подали записочки, отстояли службу. Тетка собралась причащаться, и монахи помогли устроить ее на ночлег к какой-то старушке. Мы с некрещеным племянником повернули обратно. На другой день он снова съездил туда и привез радостную паломницу.

Шло время. Знакомец мой проявлял опасную нерешительность в главнейшем вопросе нашего бытия. Сначала он придумал, что будет креститься лишь у меня, но поскольку я служил далеко от Москвы,

ничего не получалось. Потом я возвратился и поступил в собор, находившийся рядом с домом знакомца: он ни разу не зашел на службу и вообще стал избегать меня. Церковные люди доподлинно знают, кто именно мешает человеку принять крещение, исповедаться, причаститься — иначе говоря, соединиться с Богом: лукашки да окаяшки...

Однажды, находясь в Крыму, я решил разыскать тетку-паломницу, благо адрес ее каким-то образом в памяти моей сохранился. Путешествовали мы с друзьями от храма к храму, от монастыря к монастырю и завернули в малую деревеньку. Прохожие указали домик. Постучал в калитку — никто не отзывается, однако слышен громкий мужской разговор. Прохожу во двор: дверь распахнута настежь, сидит на кровати постаревшая тетка, в руках — Евангелие, сама — спит. А из репродуктора во всю мощь — заседание украинского парламента, причем один скороговоркой спрашивает по-украински, а другой так же лихо отвечает ему по-русски... Выключил я радио, разбудил тетку, побеседовали.

— Живу, — говорит, — хорошо, слава Богу. Ни разу еще без ужина спать не легла. Одна забота: как бы там племянника окрестить... Вы уж постарайтесь, пожалуйста, а то ведь случись что — никто уже никогда помолиться не сможет... Он ведь добрый, из православной семьи, учился отлично и в армии служил хорошо. Потом пошел по комсомольской линии — беда, конечно; комсомольские начальники хужее партейных: партейным хоть за что-то отвечать приходилось, а у этих одна болтовня... Из райкома — в газету и доработался до Москвы... Мы вообще-то костромские, я сюда попала после войны — уж так жизнь сложилась. Ни мужа, ни детей у меня, да и вообще никакой родни,

кроме племянника, на земле не осталось — всех пережила. Тяну из последних сил: жду, когда он примет крещение. Тогда скажу Господу: «Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему, с миром», — и на вечный покой. Только одна забота у меня, только одна, поверьте...

Верю.

Указание



Хоронили старушку. Зимой. Кладбище старое, тесное, между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас, на асфальтированной дорожке. Народу было немного — человек десять. Это вместе со мной и тремя певчими. Служим, а я думаю: как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще, для чего оградки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных — тоже, когда ж все это уродство появилось? В двадцатом веке, наверное... Частокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно — есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой.

Пожилая родственница тяжко вздыхает:

— Тесно у вас тут, в Москве, — вероятно, приезжая, — в метро — толкучка, в магазинах — толкучка, и покойники — в эдакой-то тесноте...

У певчих — пар изо рта, усы и брови заиндевели. Певчие стараются: один из них — внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают

его. «Со святыми упокой...» Снимаю с ближайшей оградки кадило и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя...

Я ведь крестил эту женщину. Лет пятнадцать назад. И было ей тогда немного за сорок. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться. А потом меня перевели на другой приход, и я больше не видел ее и ничего не слышал о ней...

Бригадир шепчет сзади:

— Долго еще?



— Пять минут, — отвечаю не оборачиваясь.

Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающим невмоготу: они притопывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчие — хоть бы что: голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагал отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города, ехать к нам было очень уж далеко, а проситься к кому-то еще они не захотели.

Вот и все: бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами на вытянутых руках, они медленно продираются между оградками...

Оказывается, она уже третий год обитает здесь... Рядом со своим отцом: он был писателем, довольно известным в сороковые-пятидесятые годы. Наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать... Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было... Выходит, что у нее вообще никого не осталось? И кто же о ней теперь помолится? Тем более что окружение у нее было совсем нецерковным... А то и неправославным... Может статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться...

Мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, и я бы повесил кадило на другую оградку... Но остановились, а точнее, были остановлены — именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещеного человека некому помолиться. Совсем некому...

С тех пор я и поминаю ее. Неукоснительно.

Овсяное печенье



Случается, самые обыкновенные фразы, сказанные по пустякам, становятся, что называется, учительными. Важен момент, в который произносятся эти простые и, быть может, неинтересные фразы. Если момент подходящий, то и расхожие слова, употребляемые нами по нескольку раз на дню, могут обрести особый смысл и даже вызвать некие более или менее содержательные размышления. А вот удобоприменительность момента — вопрос загадочный и легковесному объяснению не подлежит. Тут уж все как получится...

Однажды, второго февраля, мы отмечали у отца архимандрита очередную годовщину Сталинградской битвы, в которой он принимал самое героическое участие. Батюшка был известен крайней строгостью по отношению к себе и безграничной доброжелательностью ко всем остальным людям. Его уже донимали всякие немощи, так что из кельи он выходил редко, разве только на службу иногда: помолиться со всеми, причаститься... Жил, можно сказать, в молитвенном уединении. Но Сталинградскую победу отмечал

неуклонно. И всякий, кто помнил, что именно произошло второго февраля сорок третьего года, мог зайти к нему. Празднование совершалось в полном согласии с традицией, начало которой, как мы понимали, было положено еще на передовой. Каждому вручались две мятые алюминиевые крышки от термосов: в одной — сто не сто, но граммов пятьдесят фронтовых, в другой — специально приготовленная закуска: зеленый горошек в собственном соку, перемешанный с мелко нарезанным соленым огурчиком. Мы выпивали крышечку «за победу!», подкреплялись кулинарным изыском, и пиршество завершалось. Хозяин кельи в этом занятии не участвовал по привычной склонности к аскетизму. Да тут еще присоединился к нему молоденький пономарь, пришедший с одним из священников: он строго отверг предложение и взирал на все с видимой осудительностью.

Рассказывать про войну отец архимандрит не любил:

— А чего там рассказывать? Наступаем, отступаем, окапываемся. Опять наступаем. Того убило, этого ранило. Того похоронили, этого — в госпиталь. Другого убило, меня ранило. Его похоронили, меня — в госпиталь. Подлечили — опять: наступаем, отступаем, окапываемся. Война — дело неинтересное, — и улыбался.

Обычно такие встречи проходили в разговорах о всяких церковных новостях: где чего построили, кого куда перевели по службе, но тут батюшка вдруг спросил: а из нас-то кто-нибудь бывал в Сталинграде? Оказалось, что, кроме меня, никто.

— В какие, — спрашивает, — времена? Наверное, Волгоградом назывался уже?

— В начале пятидесятых, — говорю, — самый что ни на есть Сталинград.



И ему, не видавшему город с февраля сорок третьего, стало так занимательно, что он потребовал от меня полного описания.

Мы с отцом плыли тогда по Волге на пароходишке — еще колесном: в ту пору по Волге ходило немало таких судов, на плаву был даже «Яхонт» — реликвия с кормовым колесом. А буксиры так почти все были колесными: знаменитые черно-рыжие, непомерно широкие из-за выпирающих по бортам колес.

Сталинград спешно восстанавливался, была уже построена парадная лестница на берегу Волги, над развалинами тут и там поднимались дома. Ходил трамвай. Мы доехали до Мамаева кургана и взобрались на него. Курган был усыпан позеленевшими гильзами. Я насобирал их, а отец, просмотрев, выбросил все немецкие: «Может, пулями из этих гильз убило кого-то из наших». Всюду по сторонам виднелись могильные холмики: где с жестяной звездой, где с табличкой, а где и без ничего. Местами в траве белели россыпи костяного крошева...

Другой батюшка рассказал, что один из его родственников — дядька, что ли — был ранен под Сталинградом и потерял ногу. И просил, если кто окажется в тех краях, поискать — может, найдется, а то протез ему надоел.

Отец архимандрит слушал с почтительной благодарностью, воспринимая наши истории как подарки, как посильное приношение к празднику. Приношение Сталинграду.

Тут я вспомнил еще рассказы матери: с выездной редакцией «Комсомолки» она попала в Сталинград вскоре после освобождения. Надо было налаживать выпуск газеты и одновременно заниматься детьми: в городе оказалось неожиданно много детей — тысячи детей, загадочным образом переживших зиму на линии фронта. Когда прошлым летом ребятишек собрали на берегу и начали перевозить через Волгу, немцы старательно разбомбили переполненную баржу с красным крестом. Жуткое это событие нарушило план, и ребятишки порасползлись. И вот теперь их собирали, откармливали, лечили. Для самых мелких — «детские сады»: выберут среди развалин место поровнее, посадят человек двадцать в перевернутые немецкие каски, а над всем — девушка-боец с автоматом. Она — и воспитатель, и заведующая, и завхоз, и охранник. Днем солдаты приносят еду, а на ночь малышей укрывают в ближайшем подвале: там есть тюфяки, одеяла и печка-буржуйка.

Летом на другом берегу Волги устроили пионерский лагерь — дети жили в шатровых солдатских палатках. Для развлечения и боевой подготовки то и дело проводились военные игры. Как-то заметили, что один парнишка уклоняется от военных игр, и пристыдили его, обвинив в трусости. В ответ

он неохотно предъявил медаль «За отвагу» и сказал, что с деревянным автоматом бегать не будет, ну а если понадобится, сможет и оборону организовать, и наступление. Сообщили военруку-инвалиду. Тот пришел, побеседовал и велел отрока больше не трогать: «Свой парень — фронтовик», — но при этом выглядел заметно встревоженным. Той же ночью оба фронтовика поразведчески незаметно пробрались за территорию лагеря, и мальчонка сдал свой тайник — до утра топили в реке пистолеты, гранаты, боеприпасы, с помощью которых и предполагалось организовывать хоть оборону, хоть наступление.

А первого сентября открыли первую школу: ремонт закончили только к утру, сильно пахло сырой штукатуркой. Присланная из Москвы молоденькая учительница начала урок. Она торжественно поздравила всех с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, с открытием первой школы, с началом учебного года, а потом стала называть фамилии учеников и расспрашивать о родителях. Дети отвечали: «Отец погиб на войне, мать угнана в Германию... Отец погиб на войне, мать убита в бомбежку... погиб... убита... убит...» Учительница выбежала в коридор и, прижавшись лицом и всем телом к невысохшей еще стене, даже не зарыдала, а завыла — истошно, пронзительно. Девушки-штукатуры, стоявшие у дверей, тоже плакали. А когда вышедшие из класса ученики стали всех успокаивать, завыли и девушки, и общий вой достиг какой-то невероятной силы и высоты. Учительница, перемазанная в штукатурке, обессиленно сползла на пол. В конце концов ребята всех успокоили, взрослые вытерли слезы, отмыли учительницу, и занятия благополучно продолжились. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать...

Мы уже пили чай. Тут-то и прозвучали необременительные слова, которые для присутствовавших гостей — исключая, пожалуй, пономаря — стали уроком. Казалось бы, после таких бесед — и совсем пустой лепет... А вот поди ж ты!

Батюшка, как всегда в этот день, предложил овсяное печенье — оно напоминало ему какие-то галеты военной поры. Строгий молодой человек сказал укорительно:

— В постные дни — не ем.

А была не то среда, не то пятница.

— Почему? — робко спросил хозяин.

— У нас его продают в коробках, а на коробках написано, что в состав входит яичный порошок, потому и не ем.

Батюшка улыбнулся и тихо сказал:

— А у нас его продают в пакетах, и на пакетах ничего не написано, так что я — ем.

Вот и все простые слова.

Через несколько дней отец архимандрит принял схиму. А юноша с отличием окончил семинарию и стал священником. Служил на одном приходе, на другом, на третьем, теперь, кажется, на пятом или шестом: ни с кем не уживается, всех поучает, и всё у него как-то внешне, внешне...

А мы, тогдашние гости, при случае любим угостить друг друга овсяным печеньем и всякий раз вспоминаем: «на пакетах ничего не написано, так что я — ем».

Интенданты в ночи



В пору моего детства большинство мужчин были военными. Они только что разгромили сильнейшую в мире армию, и жилось среди них надежно.

Мы легко разбирались в родах войск, званиях и наградах. Наивысшим авторитетом пользовались, понятное дело, летчики и моряки, за ними — танкисты, артиллеристы, пехота, железнодорожные войска, медицинская служба... Энкавэдэшников не любили. Их не любили все. Даже в переполненном автобусе к офицеру в синей фуражке не прикасался никто, и рядом с ним всегда оставалось незанятое пространство — поле несовместимости. Были еще белопогонники, то есть интенданты. Они носили узкие серебристые погоны. К интендантам мы не относились никак, словно не замечали.

В те же времена в бане слышал рассказ некоего фронтовика о том, как в сорок первом он был на сутки откомандирован с передовой в Москву. И когда ночью шел через центр затемненного города, распахнулись вдруг двери знаменитого ресторана, ударил свет и на

улицу вывалилась подвыпившая компания: интендант с группой штатских.

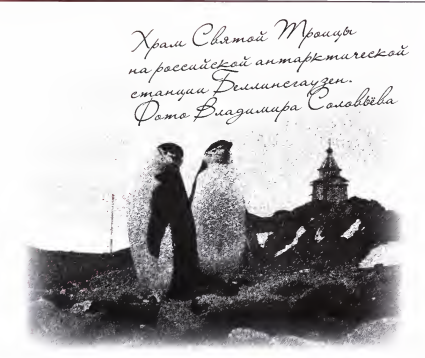
— Эй, фронтовичок, — говорят, — что ж вы Ржев сдали?

Вероятно, слушал я невнимательно, потому что самое интересное в бане — следы ранений: вот пуля, а вот — осколок, синяя сыпь — пороховой ожог, изуродованные ладони и лицо — горел в танке.

Спустя лет десять я попал в один славный дом. Славен он был недавно ушедшим хозяином: близкие еще вспоминали о похоронах, а по вечерам заходили его друзья — без предупреждения, как прежде. Мы, подростки, были заняты своей легкомысленной дребеденью и мало интересовались жизнью этих прекрасных людей. Отчасти — из-за присущего юности недоумия, отчасти из-за того, что их тогда оставалось еще немало.

Это были поэты-фронтовики. Люди странной породы, сочетавшие в себе качества, которые при обычном порядке вещей в одном человеке не умещаются. А уж как их любили женщины! Впрочем, мужчины никогда не бывают так дороги, как после войны. И чем кровопролитнее война, тем мужчины дороже.

Этих драгоценных людей слушать бы да слушать, внимая каждому слову, а нам — не до них. К счастью, несколько слов, влетевших мне в одно ухо, из другого не вылетели. Дело касалось известного поэта-песенника, который во время войны прилетел с фронта в Москву для встречи с не менее известным композитором. Понятно, что встреча эта случилась не по своей воле, а по благословению главнокомандующего, приказавшего в кратчайший срок написать очень хорошую песню, после чего немедленно отбыть



Храм Святой Троицы на российской антарктической станции Беллинсгаузен. Фото Владимира Соловьёва

к местам постоянного несения службы, то есть одному — в армейскую газету, другому — в выездную музыкальную бригаду.

Работали они в гостинице «Москва», работали круглосуточно. И вот на этаже поселяется интендант, пригнавший из Ташкента вагон не помню чего. Этот интендант, вернувшись ночью из ресторана, слышит звуки рояля и требует прекратить музыку. Требует сначала у горничной. Горничная по мере сил разъясняет ситуацию и призывает интенданта послушать: ей нравится песня о солдатах и соловьях. Однако интендант продолжает настаивать, стучит в дверь, дверь открывается.

— Вы знаете, кто я?! — кричит он. — Я сопровождаю вагон, а вы, вместо того чтобы помогать фронту, занимаетесь ерундистикой.

Поэт отвечает ему совсем не песенными словами, и дверь захлопывается. Тогда интендант уходит в свой номер и начинает сочинять жалобы. Жалобы эти долго еще будут плутать по коридорам высоких инстанций, а композитор с поэтом, сдав песню в Радиокомитет, разъедутся к местам дислокации.

И вдруг я вспомнил, что когда-то очень давно мне уже доводилось слышать нечто об интендантах, возникавших в ночи.

К моменту, когда рассказывалось это предание, интендантство как особый род войск было упразднено, да и само слово исчезло из обихода. Кроме того, без сомнения, и среди белопогонников было немало достойных, а может, и героических людей. Дело тут не в цвете погон, а в особом внутреннем устроении человека, напоминающем тараканье.

...Святки. Первый день. Сидим в келье Троице-Сергиевой лавры. Один — ездил в тюрьму, поздравлял с Рождеством заключенных, другой — служил в интернате для слепоглухонемых, третий — только что из Чечни, где крестил воинов... Четвертый — звонит из Антарктиды: там у нас храм, и наш приятель в дальней командировке. Ближе к полуночи меня разыскивает по телефону знатный чиновник. Некогда я освящал ему загородную усадьбу и автомобиль. Поздравляет с праздником, говорит, что видел богослужение по телевизору, но понравилось ему далеко не все. И начинает журить: дескать, тут вы не боретесь, тут недоделываете, это — из рук вон, а то — вообще никуда...

Интендант.

Авария



Разбудила ее соседка по купе:

— Простите, но мне сейчас... кто-то сказал, что надо выйти в коридор — будет авария...

Они оделись и вышли.

— Еще раз простите: может, это приснилось мне, а я вас вот так потревожила...

В следующее мгновение пассажирский поезд столкнулся с товарняком. Было множество раненых, были даже погибшие, но две женщины не получили и синяка. Они так крепко держались за перильце, установленное под окном, что в момент удара выдрали его вместе с креплениями, после чего перильце, цепляясь за стенки и сгибаясь в дугу, совершенно смягчило падение: в конце концов попутчицы просто уселись на пол...

Едва ли можно утверждать, что именно это событие изменило жизнь ее семьи — и сама она, и ее муж были людьми верующими, воцерковленными и к чуду отнеслись как подобает: заказали благодарственный молебен да пожертвовали храму что-то из незначительных своих сбережений. Быть может,

дали они и некий обет — не знаю. Однако со временем в действиях и поступках этой дружной четы стала обнаруживаться строгая последовательность и закономерность.

Сначала муж — а он был офицером — уволился в запас, и местный батюшка взял его в храм алтарником и чтецом. Потом они переехали из приволжского городка в подмосковный поселок — поближе к Троице-Сергиевой лавре. Благоверный нанялся в монастырь и честно отработал на разных трудовых должностях немало лет. Лаврские старожилы до сих пор вспоминают этого добродушного, могучего дядьку-бессребреника. Здесь же, в семинарии, учились двое его сыновей.

Наконец он вышел на пенсию и был рукоположен для служения в родном городке, однако служил недолго — заболел и вернулся. Помню, встретились в Сергиевом Посаде, разговорились о приходской жизни. Он грустно сказал:

— Живешь в лавре и думаешь, что люди только и заботятся, как бы душу свою спасти, а выйдешь за стену: человеку семьдесят лет, одной ногою в могиле, а все — про деньги, про деньги, про чьи-то долги... За каждым из нас — долг любви и благодарности: Богу, людям... Хоть сколько-нибудь вернуть бы...

Через несколько месяцев он скончался. Отпевали его сыновья — оба к этому времени стали священниками.

Новый ревизор



Похожий случай описал однажды Николай Васильевич Гоголь — прозаик, которого уже никто и никогда не сможет превзойти. И дело здесь не только в гениальности автора, а в том, что он умел обличать грех, не осуждая при этом самого человека. Впоследствии великая русская литература утратила это высоконравственное качество и насквозь пропиталась пагубным духом критицизма... Что уж говорить о нашем времени, когда осуждение превратилось в разменную монету человеческого общения? Вот я и думаю: как бы мне рассказать одну действительную историю и при этом сильно не нагрешить — там ведь все люди реальные, узнаваемые... Пожуришь — осуждение, похвалишь — лесть: и так и эдак — грех неукоснительный. Нет уж: придется кое о чем умолчать, а кое-что затуманить.

Главный участник событий — батюшка, из монашествующих. Для скрытности и затуманивания имя его не назовем, да и сан доподлинно именовать не будем, скажем: игумен или архимандрит. И вот во время

грандиозного торжества – не упомню уже по какому случаю – этот самый батюшка оказывается рядом с очень большим деятелем всего нашего государства. Теперь такое случается иногда... Оба они люди вежливые, и потому завязывается между ними беседа, в которой этот архимандрит сообщает, вполне между прочим, что должен по церковным делам побывать в некоем отдаленном краю все еще бескрайнего Отечества нашего. Или игумен... А у большого деятеля в том краю какие-то свои интересы были, он и говорит: дескать, не могли бы вы и мою просьбочку заодно исполнить – встретиться с местными руководителями и посмотреть, каковы обстоятельства тамошнего существования. Деятеля понять можно – ему захотелось свежего взгляда, а то чиновники норовят в таких поездках достичь высот отдохновения, а отчеты списывают с прошлогодних, которые в свой черед тоже списаны. Наш игумен или даже архимандрит, как человек в высшей степени обязательный, отвечает: мол, отчего же не исполнить вашу просьбочку – это посильно.

И вот отправился батюшка в поездку по церковным делам, а когда завершил все необходимое, его на вертолете перенесли в город, где была назначена встреча. Выходит он на аэродромный бетон, ступает по ковровой дорожке, а впереди полукругом – встречающие. Они, конечно, ожидали полномочного представителя, но не знали, кто он. И потому, когда игумен или архимандрит уже подошел, всё заглядывали ему за спину – где же уполномоченный?

– Это я, – объяснил его высокопреподобие.

Те поняли свою оплошность и протягивают руки, чтобы поздороваться. А он складывает им ладошки

лодочкой, благословляет да еще левой рукой пригибает высокоумные головы, чтобы к его деснице прикладывались. Тут самый главный человек этого края и говорит, что запланировано посещение форельных прудов, охотничьего хозяйства и базы отдыха местной администрации. Этот самый игумен или архимандрит пожимает плечами: мол, если вам надобно посетить какие-то заведения — занимайтесь. Они — в растерянности:

— А отужинать?

— Благодарствую, — отвечает, — с дороги можно.

Прибывают в хоромы, приглашают гостя занять почетное место во главе стола. Он прочитал молитву, благословил «ястие и питие», сел. Тут к нему приблизился человек, командовавший в крае известным учреждением — некогда серьезным и закрытым, а теперь, после ряда разгромных реформ, почти утратившим былые достоинства.

— Французский коньяк? — склонившись над ухом, спросил генерал в штатском.

— Не пью, — пояснил игумен или архимандрит.

— И правильно, — согласился генерал, — чего в нем хорошего? Самогон самогоном... Лучше — водочки... Я и сам больше водку люблю.

— Не пью, — повторил гость.

— Понимаю, — снова согласился генерал, — вино... Крепленое или сухое? Красное или белое?

— Вообще не пью, — взмолился уполномоченный.

— Не понимаю, — промолвил генерал и обескураженно посмотрел на самого главного.

Тот нервно махал рукой: мол, заканчивай с этим, переходи к следующему пункту. Генерал кивнул и продолжил оглашение протокола:

— Как насчет баньки?

— Можно с дороги, — сказал батюшка.

— А девочки? — шепнул контрразведчик. — Есть блондинки — ноги от ушей, народ проверенный...

Наш аскет пристально и с настороженностью, как на тяжкоболящего, посмотрел на него.

— Понимаю, — кивнул генерал, — я и сам не люблю блондинок: одна видимость, а толку — никакого...

Но тут даже главному хозяину стало ясно, что разговор зашел совсем не туда:

— Чем будете угощаться? — громко спросил он через весь стол.

Игумен или даже архимандрит оглядел жареных поросят, осетров и попросил свеколки.

— Чего? — не поверил своим ушам доблестный генерал.

— Свеколки. Или капустки. Сегодня среда — постный день...

Никто ничего не понял. Но через несколько минут, управившись с невесть где добытой свеколкой, гость встал, извинился, прочитал благодарственную молитву и сказал:

— Совещание — завтра в восемь утра.

— Не рано ли? — робко поинтересовался главный, окидывая взором праздничный стол.

— В самый раз, — твердо заключил игумен или даже архимандрит.

Собрались за полчаса до назначенного времени. Полномочного представителя еще не было.

— Вечером мылся в бане, — доложил исполнительный генерал, — потом прошел в номер, а утром исчез...

— Куда исчез? — прошептал главный.

— Не знаю. Перед сном он так долго читал молитвы, что ребята на прослушке уснули... Сейчас поднял по тревоге все управление — ищем...

Главный схватился за сердце. Но тут отворилась дверь и вошел уполномоченный:

— Был на ранней литургии в соборе, — объяснил он. — Сколько сейчас времени?

— Восемь ноль-ноль, — отрапортовал контрразведчик.

— Я и думал, что к восьми закончится. Тогда начинаем...

Вернувшись, он написал отчет для очень большого деятеля. Тот, говорят, остался доволен и даже оскорбел, что игумен этот или архимандрит трудится не в его ведомстве. Документ действительно вышел преудачнейшим — батюшка давал мне почитать: жизнь целого края там — как на ладони. И разные полезные рекомендации даны: какие отрасли следует развивать, во что средства вкладывать...

Конечно, про торжественную встречу ничего не написано: все это он сам мне рассказал.

Карцер



Священник, окормлявший тюремных узников, во время одного из посещений узнал, что дорогой его сердцу разбойник угодил в карцер. Дороговизна этого человека заключалась в том, что он искренне исповедовался, исправно молился, читал церковную литературу — то есть выходил на путь духовного делания. Батюшка и сам много молился за него: келейно и на богослужениях, а при всяком удобном случае служил молебны Анастасии Узорешительнице, испрашивая условно-досрочного освобождения. И вдруг — карцер! «Нарушение внутреннего распорядка», — объяснили начальники, но разрешили священнику повидать заключенного.

По тюремному коридору привели батюшку к колодцу, укрытому тяжелой железной крышкой. В крышке — небольшое отверстие, через которое в колодец проникал свет от слабой электрической лампочки, висящей под потолком. Отомкнули замок, подняли крышку: глубина — метра два, бетонные стенки — полтора на полтора метра, на дне вода. И в этой воде сидит темничное чадо с книжкой в руках.



— Ты что же, брат? — с болью в голосе спросил священник. — Ты же обещал...

— Простите! — молвил раскаявшийся разбойник. — Я нарочно... В камере невозможно читать Евангелие — народу полно, а здесь хорошо — никто не мешает...

Тут батюшкина душа вострепетала: он, понятное дело, и представить себе не мог, что в наши дни возможно такое. Глядя в покрасневшие от долгого напряжения глаза, священник сильно впечатлился и подумал, что этот человек — спасен будет...

Продолжение этой истории мне неведомо. Хотелось бы, конечно, чтобы всё управилось ко благу, как в песне про Кудеяра, который «бросил набеги творить» и стал монахом, но... не знаю и приврать не могу.

Медаль



По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил: сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать — в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром — еще и бульдозер не прошел — пробивается через сугробы к храму, торит трехкилометровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые

в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние.

Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой.

— Это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки.

— Как — кто? Баба!

— Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах, — да хоть кто она есть-то?

— А помнишь, в магазине балакала?

— Пьянехонькая такая?

— Она.

— Ужас! — отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней.

— Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.

— Да откуда ж вы это взяли?

— А — говорят! — победно заключила соседка.

И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти: одного забрали в больницу, другого — обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась.

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за три километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека.

— Бред какой-то, — заключил иеромонах.

— А — говорят! — обиделась старуха-соседка.

Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно постарел. И до середины лета жил



придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в лавру. Поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал:

— Медаль.

— Что — медаль? — не понял отец Евгений.

— Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. — На орден эта клеветка не тянет, а на медаль — вполне. Так что иди и благодари Господа.

— Господи! Как здорово-то! — воскликнул отец Евгений.

Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги, навстречу грядущим медалям и орденам.

Великая формула



На приходе у отца Виктора была достопримечательная прихожанка. Кромешно своенравная и капризная. Конечно, таковые есть на любом приходе, а в масштабах страны их и вовсе не сосчитать, но здесь случай особый, связанный и с чудесами, и с научным открытием.

Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой — сельцо потихоньку вымирает вместе со всем Отечеством. И внезапности, которые время от времени совершала приходская звезда, буквально потрясали жизнь малочисленной общины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и призвал народ к совместной молитве об «умирении Антонины» — таково было ее святое имя. И тогда случилось первое чудо: взбалмошная Антонина пришла в храм и пред всем народом покаялась. Надо было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая благоговейность момента.

— Какая же ты все-таки молодец, Тонька! — всхлипнула одна из тетушек.

И тут выяснилось, что покаяние было только половиной чуда: Антонина мрачно поведала, что ей приснился покойный батюшка, который и велел сделать все то, что она сделала. Отец Виктор — священник немолодой и многоопытный — не переносил разговоров о снах и потому, вздохнув, пошел начинать службу.

А между тем покойный батюшка Антонины, протоиерей Никандр, в пятидесятые годы был здесь настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости и благочестии, и старшие все остались при Церкви: сыновья — священники, дочери — матушки, а младшая — Антонина — после смерти отца ступила на стезю общественной деятельности и вознеслась до высот председателя сельсовета. И вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в ее душе. Она умела читать по-церковнославянски, с детства помнила обиходные песнопения, — а голос у нее был чистый и приятный, словно и не поврежденный временем. Все это сочеталось с таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой кротости применительно к ней и упоминать неловко. Например, разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она могла не явиться на службу, будь то хоть двунадесятый праздник, и потом долго не появлялась. Пообещав договориться с трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, она и сама не приходила, и бульдозер не присылала, так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидами то на отца Виктора, то на кого-то из прихожан, а обиды, известное дело, достойнейший плод тщеславия. Попытки утихомирить ее неизменно наталкивались на

буесловные возражения, дескать, она, не жалея сил, старается для всех, всем помогает, всех выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью.

Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молились-молились и домолились: свершилось то самое чудо из двух половинок. Но хватило его ненадолго: Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопений и снова исчезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане усугубили молитвенное прошение, и чудо повторилось: отец Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так бранил, так бранил ее, что она не решилась произнести в храме сказанные им слова. Однако и это чудо оказалось весьма кратковременным.

У Антонины от прежней начальственной жизни остался домашний телефон, и ей иногда звонили по церковным вопросам. И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила жителям отдаленной деревни день для крещения младенца, а батюшка в этот день уехал на похороны. Получилось нескладно. Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались.

Тяжелое наступило время.

— Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота, — вздыхал батюшка.

Одна из старух, помнившая давность, убеждала:

— Вся надежда на отца Никандра: уж он кру-ут, так кру-ут был!

— То есть чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с того света являться? — оторопел

батюшка. — Уже и на том свете нет покоя от вас? Отец Никандр дважды снился ей, и чего?

— Ну, исправлялась ведь, хотя и ненадолго. Думаю, он пока не сильно строжал ее, все-таки младшенькая, жалеет, а надо призвать его для решительного разговора. Кру-утой батюшка был, властей не боялся: ему что райком, что исполком — с паперти мог вытолкать. Они все церковь хотели закрыть — не дал. А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу — такая история. Может, он вообще мученик, просто до него еще черед не дошел: еще с довоенными — разбираться и разбираться...

Опять молились, молились... Дня через три Антонина пришла: лицо землистое, глаза долу. Похоже, на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего сказал он своей младшенькой, но главное — вывел формулу. Назвав Антонину «вздорной бабенкой», втолковал, что «вздорность — это дурь, помноженная на энергию, сугубо женское свойство». Прямо так и сказал. И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по поводу формулы: оно было восхищено новым чудом. А вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке, он тихо произнес: «Великая формула».

Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уже и не снился. Видать, не было надобности.

Три рыбы от святителя Николая

Батюшка Михаил, немолодой сельский священник, отправился ловить рыбу. Река еще после паводка не вошла в свои берега, клева не было, но батюшкой руководило чувство долга, которое, впрочем, руководило им всегда. Однако в последние дни это чувство обострилось сугубо. Приближался праздник Троицы, особо почитаемый в здешних краях, а значит — с обязательными рыбными пирогами, но в деревне, где проживал священник, ни одного рыбака не осталось. А ему никак не хотелось оставить соседей без праздничного пирога. Вот и пришлось — взять удочку и спуститься к реке.

Надо отметить, что дело происходило двадцать второго мая, то есть на Николин день, когда батюшка уже отслужил литургию и вернулся домой. Подойдя к воде, он перво-наперво осенил себя крестным знамением, а потом обратился к святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Обратился не вслух, а мысленно. Мол, так и так, я, дескать, понимаю, что рыба сейчас не клюет и клевать не может. Но мне до крайности необходимы две рыбешки:

для директора школы Петра Александровича и для Евстолии. Только две! Петр Александрович, хоть он в церковь не ходит, мужик неплохой, понимающий — это ведь он разрешил мне преподавать Закон Божий, а районные власти препятствовали, мешали... Опять же, зимой: вечерами, бывает, выйдем на улицу, постоим, поговорим, и котишки наши рядом сидят — присутствуют. Мой Барсик с его Мурочкой очень дружен.

Ну вот. А в прошлый сенокос сын Петра Александровича — Александр Петрович — утонул: от жары перегрелся, нырнул в речку — сердце и обмерло. Река-то у нас все лето холодная. Молодой парень был — тридцать лет, тоже в школе работал, учителем физики. Трое ребятишек осталось.

Я его под отцовы именины как раз отпевал — под праздник Петра и Павла. Говорят, в прежние времена до Петрова дня не косили, но тогда, может, климат нормальный был? А теперь — не пойми чего. Петр Александрович с детства погодный журнал ведет — полвека уже, и получается, что нынешняя погода никакому пониманию не поддается.

И вот, думаю, сядут они всей семьей за праздничный стол, а рыбного пирога нет. Всегда рыбник был, и вдруг не стало. Петру Александровичу самому теперь не словить: болеет он сильно. В этом году даже к реке не спускался.

Излагая таким образом свой интерес, отец Михаил между тем забросил удочку и всматривался в поплавок. Поплавок не шевелился. Спохватившись, батюшка спешно добавил, что семья у директора школы немаленькая: супруга, дочка с мужем, сноха, трое внуков, — стало быть, и рыбник нужен большой, чтоб всем хватило. И, надеясь на понимание, попросил



у святителя Николая помолиться пред Господом за недостойного иеромонаха Михаила.

Тут поплавок резко ушел под воду, батюшка подсек и вытянул на берег щуку: впервые в жизни ему

довелось поймать на червяка, да еще и у самого берега, такую большую щуку. Леска не выдержала и оборвалась — хорошо, что рыбина была уже на земле. Он поблагодарил Господа, связал леску и снова забросил удочку. После чего стал рассказывать про соседку Евстолию.

Про то, что она недавно овдовела, что покойный муж ее — дед Сережа — во время войны был подводником. Последнее обстоятельство отец Михаил повторил и даже сделал небольшую паузу, намекая этими знаками, что рассчитывает на особое расположение святителя Николая к морякам. Сообщил, что на службу Евстолия ходит каждый воскресный день и всякий раз приносит березовое полешко для отопления. Такая вот лепта вдовицы. Раньше-то дед Сережа ставил на реке сеточку, а теперь Евстолия может без пирога остаться. В связи с ее одиночеством и малой комплекцией батюшка и рыбку просил некрупную. Только одну!

Попалась плотвица граммов до шестисот: из такой выходит сочнейший пирог классического размера.

Еще раз поблагодарив Господа, а затем и святителя Николая за его скорую отзывчивость на молитвы, батюшка смотал удочку и пошел домой.

Все, что происходило до сей минуты, едва ли удивит верующего человека: по молитвам, известно, и не такое случается, — самое интересное началось именно теперь. Отец Михаил вдруг остановился и в полном смятении произнес: «Господи, прости меня, грешного: про Анну Васильевну позабыл!»

Его охватило чувство обжигающего стыда: просил две рыбы, две получил, и после этого начинать молиться еще об одной? Ну конечно же, срам! «Господи, аще можешь, прости!» — повторял он. В стенаниях

вернулся к реке, но забрасывать удочку не спешил, посчитав это безумной дерзостью. Сначала следовало объясниться. И опять мысленно: мол, так и так, нужна третья рыба. Анна Васильевна, конечно, превеликая стерва! Тут отец Михаил испуганно обернулся: не слышал ли кто его бранной и осудительной мысли? Но рядом никого не было. Занимательно, что святителя Николая, которому, собственно, и направлялось умственное послание, батюшка при этом нисколечко не забоялся. И затем рассказал, как старуха распускает про него всякие слухи, как не дает пользоваться своим колодцем — ближайшим к дому священника, и потому приходится ходить с ведрами чуть не за тридевять земель. Но это все ерунда, признавал батюшка: слухи и сплетни — для нас вроде наград, путешествия с ведрами — гимнастика. Главное — у Анны Васильевны отец священником был да в лихие годы умучен. Батюшку Михаила смущала будущая встреча с ним. Действительно, встретятся там, а протоиерей Василий и спросит: что ж ты — не мог моей дочери рыбешку для пирога изловить? Так что, продолжал рассуждения отец Михаил, хоть она и пакостница, но рыбешку надо поймать: может, это последний пирог в ее жизни. А что вредная, дескать, — не ее вина: сколько она с малых лет за отца-священника претерпела! И попросил ну хоть самую малюсенькую рыбешку. Клюнул какой-то подлещичек — на небольшой пирожок. Отец Михаил сказал: «Все, все, виноват, ухожу», — и без остановки в деревню.

Весть об успешной рыбалке облетела округу, народ побежал к реке. Ловили день, ловили другой — все впустую. Решили, что священник поймал случайно, по недоразумению, и успокоились.

Освящение



Освящение хоромин — дело в общем нехитрое. Правда, размеры некоторых зданий могут превратить простое занятие в продолжительный подвиг: шестиэтажный магазин со всеми его подсобками, складами, торговыми залами или заводской корпус с цехами, мастерскими и кладовками — увлекают иногда на целый день. Мне ничего столь впечатляющего не перепадало. Разве только автобусный парк...

А вот всякие занимательные обстоятельства сопутствуют этим молебнам довольно часто. И происходит это, вероятнее всего, оттого, что священнику здесь случается входить — даже врезаться — в среду мирскую, в самые разнообразные сферы профессиональной деятельности человека.

Скажем, приглашают как-то освятить родильное отделение наиглавнейшей больницы. Пометил четыре стены голгофскими крестами, прочитал молитвы, пошел кропить. Идут впереди докторши, открывают передо мною двери палат, кабинетов, а возле операционной в смятении останавливаются:

— Сюда, батюшка, вы, наверное, не пойдете...

— Почему? Операционную обязательно надо освятить!

— Да это вовсе не то, что вы думаете: здесь — не лечат, здесь — убивают... Еще и за деньги... Мы называем эту комнату «золотое дно»...

Смотрю на милых докторш и начинаю осознавать, что каждая из них народу переколошматила больше, чем все наемные убийцы, взятые вместе...

Потом одна из них придет: потеряла сон.

— Как закрою глаза: куски мяса — до самого горизонта...

— Обычное, — скажу, — для вашего промысла дело: только что возвращали сон вашей коллеге, у которой — до самого горизонта пеньки. Свежеспиленные... В истории психиатрии такого рода видения наблюдаются лишь у профессиональных палачей...

Но эта встреча случится еще не скоро. А пока я прошел мимо операционной. В одной из палат роженица попросилась креститься. Принесли огромный таз, окрестил я рабу Божию Светлану, и этим торжественным, светлым событием поход в начальственную больницу завершился.

На другой день попадаю в административное здание. Кроплю коридор, кабинеты. И здесь перед одной дверью — смятение. Что ж, думаю, за напасть! Опять — золотое дно?

— Тут, — говорят, — другая организация.

— Хорошо бы весь этаж освятить.

Позвонили в звоночек, дверь отворяется, и я излагаю строго одетому молодому человеку свои виды на освящение этажа. Он вежливо кивает и просит несколько подождать. Появляется мужчина постарше и приглашает войти. Но лишь меня одного:

административные тетеньки остаются в коридоре, дверь — затворяется.

Гляжу: прямо передо мной на особом постаменте — бронзовый бюст «железного рыцаря». Пошел кропить, замечаю, что в каждом кабинете на дверях — мишени для метания стрелочек: детская игра.

— Это что ж, — спрашиваю, — теперь ваше табельное оружие?

— Нет, — объясняют, — это просто так: для общей разминки.

А еще смотрю — в каждом кабинете удочки.

— Нам, — говорят, — по службе положены занятия спортом. Вот мы и занимаемся — рыбной ловлей.

Рассказали, что у них знатный тренер — большой профессионал, что рыбачат они на ближайших городских водоемах и что на днях будут сдавать экзамен по ловле уклейки. Показали конспекты — ну, насчет насадки, прикормки... Показали фотографию: десятка полтора строгих мужчин в штатском, стоят на асфальтированном берегу какого-то пруда, и все — с удочками в руках.

Приглашали в компанию...

Не сподобился. И рыбачить в городе никак не интересно, да потом: начнут, думаю, на Страшном Суде спрашивать с них за безопасность нашего государства, а они в ответ — про уклейку, и я еще возле этой уклейки окажусь...

А вообще-то освящение хоромин — дело нехитрое.

Разве мальчик виноват?..



Немолодой московский батюшка в доверительной беседе признался, что до крайности не любит вопрос, которым его время от времени умучивают разные малознакомые люди, — не любит, потому что не понимает: о русском национализме и недобром отношении к иноплеменникам.

— У меня, — говорит, — на приходе кого только нет: все народности бывшей державы, а также эфиоп, финляндец и кореянка... У вас кореянки нет?

— Кореянки нет, зато есть англичанин и новозеландка.

— А новозеландка — какого она рода-племени?

— Кто ж ее знает, — говорю, — новозеландского, наверное...

— Да такая существует ли — специальная новозеландская нация?

— Точно сказать не могу, но — имеют право.

— В общем-то да. Однако речь о другом: мы ведь заняты не выяснением национальности, а спасением души, которая по природе своей, как известно, есть

христианка... А тут пристают: почему вы к нам плохо относитесь, почему гоните и преследуете...

— Ну, это, наверное, не кореянка.

— Нет, конечно.

— Думаю, что и не эфиоп.

— Разумеется. И вот недавно, когда какой-то клещ впился в меня со своими антирусскими обвинениями, вспомнилась вдруг одна история из моего детства... Даже не история, собственно, а так — две картиночки. И все словно высветилось — весь этот проклятый вопрос, и видно стало, что он — ложь и на самом-то деле все не так, все — наоборот! — И батюшка взялся излагать историю — «две картиночки».

Началось с того, что отец будущего священника, офицер-фронтовик, выиграл по облигации десять тысяч. И купил пианино. Очень уж ему хотелось, чтобы сын стал музыкантом.

Наняли учителя — попался халтурщик: приходя, первым делом спрашивал про деньги, а потом кое-как натаскивал играть всякие популярные пьески вроде «Полонеза» Огинского и «Танца маленьких лебедей». Учителя сменила учительница — серьезная и обстоятельная, и дело пошло на лад. Наконец был экзамен в музыкальной школе при консерватории: мальчик выдержал его вполне достойно — об этом единодушно говорили все преподаватели. А потом отца пригласили побеседовать «о будущем юного дарования». В подробности этого разговора ребенка не посвящали, однако ночью сквозь сон он слышал, как отец рассказывал матери:

— Всех родственников до седьмого колена перечислил: и своих, и твоих — не годимся...

— Почему? — недоумевала мать.

— Потому что русские! — раздраженно объяснил отец.

— Тише ты, тише, разбудишь...

— Где они были, когда шла война? Пятый Украинский фронт, Ташкентское направление?.. А теперь командуют: русским в музыку ходу нет...

Такой была первая «картиночка».

Затем мальчика приняли в обычную музыкальную школу. Дела его шли столь успешно, что за два года до выпуска преподавательница сказала: «Тебе здесь делать уже нечего». И на ближайшем концерте известной пианистки, с которой школьная преподавательница была в недальнем родстве, случилась вторая «картиночка», мало чем отличающаяся от первой. В антракте отрока привели в консерваторскую артистическую, он что-то сыграл, и пианистка удивленно промолвила: «Интересный мальчик, оч-чень интересный». Потом музыкантши остались поговорить, а ученик ждал за дверью.

Концерт известной пианистки они не дослушали: преподавательница, выбежав из артистической, взяла его за руку и потащила по лестнице к выходу.

— «Не наш», видите ли, «не наш», — разгневанно повторяла она. — Нельзя же зарывать талант в землю! Разве мальчик виноват, что родился русским?

Батюшка сказал, что поначалу повторял эту строчку, словно стишок: «Разве мальчик виноват, что родился русским?» А потом забыл...

Вскоре после этого разговора у нее возникли сложности на работе, пришлось оставить учеников и перейти в какую-то подмосковную школу. Музыкальная карьера «оч-чень интересного мальчика» завершилась.

— Так кто же кого притеснял и зажимал? — простодушно смеялся батюшка. — Кто кому не давал ходу?..

Высоты большой науки

Прихожанин — из ученых людей — однажды заметил, что интенсивная работа полностью поглощает его и ему не с чем идти на исповедь: нет грехов. Поначалу это наблюдение даже обрадовало его, но ненадолго: благочестивец быстро уразумел, что причина такового положения не в чистоте духовной, а в пустоте — он, по его словам, «совсем переставал быть человеком и превращался в биомеханический инструмент». Справедливо признав это обстоятельство тягчайшим грехом, раб Божий восскорбел о своем прошлом и о своих собратьях, остающихся рабами науки. Он говорил, что основная задача науки — обслуживать прогресс, сущность которого оценивал крайне невысоко.

— Ну действительно, — говорил он, — из чего производится все, что нас окружает: бумага, на которой печатаются журналы и книги, стекла, вставленные в окна домов, сами дома, резиновые колеса автомобилей, сами автомобили, а также самолеты, корабли, ядерные бомбы?.. Все это мы берем из Земли.

Как правило, безвозвратно. Земля, конечно, великая кладовая, но не безграничная. И сущность прогресса примитивна — стремление к комфорту за счет богатств, оставленных человечеству: нефти, газа, угля, древесины, металлов...

Дескать, в древности Земля была прекраснейшей из планет, теперь на нее и с самолета смотреть больно, а уж из космоса — совсем страх... Ради этого и труждаются, не жалея бессмертных душ, слепые каторжане науки.

— Как возьмется человек в молодости за какую-нибудь задачку или тему, так, бывает, и буровит ее всю жизнь не поднимая головы, не умея взглянуть на свою работенку сверху. А уж гордости у нас, гордости! Тот — проник в тайну атомного ядра, тот — открыл доселе неизвестную звездочку, тот — увеличил мощность электровоза... И тут уж не до Бога, не до Церкви: это мы — творцы и хозяева мира!.. Между тем новейшими исследованиями тех же ученых установлено, что ближе всего к идеалу человеческого существования находятся племена, живущие по доисторическому укладу: трудятся по четыре часа в сутки, спят — по десять, едят экологически чистые продукты, в семьях мир и порядок... Изумительные выводы! Ну и куда мы волокли человечество? Слепые вожди слепых...

Так вещал прихожанин. Не берусь судить, насколько точен был он, — я далек от его поприща, однако и в моей памяти нашлось несколько малых историй, восходящих к высотам научной материи.

Дело в том, что и сам я от юности был увлечен науками, и увлечение это привело меня в сибирскую физико-математическую школу. До начала занятий оставалось немного времени, и я устроился в экспедицию,

исследовавшую распространение звуковой волны под водой.

Поселили меня вместе с еще одним «увлеченцем» в палатке на берегу водохранилища и ничего особенного от нас не требовали — так, притащить хворосту, развести костер, вскипятить чайник; а потом мы стали ловить рыбу, и это устроило всех: нам — развлечение, обществу — провиант. Иногда, впрочем, ездили в академгородок: какую-то аппаратуру увозили, какую-то привозили. Однажды в институтском дворе нам показали «легендарную» гидропушку, которая вовсе не была похожа на артиллерийское орудие: баллон с водой, облепленный баллонами со сжатым воздухом. Громоздкое сооружение передвигалось по специально уложенным рельсам, стреляло литром воды и разбивало камни. Зрелище было впечатляющее, и ученые возмущались, что изобретение это никто не хочет оценить по достоинству. Предлагали шахтерам, а те отказываются: дескать, и тяжела пушка, и неповоротлива, несподручно накачивать ее до ста атмосфер, да и от ударов таких могут произойти губительные сотрясения. И все дивились шахтерскому невежеству. Тут доктора с кандидатами куда-то ушли, мы заскучали, нашли кувалду и от нечего делать попробовали сокрушить камень — их много валялось по двору. Атлетами мы не были, но под кувалдой камень разлетелся легко. А потом — другой, третий... Возвратились доктора с кандидатами и обвинили нас в «преступлении против науки», поскольку булыжники были приготовлены для гидропушки! Грозились выслать в двадцать четыре часа, но мы искренне повинились, и начальство смилостивилось.

Когда вместе с новыми осциллографами ехали в кузове грузовика, приятель сказал:

— Что без разрешения побили нужные камни — нехорошо, это я понимаю. Не понимаю только, на кой нужна эта пушка?

Мне тоже вдруг показалось, что шахтеры правы.

На другой день к нам приплыла железнодорожная шпала. Вытащили ее, чтобы приспособить вместо скамейки, но почему-то нашли иное, неожиданное применение.

Берег, на котором располагалась экспедиция, был высок — метров десять-двенадцать, и поверху вдоль обрыва тянулись глубокие трещины. Вот мы и приспособились вставлять в них шпалу, раскачивать ее и обрушивать в воду высоченные стены грунта: грохот, словно от взрыва, брызги — к нашим ногам! День выдался дождливый, эксперименты не проводились, и мы могли бродить со своей шпалой сколько хватило сил. А вскорости нас посетила целая делегация: незнакомые дядьки ходили туда-сюда вдоль обрыва, что-то высматривали, обсуждали. Наш начальник объяснил:

— Гидрологи. Говорят, в последние дни произошли аномальные обрушения...

— Может, сознаемся, — предложил я приятелю.

— Надо бы, конечно, да ведь опять погонят в двадцать четыре часа... Думаешь, из-за нашей деятельности может пострадать научная истина?..

Сошлись на том, что истина, если и пострадает, то не намного — всего лишь на двести метров береговой черты.

— Если бы шпала была полегче, — вздохнул приятель, — мы бы, наверное, совершили в этой отрасли знаний переворот.

Однако свои «двадцать четыре часа» мы от гидрологов все-таки получили. Правда, не за вмешательство

в природный процесс, а за жестокое обращение с животным.

База гидрологов находилась неподалеку, мы подружились со сторожем и ходили слушать всякие фронтовые истории, которые тот любил рассказывать. Сторож вел все хозяйство базы: таскал воду, колол дрова, готовил обед, стирал, подметал, кормил кур, кроликов. Работал он одной левой — правая рука осталась на заграничном поле сражения. Работал споро, ловко — можно было залюбоваться. Но более всего нас потрясало, что он ездил на мотоцикле. Даже не ездил — гонял. Этот мотоцикл и довез нас прямиком до следующей печали.

Приходим как-то в гости, а никого нет — все куда-то подевались, и сторож тоже. Ждали мы, ждали, сидели на крылечке — не идет никто. Пошли бродить вокруг дома. Глядим — у сарая мотоцикл стоит... Дальше все как-то само собой получилось: покрутили рукоятки, посидели в седле, попытались завести — не заводится. А давай, думаем, под уклон разгонимся, он заведется, мы немножко прокатимся, вернемся назад и поставим его на место. Напарник мой сел за руль, я — толкал, а когда разогнались, запрыгнул на заднее сиденье. И вот летим мы под гору по тропинке: через двор — не заводится, через лес — не заводится, прыгает по колдобинам так, что мы еле удерживаемся. Вылетаем на поляну — козел. Привязан к кольшку, жует траву, разглядывает нас. Кричу:

— Тормози!

Не тормозится... И не заводится, и не тормозится: летит прямиком на козла — тот перестал жевать, наклонил голову, но — ни с места. Водитель кричит:

— Прыгай!

Словно летчики в падающем самолете — я не могу его бросить:



— Сам прыгай!

Не успели: столкнулись с козлом. Открываю глаза: стоит он надо мной и опять жует. Ну, думаю, хорошо, что хоть зверя не погубили.

Зверя-то не погубили, но крыло у мотоцикла помялось. В общем, опять нас стали бранить — не сторож, конечно, а его начальство: козел тоже оказался гидрологическим, у них стадо козочек было — для молока, и козел. Он пасся отдельно. Опять «двадцать четыре часа», и, в сущности, все за то же — без спроса и от нечего делать...

На другой день пошли вымаливать прощение у гидрологов, а им — не до нас: получили права на

вождение большого баркаса и вместе с речной инспекцией отмечали это событие. На дворе был сооружен длиннющий — метров до двадцати — стол, за которым сидело множество народу. Мы — с одного конца: нет нам ответа, с другого — то же самое. Даже сторож был в такой степени отрешенности, что ничего не понимал. А потом и вовсе сполз со скамейки и уснул на траве. Тут какой-то защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент пооткрывал клетки:

— Свобода превыше всего!

Кролики выбежали во двор.

— Зайцы! Зайцы! — заорали сразу несколько человек, и началась пальба из ракетниц.

Зверям и на сей раз повезло, а вот дом загорелся, и вдвоем с приятелем мы гасили начинавшийся пожар: остальной народ помочь нам не мог.

Вернулись грустными: двадцать четыре часа истекли, а прощения попросить так и не получилось. Но миновали и следующие сутки, и еще одни... Наконец приезжают из академгородка начальники, шепчутся с нашими докторами и кандидатами и подзывают нас. Вот, думаем, и кончилось вхождение в большую науку. Но нет:

— Вы, — говорят, — на рыбалку ездите и все здешние заливчики знаете.

Мы совсем растерялись, потому что наша рыбалка с гидрологическим козлом никак воедино не связывалась. Выяснилось, однако, что до нас опять никому дела нет, а вот гидрологи с речниками пропали: уплыли на своем баркасе и всё...

Нашли мы эту пропавшую экспедицию: солярка у них закончилась, но запас напитков и продовольствия был еще столь велик, что о возвращении не могло быть и речи. Они пели всякие моряцкие песни,

а защитник живой природы и, возможно, будущий диссидент утверждал, что готов стать летучим голландцем.

С той поры нам уже высылкой не грозили, да и мы, надо признать, стали чаще спрашивать благословения и старались от нечего делать не делать уже ничего — это действительно значительная наука. Между тем приближалось событие, о котором доктора с кандидатами говорили как о самом важном во всей нашей жизни: нам предстояло работать с группой «легендарных» ученых.

Эксперимент готовился грандиозный, стягивались главные силы: мы с приятелем, однорукий сторож с гидрологическим кандидатом — у кандидата были судоводительские права, но почему-то управлял баркасом бесправный сторож. Прибыли на небольшой островок, торчащий посреди водохранилища, вырыли две ямы нужной ширины и глубины, одну траншею, установили палатки, разожгли костер и сели ужинать.

Кандидат рассказал о своем новом изобретении:

— Берем надувной матрац, крепим бамбуковое удилище вместо мачты, из наволочки делаем парус... Я все промерил, все просчитал, и чертежи готовы уже: самая дешевая яхта в мире!

— А рулить как? — поинтересовался сторож.

— Руками! Ты ведь на ней лежишь — опускай руки в воду и притормаживай. Если длинный — можно и ногами рулить...

— А грузоподъемность?

— До тридцати килограммов.

— Так это ж... детский вес...

— Вот именно! Все лучшее — детям: каждому ребенку по яхте!

— У тебя самого дети есть?

— Пока нет, а что?

— А то, что ни один нормальный родитель не отправит своего детеныша на такой клизме в открытое море.

— Ты ничего не понимаешь в науке.

— Ничего, — легко согласился сторож, — а потому давайте-ка спать.

Наутро к острову подошел «легендарный» катер с огромным количеством артиллерийского пороха и группой «легендарных» ученых, и развернулась подготовка эксперимента: надо было погасить пламя, прижимая его к земле облаком пыли. Сначала таскали ящики с порохом, похожим на макароны. Завалили им небольшую полянку, с наветренной стороны уложили в яму пару мешков цемента, к мешкам — тротил, детонатор... Спрятались в траншею, подожгли бикфордов шнур, швырнули горящий факел — порох полыхнул, пламя взметнулось к небу и — улетучилось... Раздался взрыв: цементная пыль легла на догорающие «макароны»...

Подготовили вторую поляну: этот порох был похож на пучки сине-зеленой лески и звался «волосяным». Подожгли, взорвали... То ли ветер переменился, то ли еще чего не сошлось, однако весь цемент высыпало на наши головы. Запыленные корифеи обсуждали причины столь убедительных неудач, а мы с приятелем полезли купаться: свершившееся событие определенно не могло претендовать на роль самого главного в нашей жизни.

На обратном пути решили заглянуть к нам в гости. «Легендарный» катер шел впереди.

— Не люблю ходить сзади, — ворчал сторож. — На машине, бывало, когда идешь в колонне последним, всегда кажется, что быстрее всех ехать приходится.

Один из кандидатов, стоявших рядом, сощурился, наморщил лоб и сказал:

— Вообще-то правильно: последний едет быстрее...

— Это ощущение такое, — уточнил сторож.

— Нет, последний действительно едет быстрее, потому что ему приходится совершать ускорения, зависящие от...

Тут не выдержал мой напарник:

— Если из пункта А один за другим вышли два автомобиля и в том же порядке прибыли в пункт Б, то скорость второго автомобиля была выше?

— Разумеется! — заявил кандидат, удивляясь нашему непониманию.

Мне стало ясно, что таких высот я никогда не достигну, и впредь все множество точных наук обходилось без моего содействия.

Судьба напарника мне неизвестна. Экспедиция, в которой мы по искренней доброте наших начальников ни шатко ни валко трудились, была отмечена наивысшей державной премией, с чем и поздравил меня по телефону один из докторов, ставший лауреатом. И вообще, чего там говорить: прекрасное было время и люди славные...

Касательно же рассуждений моего прихожанина: да, правда, ученые неохотно, тяжело идут к вере. Но ведь приходят!..

Тоскующие по небесам



Освящал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо дядька сказал:

— Ничего себе!

Остановился, осмотрел меня с головы до ног:

— Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?

— Вообще-то, — говорю, — я часто летаю.

— Так то пассажиром, а я приглашаю за штурвал...

— Вы серьезно?

— А чего там? Во-он стоит, — он указал на маленький самолетик, — мне его с полчаса погонять надо, вдвоем веселее.

Я спросил своих провожатых — их такая отсрочка даже обрадовала: они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались:

— А не опасно?

— Уж слишком, — говорю, — красивая смерть: наверное, не заработал.

Сели в кресла, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным: «Вот так — вверх, а вот так — вниз». Взлетели, дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я рукоятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает рукой: выше, ниже, я выполняю.

Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок: кирпичные дома с башенками. Следующий поворот: брошенные свинарники, зарастающее кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей — вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий, снова шоссейка, дома... Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами, смотрю вдаль: видна Москва, хотя мутновато, в дымке.

— Ты по времени сколько еще сможешь летать? — спрашивает инструктор.

— Пока не кончится горючее, — отвечаю. Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать.

Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. Потом вдруг командует:

— Давай на аэродром: диспетчер передал, что сто пятьдесят четвертый садиться будет.

Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлетно-посадочную полосу.

— Выравнивай, выравнивай, держи курс.



— Можно сажать? — спрашиваю в шутку, а сам думаю: скажет «сажать» — надо будет как-то выполнять приказание.

— Ишь разбаловался! — и перехватывает рукоятку.

Садимся, заруливаем на свое место, тишина.

— Ты с какого года? — спрашивает инструктор.

Я отвечаю.

— Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке, потом вышел в запас, вернулся домой и теперь катаю и обучаю всех желающих... А ты когда впервые самолет увидал?

— Да был совсем маленьким: жили на Хорошевском шоссе, у Центрального аэродрома, самолеты прямо над головой взлетали, садились...

— Слушай, и я там же!

Оказалось, что мы были почти соседями, однако и дома наши, и школы находились по разные стороны Хорошевки. Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на Центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавшие свой срок детали, добывать «штуки» — тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за «штуками», но не через

дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной: отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», — и меня всегда пропускали. Тогда на Ли-2 американское оборудование заменяли отечественным и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору семь лет.

— А ты про дыру-то не знал, что ли?

— Не знал.

— Через нее солдаты в самоволку ходили... Ну, тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил. Счастливый...

— Это тебе повезло — взлетел, а я, видишь, на земле остался.

— Не скажи: твое дело тоже в небеса направленное, тоска по небу, может, с тех Ли-2 и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать: получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся — медсправку сделаем...

— Хорошо бы, конечно, только добираться до вас — замаешься, полдня потерять надо.

Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа.

Расстались мы как старые друзья.

Бизон и Фуфунчик



Отец Гавриил совсем стар. Добираться до храма ему тяжело, но он всегда приезжает заранее, минут за сорок. Потом появляется пономарь, следом — диакон, молодые священники и наконец, перед самым началом службы, — настоятель. Отперев дверь, отец Гавриил обходит иконы и перед каждой молится о своих чадах: о недужных, скорбящих, неудобоучащихся, непраздных, пребывающих во вражде... Просит и для себя: кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Говорит: «Господи, дай помереть здоровеньким!» Он пока еще может служить и потому считает себя вполне «здоровеньким», при том что хворей у него — не счесть и лекарства приходится есть горстями. Но эта просьба не главная — главная в алтаре. Зайдя в алтарь, отец Гавриил медленно и неуклюже — ноги болят — совершает земные поклоны, с молитвой «Господи, прости и помилуй» прикладывается к престолу и начинает зажигать лампадки. Исполнив обязанности пономарские, приступает к диаконским: расставляет на жертвеннике сосуды, находит нужное евангельское

чтение, после чего усаживается в уголок и дремлет. Минут пять или десять, пока никого нет. В алтаре тихо, теплятся огоньки разноцветных лампадок, и для старого батюшки это теперь самые счастливые мгновения. Блаженство. «Так бы и помереть», — мечтает отец Гавриил.

Сегодня воскресный день. Пономарь прибегает пораньше, и начинается колготня: надо разжечь кадило, открыть вино, принести просфоры, посмотреть апостольское чтение и прокимен. Он еще почти отрок — только-только школу окончил, но дело знает хорошо — в алтаре с пятилетнего возраста.

— А что, батюшка, — говорит пономарь, — голова после вчерашнего концерта у вас не болела?

— Ужас, — отвечает отец Гавриил, вспомнив, как из-за рок-концерта, устроенного на Красной площади, вчера во время всенощного бдения дребезжали окна.

— Просто — новая культура, — снисходительно объясняет пономарь. — Вам, к примеру, нравится консерватория, а современной молодежи — рок.

— Так-то оно так, только в консерватории после концертов ни шприцы, ни окурки на полу не валяются, да и нужду под себя там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Василия Блаженного — тащили от храма два мешка мусора.

— К ним на территорию во время концертов вроде не пускают.

— Что с того? Поклонники «новой культуры» могут и через ограду перебросить.

Приходит диакон, несет со свечного ящика записки:

— Ну, такого я еще не видал: «О здравии администрации президента» и «О упокоении новопреставленных Фуфунчика и Бизона». Зашел, говорят,

прилично одетый человек, написал эти записки, а на ящике заупокойную не принимают — требуют святые имена. А он свое: «Бизон и Фуфунчик — святее быть не может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрелили». Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, рядом работает — сосед.

Кто-то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил выходит: пожилой мужчина просит поменять крестных родителей своего сына.

— Это невозможно, — отвечает отец Гавриил, — а в чем, собственно, дело?

— Колян — крестный отец — завязал, а Надежда — мать крестная — совсем спилась: рюмку хлопнет и под стол валится, так что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину.

Батюшка какое-то время втолковывает горемыке насчет восприемников, но тут появляются молодые священники, настоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь: приходит время Божественной литургии.

Ручеек



В ранней молодости отец Тимофей работал печатником: центральные газеты печатал. И вот как-то появляется под потолком ротационного цеха растяжка: «Увеличим производство на три процента». В честь очередной годовщины социалистической революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, как мы можем увеличить производство на три процента, если тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха махнул рукой: мол, отстань.

Через неделю добавляется новый призыв: «Увеличим на четыре процента» по поводу съезда не то партии, не то профсоюзов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова: отстань.

Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем союза молодежи, привело молодого человека в полное недоумение: добавилось еще три процента, и выходило, что в сумме надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерялся: куда выбрасывать тонны лишних газет?

Ему объяснили, что выбрасывать ничего не придется и ни одной лишней газеты никто не напечатает, но поддерживать «передовые почины» надо: глядишь, выиграем «социалистическое соревнование» и получим вымпел. Чистой воды лицемерие и фарисейство. То, что, по мнению отца Тимофея, со временем и развалило социалистическую державу. Однако молодой печатник отказывался понимать общепризнанный политес.

Впоследствии, учась в семинарии, Тимофей познакомился с жизнеописанием Ростовского митрополита Арсения, известного дерзкими выступлениями против императрицы Екатерины, разорявшей монастыри, и очень полюбил этого необыкновенного Владыку. Кстати говоря, для Тимоши отыскалась и своя Екатерина — секретарь комсомольской организации Катька, устроившая собрание.

Наборщица Катька собиралась вступать в партию. И все у нее для этого было: женщина, рабочий класс, из комсомола — прямейший путь без затруднений. Но ей хотелось чего-нибудь возвышенного, громкого, хотелось идеологических достижений. Вот и взялась она за Тимофея. Дескать, был порядочным человеком: организовал клуб туристов и водил молодежь в походы; возглавил эстрадный оркестр, под который проходили все праздники, и сам прекрасно играл на аккордеоне, особенно песни военных лет, — а потом вдруг опустился до предательства. Обличала, обличала его с трибуны, и все очень высоким штилем: насчет морали, идейности, а он, сидя в каком-то ряду, слушал. Потом призвала его встать и спросила:

— Ты что, против линии Центрального комитета нашей организации?

Парень пожал плечами:

— Ну а если эта линия — полная глупость?

И Катька сорвалась на визг:

— Комсомольский билет на стол!

Билета у Тимофея при себе не было, и он молчал, не понимая, что надо делать.

— На стол! — еще раз взвизгнула Катька, глаза ее победно блистали.

И тут в наступившей тишине из глубины зала вылетело:

— Ты, что ль, ему этот билет давала?

Все обернулись: в дверях стояли несколько чумазых печатников совсем не комсомольского возраста. Собрание было открытым, и они пришли поддержать своего. И вот единственная в этом мужском цеху работница возразила комсоргу. Катька в ответ переспросила:

— А что, ты, что ли, давала? — И это было неосторожно с ее стороны: русский язык, как известно, безгранично щедр на двусмысленности.

Работница вновь:

— А ты давала?

Зал содрогнулся. Это был не хохот, это были рыдания. Причем как только они затихали, слышались все те же встречные вопросы двух типографских тружениц, и рыдания снова охватывали зал. Тимофей стоял посредине и, поворачиваясь то к одной, то к другой, ждал, чем дело кончится. Народ, исплакавший от смеха все слезы, стал расходиться.

С Катькой случилось то, что случилось бы с полководцем, который, призывая воинов к смертной битве, выехал перед ними на белом коне, указал саблей в сторону неприятеля и вдруг неуклюже свалился бы в грязь.

И хотя собрание завершилось пустым весельем, в протокол было вписано «единодушное осуждение» с передачей личного дела в райком.

Однако через несколько дней, как раз во время Тимошкиной смены, на первых полосах всех газет появилось сообщение об освобождении от должности первого секретаря того самого Центрального комитета, с линией которого Тимофей был не согласен. Печатники хлопали его по плечу, Катька заискивала и шептала: «Ну, если у тебя наверху свои люди и ты все знал заранее, предупредил бы, чтобы не выставлять меня в неприглядном свете». Но никаких связей у Тимошки не было — он вообще воспитывался в детском доме.

Директор издательства пригласил к себе в кабинет, где у него гостил приятель, космонавт. Рассказал о Тимошкиной принципиальности, и космонавт, слегка нагрузившийся коньяком, одобрил:

— Такие люди партии очень нужны — они как прозрачные ручейки, вливающиеся в мутный поток. Я прямо сейчас готов дать рекомендацию.

— Слабый из меня ручеек, — вздохнул Тимофей и попросил отпустить его — надо было работать.

— Твое здоровье, — сказал космонавт, поднимая фужер.

С этого времени Тимошка стал неудержимо стремиться поближе к сущности бытия, чтобы, значит, без фарисейства.

Так, собственно, он и стал отцом Тимофеем.

Иеромонах Севастиан



Довелось как-то заночевать у сельского батюшки — спросил дом священника, мне посоветовали идти на кладбище: «Там он и живет». Отыскал кладбище: слева за воротами церковь, справа — домишко похилившийся. Только постучался — зажегся свет, словно меня тут ждали.

Хозяин — тщедушный старичок с седой бороденкой — встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению: «Как хорошо, что приехали, главное — вовремя, а то я собрался с утра в лавру податься». Вскипятили чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат: «Давно, в дьяконах еще, но недолго», а овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни; он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую историйку.

Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене — для примера отец

Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж поделаешь? — объяснял отец Севастиан. — Население продолжать надобно? Надобно! А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили: мол, будем ходить к тебе, а ты выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут — что же тогда, народу совсем прекратиться?.. В открытую постановили — их мужья к той поре уже сгинули... Он сопротивлялся поначалу — совестливый был мужичок, я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького, — но потом вошел в понимание...»

Такая вот была жизнь. И вдруг: солдатик, молоденький, при руках и ногах, — заглядение! Бросились на него бабы и девки, а он что — его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин дальше, а спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что «под сердцем у нее бьется еще одно», — слова отца Севастиана. Испугалась красавица — больно лют у нее родитель был: с фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал — по пьянке вполне убить мог. Да в конце концов и убил — правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер.

Пока можно было, скрывала, а когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки — вроде бы за копейкой, отец одобрил. Там народ сбродный, чужой, никому до нее дела не было — потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась и на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих знала, что они добрые, живут крепко, а своих детей нет.

Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их... И все это время не

переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки, а той жилось хорошо.

И вот нынче летом они встретились в поле: рожь высоченнейшая была — столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все — мальчики: старший в армии да двое маленьких — с маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось шестьдесят, стало твориться неладное: бессонница, слезы, вой — муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась.

И пришла к отцу Севастиану.

Ну, она все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-то теперь? Признаться дочери или промолчать — так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка, — говорит, — душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, родное ведь!.. Вылитая я в молодости... Но боюсь, — говорит. — Скажу вот, что она — дочь мне, и вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится? А этого, — говорит, — не пережить. Пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось», — и плачет, плачет.

— И я плачу, — рассказывает отец Севастиан, — ревмя ревем. А что отвечать — не знаю: не открыто мне, не открыто... Вот вы — как бы вы поступили?

Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно, я сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию.

— Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распорядится наилучшим образом: надо будет — сведет их, не надо — так все и останется. Но пока живой, вдруг что-то успею?..

Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом — о войне. Выяснилось, что отец Севастиан воевал, трижды ранен, имеет боевые награды.

— Я тогда по-другому звался — Петром, это уж при постриге меня в честь одного святого... Картина знаменитая есть: стоит он, к дереву привязанный, и весь стрелочками истыкан... Во-во, Тициана! Ну а мученик вообще-то начальником стражи служил у заграничного императора — давно, еще в третьем веке. Ну, император его за непоколебимую веру и... того... А я тогда Петром был. В зенитных войсках...

Вот уж было мне интересно, но легли спать: я на диванчике возле печки, хозяин — в другой комнатенке, «в келии».

Встали рано. Опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал:

— Так что не открыто мне, не открыто... Если бы еще они обе ходили в храм, тогда, может, с Божией помощью, и разобрался бы, а так — дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в лавру — к отцам. Может, что присоветуют.

— Так вы что ж — за этим и едете?

— Именно, — удивился отец Севастиан моему непониманию.

— Специально?

— Ну да... Не за колбасой же? А если там не помогут, — старик задумался, вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову, — если не помогут... придется ехать в Печоры... Да, — твердо заключил он, — тогда — в Печоры.

Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не приходилось.

Свет



Мой приятель — пожилой московский священник отец Алексий — рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе весьма важное для жизни успокоение.

В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангин, однажды не выдержала: «Ну что с тобой делать — на помойку снести?» Врачиха была незлой, напротив — доброй, заботливой, и уж конечно не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, думается, построжать родителей. «Знаю, что у вас большая семья, — сказала она еще, — знаю, что ответственная работа, но умоляю: бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе.

Если прежние его ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни: с горчичниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством жара и постельной тюрьмой, то здесь — переставшему наконец болеть — открылась громадность мира,

и чувства устремились познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни.

Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой: на рубль — пять рыбин... Был еще дом — старой постройки, кирпичный, в три высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей — только стены. За стенами — груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами.

На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибивалась мина: народ разбегался по домам и ждал приезда саперов.

То и дело кто-нибудь да тонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усилиями «откачать» — воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не видел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно сказать: объяснение всякий раз давалось одинаковое — «дельфин защекотал». Дельфинов тогда у побережья держалось множество: возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию, люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну.

В центре города стояла триумфальная арочка — небольшая, но вполне натуральная, сложенная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножия ее возлежали две старинные пушки.

На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой акации, сохранялись остатки усадьбы: вереи

без ворот, постаменты без статуй, колонны без фронтона, крыльца и даже без самого здания.

В береговых осыпях попадались глиняные черепки — осколки греческих амфор.

Алешины родители были тогда еще сравнительно молоды и любили друг друга. Но уже и в ту пору случались не лишенные тревожности разговоры, в которых отец просил маму оставить работу и сидеть с детьми, чтобы наконец «образовался хоть какой-нибудь дом». Однако вздор, благополучно внушенный ей в юности, осенял все без исключения наиважнейшие ее шаги — просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение, и в конце концов семья развалилась... Когда-то, в семнадцатилетнем возрасте, отрезав косу и повыкидывав из дома родительские иконы, Алешина маменька решительно ступила на стезю деятельности яростной и многотрудной: на знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано «общественное» — для слова «личное» места недоставало. Обстоятельство это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований.

Но Анапа находилась ближе к середине пути, там отец еще был с ними. Однако если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения угадывался в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке.

Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюдце? И вправду: утопленники открыли Алеше ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили неразгадываемой тайной смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, доброту и страдания которого Алексей сумел

оценить только тогда, когда родителя уже не стало, после чего, уверяясь, что идет непроторенною тропой и творит нечто доселе не виданное, сын принялся с изумительною точностью повторять череду множественных отцовских ошибок...

Повторив, кажется, все ошибки, Алексей мог делать достаточно достоверные предположения о своей будущности. Путь в эту будущность, по его представлению, начинался с той давнишней поездки в Анапу. Развалины старинной усадьбы, триумфальная арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для него с тех пор в высшей степени притягательными, а люди ушедших времен словно бы заключили с ним родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на «студебеккерах» — печать войны коснулась и его дней: легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема.

Обнаружив, что жизнь наша, сколько ни крутись, ни фантазируй, ни своеобразничай, легко умещается на пятачке раннего детства, он совершил благодатнейшее открытие, свет которого озарял с тех пор дни его и часы.

«Все — суета сует», — учит древняя мудрость. «Не надо дергаться», — говаривал примерно о том же Алешин отец, отродясь не читавший церковных книжек.

Три главных счастья



Пригласили освятить дом в Женеве. Теперь такое случается: множество наших соотечественников разлетелось по всей земле в поисках лучшей доли. Вот и сестра нашего диакона – врач – улетела в Швейцарию. Диакон давно уже уговаривал меня, а я все отказывался и, если выпадали свободные дни, отправлялся отдохнуть в деревню, но тут дал слабину.

– Знаю, – сказал диакон, – что заграница вам до лампочки, знаю, но Швейцария – это не абы что, это – сердце Европы. А самое главное – сестру поддержать надо: нашла она там себе классного жениха – врач тоже, он влюбился, начал разводиться с женой, и вот уже пять лет делят имущество и конца-края не видно... Адвокаты встречаются, ведут переговоры: то банковские проценты поменялись и чего-то там надо пересогласовать, то цена на недвижимость в одном месте возросла, в другом снизилась, и какое-то там несоответствие... Она ему, мол, брось ты все – по новой заработаем, а он не врубается: как так – это же мои деньги, мои дома! Короче, не русский человек – и все

тут. А время идет: то ей было двадцать пять, а теперь — тридцать... Можем и порыбачить: там ведь и озеро есть Женевское, и речка небось какая-нибудь...

Я попросил его избавить мой слух от «классного», «не врубается» и «до лампочки». Он обещал. Диакон по молодости горазд украшать свою речь словечками не самого высокого штиля, за что иногда и претерпевает от старшего духовенства. В воспитательных целях.

Прилетели. Два дня прошли в переездах: освящать пришлось и дома, и клинику, и машины. То Франция, то Швейцария, то снова Франция — там как-то все рядом, все перемешано... В каждом доме радушный обед, протокольные разговоры о ценах, калориях и холестерине... Нелепые судьбы, витиеватые жизни, иссыхающие русские души... И все оправдываются, сами себя убеждают в своей правоте. Одним недоставало понимания, другим — возможности развивать науку, третьим — жалованья.

Бывший университетский профессор объяснил свой переезд тем, что Россия кончилась. Правда, начал он с русской литературы. Сказал, что есть у него приятель — военный дипломат, полковник генштаба: человек образованный, неподкупный и даже верующий. Но случись сейчас кому-то писать «Войну и мир», Андрей Болконский с него не получится — лишь капитан Тушин, человек хоть и прекраснодушный, но простоватый, неутонченный, неаристократичный. А Болконских, Безуховых и Ростовых давно повыбили, истребили, их место заняли те, кого прежде и в курную избу не пустили бы, — местечковые куплетисты... Потому-то в русской литературе теперь одни мужики...

На третий день случился ваканс, и нам было предложено посетить дом-музей свободолюбивого

философа, могилу комика и памятник рок-музыканту.

Диакон не по возрасту тяжело вздохнул:

— Ни одного приличного человека... То ли дело у нас: приедешь в Белгород — святитель Иоасаф Белгородский, в Питер — отец Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, в Ярославле, Тобольске, Астрахани, я уж не говорю про Москву, — везде свои люди... Они меня понимают, знают мои грехи, сочувствуют мне, за меня молятся... А тут — даже в земле ни одного приличного человека нету... Что же из такой земли может произрасти?.. Конечно, Александр Васильевич Суворов — человек духовный, не вынес, чесанул прямиком через горы...

— За «чесанул», — говорю, — десять поклонов.

Он парень спортивный, быстро совершил десять земных поклонов, и мы предложили сестре другой план: пусть она отвезет нас в центр города и едет далее в свою клинику, а вечером созвонимся и встретимся.

И пошли мы, свободные люди, гулять по Женеве. В гражданском платье, конечно.

— Я же говорил: речка есть, — обрадовался диакон. — А вон на мосту мужик рыбу ловит, надо спросить его...

Подходим. Пожилой простецки одетый дядечка достает из воды свою снасть, озабоченно осматривает нетронутого червяка и задумывается: похоже, у него не клюет. Диакон спрашивает по-французски, какая здесь есть рыба и где есть магазин для рыболовов. Человек не понимает ни слова.

— У тебя, — говорю, — прононс, наверное, какой-то неправильный.

— У меня-то, — отвечает, — как раз самый правильный, я французскую спецшколу с серебряной медалью

окончил, а вот у швейцарцев, может быть, прононс и неправильный.

Пока мы переговариваемся, человек напряженно вслушивается. Я повторяю вопросы по-английски — он снова мотает головой.

— А у вас как с прононсом? — уязвляет меня отец диакон.

— Да какой там прононс, — говорю, — я уж не помню, когда и учился. Может, он по-немецки разговаривает... Ты какие-нибудь слова знаешь?

— Ну, фишер он и есть фишер...

— Кирхен, — говорю, — киндер, винтер...

— Короче, — сказал рыболову диакон, — где нам достать это и это? — и ткнул пальцем в грузило и в червяка.

Тот вдруг как затараторит на непонятном наречии и указывает рукою вдоль набережной, потом куда-то налево.

— Ты кто есть? — говорит диакон.

— Португал, — отвечает рыбак.

— Так бы сразу и сказал. Ну, по-португальски мы совсем не потянем...

— Подожди, — говорю, — он ведь вроде что-то порусски понимает.

Португалец кивнул, наморщил лоб и сказал:

— Мой жена — русский.

Диакон так возрадовался:

— Вот, сразу почувствовал, что он свой мужик: усатый, и фигура, как у духовного лица, расширяющаяся. Только вот словесностью не богат... У тебя давно жена русский?

— Один год.

— Тогда ничего, — согласился диакон, — для первоклашки неплохо... Ну ладно, португалец, привет супруге, мы пойдем в рыболовный магазин...

А португалец вдруг говорит, что ходить в магазин не надо: рыба, дескать, совсем не клюет, а ходить надо в маленький итальянский ресторан, где собираются его земляки и поют хорошие песни.

По дороге выяснили, кто чем занимается. Он еще пару лет назад работал в Португалии на фабрике стройматериалов, поставлял товары в Россию. Познакомился с русской женщиной, оба вышли на пенсию и поселились неподалеку от Женевы, поскольку у его родной фабрики здесь есть представительство и оттого случается значительная подработка. Еще обсудили Фатимское чудо, за ним — футбол, наконец рыбалку, которая то и дело не задается, потому как ветер всегда меняется, а давление неизменно падает. Дальше уж не знали, о чем говорить, но тут подоспел ресторанчик: тихий, уютный, и народу — почти никого.

Диакон пытался через португальца сделать заказ, даже ходил на кухню, чтобы выбрать блюда, а то названия все непонятные, и оскорбел:

— Дикая страна, — говорит, — нет ни водки, ни соленых огурцов, ни кислой капусты, а селедка — сладкая, хоть с чаем ее вместо варенья ешь... Куда мы попали?.. Причем водка в принципе есть, но — не сейчас, сейчас — только аперитив... Вечером можно, а сейчас нельзя... Надо просить разрешения у хозяина, а он неизвестно где... Да и водка дрянная — итальянская... Не понимаю: мы с вами — свободные, взрослые люди, честно отработали, хотим выпить по сто граммов водки... Ну, по сто пятьдесят... Не имеем права — днем не принято. И это называется «демократия»? Дикие люди! Придется глушить вино — выбирал португалец...

Потом собрался народ, и стали петь под гитару красивые португальские песни. Мы послушали-послушали, и диакон говорит:

— Благословите, батюшка, я чего-нибудь сбацаю.

— Благословляю, но за «сбацаю» десять поклонов после победы.

— Это как?

— Ну не здесь же тебе лоб разбивать, а по возвращении... Во время войны с летчиками так поступали: он натворит что-нибудь, а под арест его не посадишь — нужен в воздухе. Так и наказывали: пять там или десять суток ареста, но «после победы». И еще: без фокусов, никакого «папы над Тибром-рекой».

Последнее касалось известного нам обоим случая. Как-то наши собратья были направлены в Италию для совершения особо важного богослужения. После службы они вот так же зашли куда-то перекусить, и там устроилось песенное состязание с местными исполнителями. Отец протодиакон потряс всех мощью своего голоса: народ безудержно аплодировал, а одна старушенция разрыдалась. Ее утешать, а она в ответ, мол, тут даже папа Римский заплакал бы от восторга. И тогда отец протодиакон как заревет: «О чем, папа, плачешь?» И далее до конца. Хорошо, что никто из местных не понимал, — всем понравилось.

— Не будет папы, — неохотно пообещал диакон.

И как начал он петь наши песни, а голос у него чистый, красивый, португальцы расчувствовались и давай в благодарность вино присылать. Так что домой мы вернулись с двумя ящиками.

Вот, собственно, и все развлечение: с португальцами, в итальянском ресторане, на тихой швейцарской улице. Назавтра улетали. Диакон смотрел в окошко, и когда ярко-красные черепичные крыши Европы сменились под крылом унылым отечественным шифером, подвел итог путешествию:

— Погибла Россия или не погибла — одному Богу известно. А Европа с ее деньгами и обустроенностью — такая тухлятина! Никакой радости в этом нет...

— А в чем, — говорю, — есть?

И он, заработав попутно целую сотню поклонов, высказался в том смысле, что есть только три главных счастья: быть православным, жить в России и в России умереть.

— Но спасаться в сердце Европы легче, чем у нас, — неожиданно заключил он, — искушений меньше. Можете сказать об этом вашим друзьям в Троице-Сергиевой лавре.

— Почему легче? — не понял я.

— Вы видели там женщин?..

— Ну... наверное, — говорю.

— То-то и оно, что «наверное». А в Москве женщин видели?

— Конечно, — говорю, — видел.

— То-то и оно, что «конечно». Потому у нас спасаться труднее.

Фото Александра Неменова

Несокрушимая и легендарная



Ночью выпал снег, и автоматчики, садившиеся в кабину пилотов, сказали:

— Специально к вашему приезду: теперь сверху не то что человека — любой след видно, хоть заячий. Пороша...

Потом, в вертолете уже, худощавый полковник, стараясь перекричать вой турбин, втолковывал мне, что до сих пор все откладывал крещение, ждал, когда «созреет и осознает», а тут понял, что надо срочно, надо немедленно...

Ну, немедленно не получалось: мы — толпа военных и штатских — стояли в брюхе транспортного Ми-6, хватаясь друг за дружку на виражах.

Проплывали под нами предгорья с оставленными позициями: на каждой возвышенности — пулеметное гнездо, ходы сообщения. Потом появились батареи врытых в землю пушек и самоходных установок, наконец полковник, указывая вниз, прокричал:

— Урус-Мартан!

Сели на окраине, возле старого сада. Несколько человек вышли здесь, и вертолет отправился дальше.

— Жена мне сколько раз говорила: «Крестись! Крестись!» — продолжал полковник. — У нас и церковь-то рядом с домом. А я все как-то... «Ты, — говорит, — к примеру, Родине присягу принес? Народ тебя одевает, кормит, а ты выполняешь свой воинский долг перед ним. Крещение, — говорит, — присяга на верность Богу, и с этого момента ты уже не просто воин, а воин Христов...»

— Мудрая у вас жена.

— Да так-то она — самая обыкновенная, но касательно веры — откуда что и берется.

Нам было по пути, однако он торопился и убежал вперед. Я шел вдоль сада, забитого бронетехникой, вдруг меня окликнули:

— Отец, ты как здесь оказался?

Солнце поднялось над горами, светило прямо в глаза и не позволяло разглядеть лица воинов, сидевших высоко на броне.

— Оказия была, — говорю, — вот и оказался.

Прикрыл ладонью глаза и перешел в сторонку, чтобы увидеть их: один — лет тридцати пяти, другой — мальчишка.

— Отец, — сказал старший, — у тебя минутка есть?.. Я что хотел сказать: здесь быстро все понимаешь. — Он расстегнул ворот и показал крест, висевший рядом с жетоном.

Молодой следом за ним проделал то же самое.

— И еще, отец, — добавил старший, достав из внутреннего кармана сложенный вчетверо тетрадный листок. — Вот мой бронежилет.

Развернул: «Живый в помощи Вышняго...» — девяностый псалом, именуемый в народе «Живыми помочами». Я дал каждому по молитвослову, маленькому, в твердом переплете.

— То что надо, — сказал старший. — И в карман влезает, и не помнется. А у нас и подарить тебе нечего.

— У меня есть. — Младший тоже слазал во внутренний карман и протянул мне нарукавную нашивку воздушно-десантных войск.

— Для дембеля берег, — уважительно произнес старший, — хотел домой как положено, при всем параде явиться... Ну, ты уж напиши там на память батюшке...

И пока тот корябал что-то шариковой ручкой по нашивке, тихо объяснил:

— Я-то механик-водитель, контрактник, а он — пулеметчик, срочник... Сберечь бы мне его да мамке вернуть.

На память мне написали: «ОРБ» — Отдельный разведывательный батальон — и номер...

Потом в шатровой палатке я крестил троих солдат, полковника, у которого была мудрая жена, и другого полковника, про жену которого, да и про самого, я ничего не ведал. Тут на нашем участке началась работа: ударили пушки, реактивные установки... Вертолеты то и дело садились неподалеку от палаток и, пополнив боезапас, вновь отправлялись бомбить и обстреливать.

А когда мы пошли вокруг купели — таза, приставленного к буржуйке, наступила вдруг тишина: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа», — петь легко-легко... «Вот, — думаю, — чудеса: пушки, и те замолкли»... Крупнокалиберный пулемет, правда, отстукал несколько очередей, но это для того, наверное, чтобы из-за чудесного молчания артиллерии мне не впасть в прелесть — иначе говоря, в духовный самообман.

Влетает капитан с автоматом:

— Долго вас ждать-то?



Похоже, ему нужны были крестившиеся воины.

— Мы сходим за них, — сказал один из крестных — тоже солдат.

Капитан только теперь, кажется, начал понимать происходящее:

— Не надо, оставайтесь, — и вышел.

Он дождался нас возле палатки, сказал: «Теперь у меня — все крещеные», построил бойцов, и они ушли в сторону гор.

Опускались сумерки — пора было возвращаться.

Дорогой меня нагнал бронетранспортер, остановился:

— Батюшка, у вас нет крестика? — на броне сидел веселый парнишка.

— А что ты так смеешься-то?

— Да раненого сдавали... Крови много потерял, температура — на нуле. Доктор спрашивает: «Что у тебя?» А тот: «Лоб потрогаю, — говорит, — вроде покойник, пульс пощупаю — вроде живой, ничего не понимаю». Как уж мы носилки не выронили...

— А раненый-то жив?

— Куда он денется?.. Во!.. «Корова» летит — Ми-6, значит. Вам на него?

Я кивнул и передал ему пакетик с освященными крестиками:

— Дашь ребятам, кому понадобится...

— Вот за это спасибо преогромнейшее, но вы поспешайте, а то они ночью летать не любят... Как вообще впечатление-то?

— Да у меня, — говорю, — с детства и на всю жизнь одно впечатление: несокрушимая и легендарная...

— Да-а, — задумчиво протянул весельчак, — победить нас, пожалуй, нельзя... А вот предать можно...

Вертолет летел без света в салоне, без бортовых огней, слившись с темнотой ночи.

Равелин



Дом этот сохранился. И доныне пассажиры дальних поездов, непрестанно снующих в обе стороны, могут через окошки вагонов наблюдать диковинное сооружение, напоминающее собою мощный дот, которому дерзкий зодчий постарался придать черты классического европейского коттеджа.

Перед домом — а фасадом своим он обращен к железной дороге — один ряд тополей, ровесников дома, давно переросших его двухэтажную высоту. И более ничего рядом нет: ни строений, ни столбов с электричеством. Посему внимательный наблюдатель не может не удивиться и не задуматься: какая жизнь возможна в этом фортификационном сооружении, когда расположено оно в таком нежилом и даже пустынном месте?.. Прав будет внимательный наблюдатель: нет здесь никакой жизни.

Но она была. Было электричество, был колодец, баня, сарай, была дорога, переезд, шлагбаум, будка стрелочника, стрелка, ветка на торфоразработки, еще стрелка и тупичок... А в самом доме частенько собирались битые жизнью веселые люди, называвшие

дом равелином. И был у равелина хозяин: военлёт Ермаков, вдосталь налетавшийся над германской землей и после войны вознамерившийся построить дом наподобие немецких, но покрепче. Без проекта, так, по одному лишь творческому произволению, но этого оказалось достаточно.

Военлёт Ермаков, прозывавшийся для краткости Ермаком (при этом имя его за ненадобностью забылось), всегда был притягателен для меня. Вероятно, потому, что в жизни его воплотилось нечто, чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое: самолеты и охоту. Была, впрочем, еще одна часть, может, даже эпоха, длившаяся всего три дня, однако она существует особняком, потому что в ней — запредельное чудо. Что же до архитектурных изысканий героического военлёта, то они, при всей их несомненной художнической дерзости, на самостоятельную часть претендовать не могут, хотя и отражают некоторые черты этой оригинальной личности.

В кругах авиаторов Ермаков был человеком довольно известным. Некоторые военные историки как раз с его именем связывают случай, раскрывший неожиданные возможности штурмовика Ил-2. А дело было так. Возвращаясь с задания, новехонькие, только что поступившие на вооружение штурмовики попали под обстрел. Один из них получил значительные повреждения, отстал от своих и еле-еле тянул над лесной дорогой к линии фронта. Впереди показалась колонна пехоты противника, направлявшаяся на передовую. Боезапас был израсходован, и пилот, снизившись до двух с половиною метров, так и прошел над колонной… Когда он вернулся, обнаружилось, что в полк прибыла группа конструкторов, желавших узнать, как

показывает себя новый самолет в боевых условиях. Они уже расспросили других пилотов, вернувшихся раньше, и теперь набросились на изрешеченную машину, которую уже и не чаяли дождаться.

С пробоинами им все было понятно, но непонятно было, почему фюзеляж заляпан какими-то ошметками и отчего лопасти винта оказались наполовину обгрызенными. Летчик был вынужден доложить всю правду и, надо полагать, ожидал наказания, потому что обычно за правду бывает от начальства неуклонное наказание, но против ожидания и вопреки всякому смыслу на сей раз наказания не случилось: и генералы, и дядечки в черных штатских пальто молчали, и неведомо было, какие технологические соображения свершались в их конструкторских головах. Потом один спросил:

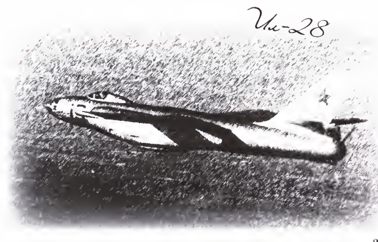
— И как же машина вела себя при этаких параметрах?

— Как утюг, — понуро отвечал летчик. И, похоже, в его ответе содержалась некая научная точность, потому что лица и генералов, и штатских вмиг просветлели.

— Да это еще что! — летчик воспрянул духом. — Мы тут, когда праздновали день рождения нашего комэска... — он собирался рассказать нечто еще более впечатляющее, но командир полка судорожно перевел разговор на другую тему.

Теперь, конечно, достоверно не установишь, Ермаков ли воевал таким образом или не Ермаков. А может, и Ермаков, и кто-то другой, и третий... Но воевал он много и довоевался до Золотой Звезды.

После войны он освоил другой редкостно замечательный самолет — Ил-28, на котором возросло множество военных и гражданских летчиков. Самолет



был послушен и прост в управлении, как трактор, однако судьба его оказалась печальной: все машины были изведены во время разоружения, затеянного Никитой Хрущевым — первым в череде безблагодатных правителей, не умевших вместить в себя ни географию России, ни ее историю. Ермаков служил летчиком-инструктором, пока не исчезли «двадцать восьмые», потом вышел в отставку и впредь уже занимался только охотой.

Собственно, в основном для охоты и строился равелин. Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи угодья. Писатель Пришвин, знавший, как известно, в охоте толк, наведывался в те края и, по слухам, не раз останавливался в равелине. Надо сказать, что настоящими охотниками в тогдашние времена почитали лишь избранных, то есть тех, для кого охота — неодолимая страсть вроде любовной, а может, и посильнее, словом, — пуще

неволи. Были еще «мясники», гонявшиеся за мясом, обычно за лосем, и, наконец, промысловики, профессионально занимавшиеся добыванием пушного зверя. Если к «пушнякам» настоящие охотники относились хоть и без восторга, но с уважением, то «мясников» откровенно презирали: охота — праздник страсти, а страсть всегда расточительна... Какие уж тут могут быть поиски выгоды? И «мясник» ни при какой погоде не мог попасть в компанию к любителям вальдшнепиной тяги или, скажем, к гончатникам. То есть путь в приличное общество был ему навсегда заказан. Ермаков, понятное дело, принадлежал к числу охотников настоящих, потому-то и построил свой равелин в этом месте: утиная охота — дело азартное, только успевай мазать да перезаряжать. Общество ему составляли самые разные люди, но главных приятелей было двое: друг детства, ставший известным писателем, и дальний родственник, вышедший в большие железнодорожные начальники. Без этого родственника, кстати, равелин бы и не построился — поди-ка завези в этакую глушь цемент, кирпичи, доски... А ему все это было легко — он и на охоту ездил в отдельном вагоне: в Москве вагон подцепляли к скорому поезду, на ближайшей к равелину станции отцепляли, и далее паровозик-кукушка доставлял вагон в тупичок.

Построив равелин, Ермаков стал пропадать в нем сначала неделями, а потом, по мере ухудшения отношений с женой, и месяцами. Жена приезжала «на дачу» только однажды и сразу же возненавидела и тянувшуюся до самого горизонта сырую низину, столь милую сердцу Ермакова, и сам дом, который, при всей своей наружной замысловатости, был внутри необыкновенно уютен. Думается, однако,

что причиною оказался не унылый пейзаж и не мрачность равелина, а то, что в отношениях этих людей доброжелательность стала сменяться неприязненностью.

Отчего уж так дело складывалось — не знаю, знаю только, что жена Ермакова была мало того что красивой, она была — величественной женщиной. Хотя я видел ее только весьма пожилой, когда о прежней ее красоте оставалось только догадываться, величественность сохранялась в походке, осанке, в манере садиться, в повороте головы — в каждом движении...

Познакомились они после войны, быстро расписались, а потом все пошло как-то нескладно, не так... Была у нее дочь от первого брака, заводить второго ребенка она не хотела, и, прожив вместе лет десять, супруги незаметно для себя разбрелись. Даже не разводились, просто Ермаков в конце концов перебрался в равелин на постоянное жительство. Сначала он помогал им деньгами, но потом дочь ее удачно вышла замуж и необходимость в Ермакове совсем отпала.

И вот тут началась у него такая жизнь, какую и самое мечтательное воображение придумать не сможет: он охотился едва ли не круглый год. Скажем, десятидневный весенний сезон растягивался у него на четыре месяца: начинал он в марте на Сальских озерах, потом перемещался в залитые половодьем заволжские степи, где сезон открывался чуть позже, потом в Мещеру, из Мещеры — в свой равелин... Затем ехал в Костромскую область на тетеревиные тока, оттуда — в Вологодскую за глухарями... А заканчивал где-нибудь на Ямале, где охота открывалась в июне.

Конечно, никакой пенсии на такие путешествия не хватило бы, но Ермаков воспитал столько пилотов, что во всяком месте непременно обнаруживал

кого-то знакомого, а кроме того, любой профессионал сразу чувствовал в нем матерого, и потому всюду, куда только летали самолеты или вертолеты, Ермакова доставляли бесплатно. Интересно, что добытую дичь он почти никогда не ел — отдавал тем, у кого останавливался, мог даже приготовить, и очень неплохо. Каких-либо кулинарных предубеждений у него не было, просто он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты, а уж дичью пусть побалуются другие. Сам же потреблял хлеб и консервы. Хирург, который впоследствии делал ему операцию, очень ругал Ермакова, мол, эти дрянные консервы его и погубили. Но Ермаков только посмеивался в ответ: ему было жалко доктора, который ничем не мог помочь, и хотелось как-то утешить его...

Узнав, что Ермаков смертельно болен, жена, с которой они не виделись двадцать лет с лишком, забрала его из больницы и ухаживала за ним. С полным, впрочем, равнодушием. Собственно, никакого особого ухода он и не требовал: есть не мог вовсе, принимал иногда обезболивающую таблетку да запивал ее глоточком воды. И так, претерпевая мучительные боли, Ермаков умирал.

Если о предыдущих событиях я знал в основном от охотников, то о чуде последних дней его мне рассказывал знакомый священник, а кое-что довелось свидетельствовать и лично.

Однажды, зайдя к нему в комнату, жена обнаружила его сидящим на кровати. Это поразило ее, так как у больного давно уже не оставалось сил, чтобы подняться. Но еще более поразили ее глаза Ермакова: они сияли тихим радостным светом. Да и весь вид его был каким-то новым, неожиданным, просветленным: небритый и нечесаный доходяга превратился вдруг

в седобородого старца с ясным взором. Впоследствии, рассказывая об этом, она говорила «преобразился», — и вспоминала сказку о гадком утенке.

Твердым голосом, исполненным силы и спокойствия, он сообщил, что через три дня умрет, и попросил пригласить для исповеди священника.

— Так ты, поди, и некрещеный, — возразила жена. — Ты ж сам говорил, что не знаешь, крестили тебя или нет.

— Крещеный, — улыбнулся Ермаков. — Теперь точно знаю: крещеный.

— Откуда ж ты все это взял?

— Господь открыл, — сказал Ермаков.

Она махнула на него рукой.

Явился священник. Пробыл у больного с полчаса и вышел в состоянии блаженной задумчивости. Следом за ним вдруг вышел и причастившийся Ермаков: попросил накрыть на стол и принести водки. Супруга вопросительно посмотрела на батюшку.

— А чего? — пожал он плечами. — Можно.

И они вполне по-праздничному посидели за столом, и Ермаков выпил целых три рюмки водки. Настроение у него было возвышенное и радостное — он сам говорил, что никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым.

— Да ты чему радуешься? — испуганно недоумевала жена. — Тут хоть у тебя этот каземат есть...

— Равелин, — улыбнулся он. — В равелине хорошо, но и он — временный. А там, — Ермаков указал взглядом сквозь потолок, — вечный...

Он рассуждал непривычно, и женщина совсем не понимала его.

Ермаков прожил отпущенные ему три дня в счастливом состоянии духа и совершенно неболезненно.

Тот же батюшка, пришедший без всякого дополнительного приглашения, но в заранее оговоренное время, прочитал отходную, а когда Ермаков умер, поведал, что Ермакову являлся Господь, открыл ему время кончины и велел исповедаться и причаститься. Причем, по словам священника, ему за его многолетнюю практику еще не доводилось слышать такой полной и искренней исповеди.

— За что же ему такие чудеса? — неприязненно поинтересовалась супруга.

Батюшка сурово посмотрел на нее, словно хотел высказать нечто нелицеприятное, но сдержался и лишь холодно промолвил, что пути Господни неисповедимы.

Я присутствовал при сем в качестве пономаря — разжигал угольки в кадильнице, и, когда мы вышли из дома, тоже, признаться, не сдержал любопытства. Однако и мне священник отвечал точно так же, добавляя разве, что и год жизни с такою бабою можно приравнять к мученическому подвигу... Так что тайна чуда осталась в неприкосновенности.

Похороны были бедными. Большинство приятелей Ермакова давно уже оставили этот мир, а если кто и жив был, так жена ермаковская никого из них не знала и никому ничего сообщить не могла. Присутствовали только дочь с мужем да еще какие-то родственники. Проводив Ермакова на кладбище, священник ехать на поминки отказался и денег за отпевание не взял.

Ужин у архиерея



Поезд прибыл на станцию еще затемно. Машина ждала меня, и все были в сборе: Васильич, Краузе и старик с сыном-доктором. Только я забрался в кунг, сразу поехали. Шум двигателя мешал общему разговору — приходилось сильно напрягать голос, и потому, покричав для обсуждения планов, мы затихли.

Трясясь в холодной металлической будке, я подремывал и вспоминал подробности странного визита, который мне довелось совершить двумя днями раньше. Вспоминалось, конечно, отрывками и без всякого последовательного порядка. А если с последовательным порядком, то получалось вот что.

Примерно в тысяче верст от Москвы, в краю сыром и холодном, был у меня ветхий домишко, куда я с друзьями наведывался иногда на охоту. Однажды у местных жителей всколыхнулось неудержимое желание восстановить храм, который они уродовали с полстолетия, но так и не одолели. Мне выпала душеполезная участь помогать им в добром занятии. Я и помогал: составлял письма, прошения, заявления,

вместе с председателями колхоза и сельсовета ездил в областной город, познакомился с архиереем, родившимся еще при самодержавной монархии... И вот, в Москве уже, получаю от архиерея телеграмму с приглашением срочно прибыть в гости. Приезжаю, нахожу «резиденцию» — деревянный дом на окраине, запущенностью своею напоминающий старые подмосковные дачи...

Ужинали в гостиной, где все было хотя и разностильно, однако в духе старых времен, казавшихся устойчивыми: и мебель, и картины, и столовые приборы, и колокольчик под властной рукой... Когда пришла пора подавать чай, архиерей позвонил в колокольчик. Ничего за этим не последовало. Он позвонил еще раз. И еще раз не последовало ничего. Тогда он с едва сдерживаемым раздражением позвал повариху:

— Татьяна Михайловна! — и опять без всяких последствий.

— Татьяна Михайловна! — гневно прокричал он, со стыдливою досадою косясь на меня.

Шаркая шлепанцами, из соседственной с нами кухни пришла повариха — коренастая женщина лет пятидесяти пяти.

— Ну, чего еще? — лениво спросила она, приваливаясь к косяку и выражая всем своим видом высокомерное терпение.

— Так чаю же! — растерянно произнес архиерей.

— Щас, — оттолкнулась задом от косяка, неспешно вышла и принесла две чашки чая.

Владыка рассказывал мне о своем детстве, о том, как впервые пришел в храм, как на него, шестилетнего, возложил стихарь священнослужитель, причисленный теперь к лику новомучеников. Рассказывал, как влюбился в учительницу немецкого, как

в двадцатые годы, юношей еще, был арестован за веру. Как, оказавшись в камере среди священников, диаконов и прочих страдальцев Христовых, извлек из кармана Евангелие на немецком языке, завалился на верхние нары и не без хвастовства, демонстративно раскрыл книгу. Подошел старый ксендз и на чистейшем немецком жестко выговорил:

— Эту книгу, молодой человек, можно читать только стоя.

— Или на коленях, — добавил к месту, но уже по-русски батюшка, лежавший ближе к окну: ему, похоже, недоставало воздуха. Ночью с ним случился сердечный приступ, и его унесли навсегда.

— Так мне был преподан урок благоговения, — сказал архиерей, — а без благоговения в Церкви делать нечего. Запомните это! — и тихо повторил: — Без благоговения — нечего...

И еще попросил представить, что у меня в руках банка с муравьями:

— Ну, скажем, стеклянная пол-литровая, а в ней — пригоршня муравьев. И вот ползают они там друг по дружке: на лапки наступают, на головы, на усы... Больно им, и нехорошо это, но так уж оно устроилось, в этой банке. И вдруг какой-то муравьишка поднимается по стеклышку, поднимается... Упадет и опять поднимается. Наконец подползает к вашему пальцу и, почувствовав тепло, в благоговении замирает... И не хочет никуда уходить и остается возле вашего пальца, забыв и про братьев своих — муравьев, и про еду, и про воду. И вы уж, конечно, постараетесь о нем позаботиться... А другой — подползет к пальцу да и укусит. Вы по доброте душевной его аккуратненько вниз спихнете, а он — опять за свое, опять кусаться. Ну, может, и еще разок сбросите, а уж на третий раз

от него, пожалуй, и мокрого места не останется... Примерно так, — старик улыбнулся, — и на нас сверху посматривают, и из первых получаются праведники, а участь вторых — богоборцев — всегда прискорбна...

Между тем небо за окнами нашей железной будки начинало светлеть. Пора было бы сворачивать с трассы, однако грузовик, не снижая скорости, все катил и катил на юг.

Я вспомнил еще, как за чаем архиерей, явно смущенный неделикатностью своей поварихи, пожаловался на бабок — так по церковной терминологии именуют не всяких старух вообще, а лишь тех, которые занимаются в храмах уборкой и разной подсобной деятельностью:

— Сколько служу, столько и страдаю от них! Выйду в соборе с проповедью — так какая-нибудь старуха в черном халате тут же приползает протирать подсвечники перед самым моим носом... А как мучаются из-за них прихожане, особенно из новообращенных, да особенно женщины!.. Если уж молодая и красивая — набросятся, как воронье: то им не нравится, как свечку передаешь, то — не так крестишься, то еще чего: шипят, шамкают — только и слышно в храме: шу-шу-шу, шу-шу-шу... Сколько я бранился на них! Сколько раз прямо в проповедях взывал к ним! Без толку... Но как подумаешь, из кого они вырастают?.. Из таких же молодых и красивых... Не выдерживают бабешечки приближения к небесам...

Допили чай. Вздохнув, он закончил рассуждение совершенно неожиданным выводом:

— Две беды у Русской Церкви: бабки и архиереи. О последнем умолчу...

Машина наконец замедлила ход и остановилась. Водитель открыл дверь кунга и попросил глянуть — не

здесь ли сворачивать. Мы спустились по откидной лесенке на асфальт. Было серое утро. Там, откуда мы приехали, даль терялась в почти ночном еще сумраке, но впереди уже явственно брезжил рассвет, и дорога прямой чертою соединяла нас с ним. Легкая поземка переметала через темнеющее полотно снежную пыль. Далеко впереди три лося не спеша пересекали дорогу. Они направлялись как раз туда, куда следовали и мы.

А потом был долгий суетный день. Мы кого-то окружали в дубовых лесах, кого-то загоняли, перебираясь через занесенные снегом овраги, но так ни разу и не выстрелили. Ночевали на пасеке. У нас был ключ от летнего домика пасечника, и шофер, пока мы бегали по сугробам, натопил печку и приготовил еду. Велись всякие разговоры, я между прочим рассказал и о поездке к архиерею. Васильич, который в ту пору был мало-мальски воцерковленным человеком, заинтересовался:

— Ну а после бабок о чем говорили?

— Ни о чем. Распрощались, и я пошел на вокзал. Так вот и съездил: ночь туда, ночь обратно, чтобы послушать, как старичок когда-то влюблялся в учительницу, а о восстановлении храма — ни слова...

Большинство охотников согласились, что это полная глупость, но Васильич сощурился и загадочно произнес:

— Тут все непросто... Не-эт! Архиереи — такой народ, что у них ничего так просто не бывает! Помяните мое слово...

Никто не возражал: у Краузе не было достаточно четкого представления об архиереях, для доктора все люди были одинаковы — все болеют, а его отец уже спал, сморенный дневным утомлением и вечерним застольем.

На другой день все началось сызнова и проходило так же бестолково. А уж когда ехали домой, то и вовсе заблудились в степи. Наш давешний след поземка позамела, и охотники стали ориентироваться по памяти. Мы плутали-плутали, проваливались, выталкивали машину, наконец заползли в какой-то сад — наверное, яблоневый. Товарищам моим этот сад показался знакомым по прежним охотам. Решительно двинулись в нужную сторону, но вскоре замерли: перед нами лежала обширнейшая и очень глубокая балка, занесенная снегом...

Разглядев в сгущающихся сумерках высоковольтку, Краузе определил стороны света — он почему-то знал, откуда и куда идет эта линия.

— До Волги — километров тридцать, — уверенно сказал Краузе, — там вдоль берега есть дорога.

— Но мы не доберемся, — робко возразил шофер, — такие овраги...

— Не доберемся, — с прежней уверенностью подтвердил Краузе.

Они долго еще совещались, наконец Васильич надумал:

— Вот кто нас выведет, — и указал на меня.

Мы приняли это за шутку.

— Говори, куда ехать! — пристал Васильич.

— Да ладно тебе...

— Говори, говори!

— Ну откуда ж мне знать?

— Да хоть и не знаешь — садись в кабину и говори.

Охотники, повздыхав и покачав головами, забрались в кунг.

— Он что, перебрал вчера? — спросил я шофера.

— Да он вроде почти и не пил... Так куда ехать-то?

— Да что вы все, с ума посходили?.. Я ведь тут в первый раз... Давай, разворачивайся и по своему следу...

Мы снова ползли, вязли в снегу, буксовали, выталкивали... И вдруг увидели два силуэта. Водитель взял напрямик: через несколько минут подъехали к охотникам-зайчатникам, а уж они указали дорогу. Обнаружилось, что мы забрались в соседнюю область, но насчет высоковольтки и расстояния до Волги Краузе, между прочим, оказался прав.

Расставаясь, договорились продолжить начатое занятие через неделю. Я оставил ружье, патроны, теплую одежду и отправился в Москву налегке.

Дома меня ждала еще одна телеграмма от архиерея. Ну, думаю, может, теперь дело дойдет до восстановления храма. Поехал...

Долго потом не мог я понять, отчего с такой резкостью запечатлелась в памяти простая эта картинка: серое зимнее утро, прямая асфальтовая черта, лоси, поземка, обволакивающая сапоги снежной пылью, и мы стоим рядом: Васильич, Краузе, доктор, его отец и я — все еще живы, все еще крепкие и все вместе еще... Лишь спустя годы выяснилось, что именно в эту минуту архиереем было принято решение, о котором из всех нас догадывался один лишь Васильич.

За ружьем и теплой одеждой я попал к старому другу только весной.

— Я ж говорил, что у архиереев ничего так просто не бывает, а вы, разгильдяи, не верили. Потому и в кабину тебя посадил — думаю: если уж ты уготован для рукоположения, то... — он указал пальцем в небо, — будешь выведен, а заодно с тобою и мы. Вот так-то, отец диакон, а ты еще обижался...

Любовь к авиации



В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять — военный летчик. В храме — с утра до вечера: не то чтобы очень уж богомольным был, скорее наоборот, просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось, вот и заходил каждый день от скуки.

Однажды после утреннего богослужения он и говорит: мол, встретил вчера знакомого подполковника — тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая и от заторов, бывало, поворачивала даже вспять, вот и повадились предварять стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов, и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Ну, батюшке этому и тридцати не было, так что он — по молодости, а я — от непреодоленного пристрастия к авиации.

Вышли из храма и по тропочке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снегу

было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнажилась, так что, пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитому водою. И вот бредем, бредем так за летчиком, и стало одолевать меня сомнение, а сомнение, известное дело, первый враг веры.

— А полетят ли сегодня? — спрашиваю. — Уж больно погода неважная.

— Полетят, — твердо отвечает наш проводник, — хотя, конечно, туман и облачность — ниже предела.

— Как же тогда лететь? — недоумевает батюшка.

— Ребята грамотные — им погода без разницы.

— А ты-то откуда их знаешь? — снова удивляется батюшка.

— Да их комполка в Германии комэском был, вместе летали.

— Чего-о?

— Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт. А перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все что можно: радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки — на запчасти...

— Как же вы летели? — настал и мой черед удивляться.

— Ночью, — просто отвечал летчик. — Идешь без огней, без рации, города внизу освещены — по ним ориентируешься... Германию проходишь, Польшу проходишь, тут уже малость светать начинает, курс — на солнышко... Подлетаешь к большому городу — там две девятиэтажные башни: между ними снижаешься — и как раз посадочная полоса... Потом отгонишь машину в сторонку, к лесочку, — аэродром все ж гражданский, — переоденешься и через

дырку в заборе прямиком на вокзал, обратный билет брать.

— Сурово, — оценил батюшка.

— А куда денешься? Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне. Вот и приходилось...

Между тем все мы уже промочили обувь, а у нас с батюшкой еще и рясы намокли и затяжелели, однако проводник неутомимо шагал по воде.

— Далеко еще? — поинтересовался батюшка.

— До поворота, — отвечал летчик. — Надо прибавить — время поджимает.

Прибавили, сколько могли. На ходу я пытался еще расспросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал и всякий ответ заканчивал соображением о Фултонской речи Черчилля — видно, замполит был силен непомерно.

— Может, хватит? — батюшка совсем запыхался.

— До поворота, — повторил летчик, — бомбить будут там.

— Так ты нас что — вместо мишеней?

Ответа не последовало: летчик замер и указал пальцем в небо.

— Пошли, — прошептал он.

Мы ничего не слышали.

— Первый взлетел... второй взлетел... удаляются... разворачиваются... идут сюда...

Страшенный вой пронесся над нами в тумане и облаках, потом где-то впереди громыхнуло.

— Отбомбились... уходят... разворачиваются вправо... первый сел... второй сел...

К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец настоятель, увидев



Фултонская речь Черчилля

вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности:

— Что случилось?

Мы объяснили.

— Ну ладно, — настоятель кивнул на батюшку, — этот — молодой, но вы-то, отец диакон?..

— Виноват, — говорю, — у меня к авиации любовь с детства.

— Ну, расскажите хоть, как там оно было?

— Да мы ничего и не видели, — махнул рукой батюшка, — туман, облачность, Фултонская речь Черчилля... — и пошел в каптерку переодеваться.

— При чем тут Черчилль? — не понял отец настоятель.

— Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне, — объяснил я.

— У вас у обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего? Или — зря маялись?

— По-моему, — говорю, — классно! Прошли на бреющем — прямо над головой, — и ка-ак шарахнут! А что вы, отец настоятель, так заинтересовались?

— Да у меня, — смутился он, — вроде как тоже любовь. Неразделенная... Я их даже и повидать за всю жизнь никак не могу: только в кино или по телевизору...

Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал: «Тсс!» — и снова замер, как днем на реке:

— Первый взлетел... второй взлетел...

Издалека донесся приглушенный рокот.

— Брешешь ты все, — усмехнулся молодой священник, — ничегошеньки не слыхать.

— А вот и слыхать! — возразил настоятель. — Как вам, отец диакон?

Я кивнул. Мы стояли прислушиваясь. Вокруг, озаряя по-весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. Здесь так принято: приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление — пробивают кулаком по локоть — и на дно ставят свечку: она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло.

— Разворачиваются влево... уходят...

— Так они что же, — спросил отец настоятель, — больше не прилетят?

— Могут, если понадобится, — отвечал летчик.

— Ну, ты узнаешь тогда?

— Конечно, какой разговор? Это ж свои ребята — в Германии вместе служили.

— В грех зависти с тобой впадешь, — вздохнул настоятель. — Летаешь...

— Чего тут завидовать? Просто с детства любил самолеты: ходил в авиамодельный кружок...

— Да и я ходил, и отец диакон тоже небось, а что толку?

— ...Потом в аэроклуб, потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию... Дело в том, что Фултонская речь Черчилля...

— Стоп, — тихо, но с угрозою в голосе сказал настоятель, — на сегодня достаточно, расходимся по домам. Всем — Ангела Хранителя и спокойной ночи.

Печное дело



Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять: пол был щелястый и холодный, рамы — гнилые, стекла — потрескавшиеся, но самое главное — разваливалась печка, старинная, глинобитная.

Существовала некогда несложная технология: из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень.

Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет двенадцать, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность: каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежею глиною, но она держалась недолго: высыхая, отслаивалась от стенок,

и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовое творение и купить в колхозе огромное количество кирпича, — на том и порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: «Да-а, у пьяненьких мужичков здесь поспа-ато...» Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из «цельных плах, да не пиленых, а колотых: брали кряж, надсекали с торца и начинали в трещину забивать клинья, пока бревно не лопалось».

Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и вымыл запылившуюся комнату. На это ушло три дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекурить и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины, — я и это исполнил, затратив еще два дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал:

— Зятю надо фундамент до холодов положить...

— А после фундамента?

— Можно. Весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь.

Переживать мне некогда было: ладно, думаю, человек он некрещеный — какой с него спрос?

Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, обитавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал, уговаривал, он, как знающий

себе цену мастер, отказывался, но в конце концов согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах и теплопроводности, заявил, что крещеный, но Бог у него в душе, — по этим словам безошибочно определяется закоснелый безбожник, — и лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню.

Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна была покоиться самая лучшая в районе печь, подводил под края этой площадки шесть кирпичных столбов — заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой: заглянув в подпол, он определил, что шести столбов маловато, надо бы — девять. После его отъезда я скорехонько — наловчился уже — соорудил еще три столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока.

Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось, начались дожди, ветра, ночные заморозки, спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал.

В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была трех сортов: из ближнего оврага, из дальнего и — размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью:

— Не нравится.

— Да отчего ж не нравится, когда у нас ею все пользуются?

— А, у вас всегда плохая глина была!

— Шестьсот лет всех устраивала — из нее за это время, поди, не одну тыщу печей сложили... Да и собор, самый большой на всю округу, из этой же глины — кирпичи ведь прямо здесь и пекли...

— Я с этой глиной работать не буду.

— Так где ж взять хорошей?

Он назвал место неподалеку от районного центра. Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на тысячи, а погребенных — на сотни, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя.

— Оттуда мне не привезти.

— Ну а эта не подойдет: не нравится мне ее консистенция — не люблю я с таким материалом работать, — сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал.

И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку: надобно было сразу начать молиться за мастера, да не просто, а усиленно, или, как мы говорим, сугубо, но я совершенно забыл про несчастного, тем более что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодной избы.

И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла... Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи: глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плите в кастрюлях и ведрах...

Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы,

быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться: он строил обыкновенную русскую печь, а я — неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои — а колхоз собрал мне все остатки со складов — разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказывалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент: «Это, наверное, работа...» — и называлась фамилия печной знаменитости.

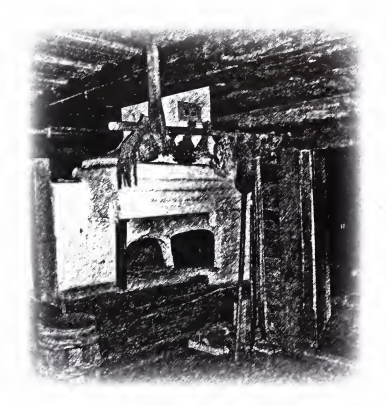
Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом, а то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей «потолок». Потом выяснилось, что «потолок» получился неправильный: у правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний — одинокий «замковый» — должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось двенадцать, то есть «замковых» или вовсе не было, или выходило по два.

— Так не бывает, — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.

С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в Дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает:

— Дети, знаете, кто к нам пришел?

— Дед Моро-оз! — грянули они как по команде.



После утренника сталкиваюсь на улице с печником: согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня, он тяжело заболел: воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения — так до сих пор выкарабкаться и не может...

— Старуха моя сильно ругалась! «Что ж ты, — говорит, — дурень, сделал? Шестьдесят лет, — говорит, — у нас священника не было, наконец появился, а ты его выгнать надумал? Да за это, — говорит, — такое наказание может быть...» Вот, руки скрючило: ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу... Велела

прощения попросить: без этого, говорит, никакой мне надежды не будет... Так что вы уж...

Тут-то я и понял свою вину: надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу.

Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал.

— А какой, — поинтересовался, — системы, какой конструкции?

— Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция: без шапки можно спать, вот и вся система... Да в своде еще по двенадцать кирпичей уложилось...

— Так не бывает, — говорит.

— Да я и сам знаю, что не бывает, только куда уж теперь от этого денешься?

Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь, и даже соглашался на нашу глину.

— Теперь, пожалуй, и оклемаешься, если и сам будешь молиться, конечно.

— Придется, наверное. Старуха тоже вот... заставляет.

К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь.

— Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести — ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию?

— А эта что — не специфическая?

— И кирпичей в своде действительно по двенадцать.

— Виноват, — говорю.

— Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал: уж больно толстые стены, — то есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности... А что это за лежанка? И почему две чугунные плитки? Ну, спереди — это понятно, а сзади-то зачем?

Объясняю, что сначала, как положено, установил плитку спереди, в устье печи, но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда, для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней — вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и Барсику она очень нравится: зимою, как только с драки придет, — и на лежанку, окровавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А тут сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается — представляет морду для обозрения: переносица исполосована, над бровью клочка шерсти недостает, одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего не осталось. Наконец осторожно открывает один испуганный глаз — этот на месте, другой — тоже цел. «Все в порядке, — говорю, — молодец!» Он вмиг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери: стало быть, еще не последний раунд сегодня...

Мастер сосредоточенно попримолк: вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ.

— Вы бы не напрягались, — говорю. — Меня эта печь вполне устраивает.

Он улыбнулся.

Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз — с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

Строители



Поначалу богослужения совершались в маленькой комнатке бывшего швейного ателье. Колхоз надумал было заключить с нами договор об аренде этого помещеньица, а мы в ответ — договор об аренде собора, в котором с тридцатых годов колхоз размещал то гаражи, то мастерские и до того наразмещался, что довел грандиозное кирпичное сооружение до мученической погибели. И тогда правление колхоза усовестилось и решило построить рядом с останками собора новый храм — хоть небольшой, деревянный, но вполне всамделишный.

Председатель принес старенький «Огонек» с репродукцией картины «Над вечным покоем» и сказал: «Во! Такого хочу!» Пригласили бригаду плотников и начали строить. Бригада эта состояла из закарпатцев, которые в прежние времена наезжали сюда возводить скотные дворы и зерносушилки и завистливо именовались шабашниками, но потом обзавелись семьями и превратились в обыкновенных людей. Избраны они были для столь ответственного предприятия лишь потому, что обладали единственным

на всю округу церковным календарем, привезенным с далекой родины.

Однако вскоре обнаружилось, что под воздействием наших холодов и промозглой сырости закарпатская воцерковленность получила совершенно неожиданное преломление: они частенько попивали, и все-то в честь именин. Откроют календарь: вот, дескать, у Александра именины, вот — у Бориса, вот — у Феодора. А разных Феодоров в святцах — немало... Я пытался выяснить, когда кто родился, когда крестили, чтобы утвердить законные дни тезоименитства, но тут они начинали доказывать, что у них, настоящих православных людей, так принято, потом переставали меня понимать и наконец вовсе переходили на украиньску мову. Тем не менее работа мало-помалу шла и, возможно, дошла бы до положенного завершения, когда б к бригаде не присоединился еще один земляк — Ваня. Разом добавив в плотный праздничный график великое множество именин, он нанес смертельный удар по строительству, и оно прекратилось. После чего вся бригада, прихватив столь любезный их плотницким сердцам календарь, отправилась искать счастья в других палестинах.

Впрочем, до своего исчезновения они еще предложили мне построить баньку из бруса и востребовали за работу сорок бутылок водки. Было это в суровые дни противоалкогольных гонений, когда продавали по две бутылки в месяц, и дело, стало быть, откладывалось на двадцать месяцев. Мог, правда, получить и сразу, но лишь на собственные поминки — тут разрешалось как раз два ящика. Но в таком случае непонятно, зачем и баня нужна.

Через месячишко они снова объявились с готовностью сбросить цену. Я показал им готовую баньку.

— За сколько? — поинтересовались они.

— За бутылку.

— Шо ж за дурень на то согласился?

— Да это я сам, — говорю. — Сложил, а потом с соседом обмыли.

Они сочли, что я сильно продешевил...

А церковь достраивали колхозные плотники. Работали добросовестно: и переплетцы оконные малыми квадратиками собрали — как в старину, и царские врата по мере своей фантазии фигурно вырезали. Это ощущение важности церковного дела унаследовали они не иначе как от деда-диакона. Но и от отца, разорявшего храм, тоже кое-что перепало: пока шло строительство, мастеровые и выпивали в алтаре, и курили, и в карты поигрывали. Какое-то время кощунственность эта обходилась без происшествий. Ради заслуг деда-диакона, наверное. Потом к плотникам присоединился электрик, у которого неблагоговейности тоже было — пруд пруди, и произошло недоразумение.

Стали электричество подключать. Залез монтер на верхушку столба и пробует на ощупь, в каких проводах есть ток, а в каких нету. И вот найдет нужное и орет: «Фаза!» И всякий раз прилагает что-нибудь непотребное. Я предупредил его, что ругаться не следовало бы. А он в ответ: мол, это все... вроде как ерунда, и ничего он не боится, потому что с этими фазами давно знаком. И тут — то ли ремень на монтерской «кошке» развязался, то ли фаза какая-то незнакомая попалась, но светоносец вдруг опрокинулся вниз головою и неудобно повис на одной ноге. Пока бегали за стремянкой, нога выдернулась из ботинка и бедолага нырнул прямиком в землю. Обошлось без переломов. Забравшись снова, он более уже не сквернословил и с фазами разобрался на удивление легко — действительно по-приятельски.

Подошла пора восстанавливать еще один храм — каменный, находившийся в семидесяти километрах от моей деревни. Местные власти предложили опытного хозяйственника, который всю жизнь что-то строил в наших краях. Он развернулся быстро: сразу же у него завелись деньги, появился лес, кирпич, цемент, шифер. Строительные материалы исчезали, обретались вновь и вновь исчезали. Машины с колхозным мясом шли в далекий северный город, где бригада сварщиков бросала на стапелях недостроенную подводную лодку, чтобы выполнить срочный заказ нашего хозяйственника... Лес — напротив — отправлял он в южный город и радостно сообщал мне, что взамен высылают электроавтобус:

— Никакого бензина не надо: зарядил от сети — и катайся. Да еще и гармонь обещают в придачу.

Похоже, это был длинный троллейбус с «гармошкой»...

Год проходил за годом, а в храме ничего не менялось.

— Пока я строю — я живу! — пел хозяйственник.

— И очень неплохо, — свидетельствовали прихожане.

Выгнать его было трудно — местная власть, имевшая здесь корыстный интерес, препятствовала, но в конце концов дело разрешилось благополучно. Впрочем, после моего отъезда его допустили к восстановлению еще одного храма: крест на купол он водрузил в точности задом наперед, но приобрел новую автомашину...

В соседнем районе своего священника не было, и мне иногда случалось касаться соседских забот. Там за восстановление деревянной церкви взялись учителя сельской школы во главе с молодым директором.

К сожалению, в их компании отчего-то не оказалось преподавателя физики: мастера сняли медные ленты, непонятно зачем проложенные по стенам от кровли до самой земли. Через два дня молния сожгла церковь. Только тогда провозвестники будущего сообразили, что ленты призваны были разделять разряд небесного электричества и провожать его в землю. Вооружившись этим познанием, они взялись за следующий храм — благо церквей у них сохранилось немало.

Однако самые большие потрясения были связаны с судьбой трехсотлетней шатровой церкви. Тут, наконец, действовали настоящие профессионалы: приехавшие из большого города реставраторы возвели вокруг храма строительные леса и к каждому бревну приколотили по алюминиевой бирочке с номером. Они хотели разобрать сооружение и перевезти его в свой культурный город для пущей сохранности. Однако наши не отдавали. Тяжба продолжалась несколько лет, и все это время церковь оставалась в лесах, на площадках которых с северной, теневой, стороны снег лежал до июня, подтачивая старые стены.

Однажды местная газетенка сообщила, что власти большого культурного города смирились с твердостью наших властей и дают деньги на реставрацию зодческого шедевра, поглядеть на который съедутся туристы из цивилизованных стран, — тут мы, дескать, и разбогатеем...

Между тем за неделю до этого многообещающего известия сорокаметровый храм рухнул, сокрушив разлетевшимися бревнами могильные кресты маленького погоста, и ни реставрировать, ни перевозить стало нечего.

Вот так и строили...

Дрова



Переселился в деревню, а дров — нету. Спрашиваю — купить, но никто не продает: самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить, топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемые поленницы — иные и почернели, и гниют, но: «Самим пригодятся». И ничего уж тут не поделаешь — это по-крестьянски...

Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь — облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы: у мужиков что-то не задалось с вывозом — перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленья в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна навыколачиваю дровишек, каких привяжу к багажнику велосипеда — и домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки: завтра — им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал, точно облако, но тепла хватало вполне. Все бы

ладно, да началась зима, и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезное ископаемое.

Как-то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины — подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками — ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятное им занятие. А я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись:

— Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен.

— Вот, — говорю, — и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния.

— А мы — безбожники, — и снова смеются.

— Безбожники, но — православные, христианские? — спрашиваю.

— А какие еще бывают?

— Ну, наверное, иудейские, мусульманские...

— Нет уж, отец, нам этого не надо: мы — свои...

Через несколько дней прислали они грузовик: еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками, но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива.

Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, назавтра — опять туда же. Вечером возвращаемся, сосед говорит, что за мною приезжали — отпевать, но так и уехали восвояси. Причем старик, хоронивший брата, сильно бранился: негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал — он должен сидеть дома, дежурить, как врач «скорой помощи». Старик, конечно, был прав.

Утром я помчался вослед за ним и успел. А потом он рассказал мне, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви тридцать шесть гектаров земли: восемнадцать — священнику, двенадцать — диакону и шесть — псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять: на этой площади были храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков: сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго-настрого воспрещалось работать: лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собою, бесплатно.

— У батюшки жизнь — сплошное дежурство, — поучал старик. — Работу за него сделает мир, но уж если что духовное понадобится: исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, — батюшка должен быть на месте и в полной готовности... А потом, руки... Гляньте-ка на свои руки... То-то и оно — обыкновенные: в порезах, мозолях, чернота въелась... И у меня такие же. Но я никого не благословляю, к моим рукам никто не прикладывается... А священнику приходится еще и новорожденных в купель окунать, и венцы цеплять на молодоженов — куда ж с такими страшными лапами?..

И снова старик был прав.

Впредь я уже на заготовки не отлучался: выписывал в лесничестве необходимые пятнадцать кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить два десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленницы. А еще — завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида.

Так и учился уму-разуму помаленьку.



Пшеница золотая



Неделю не мог домой попасть – служил на дальних приходах. Возвращаюсь – а у меня перед домом сеют. Отслужил молебен, положенный перед началом сеяния хлебов, взял святую воду и пошел по дорожке через поле, кропя парящую землю. Гляжу, кругом все пустые бутылки валяются – насчитал шесть, и механизаторов – они на дальнем краю у тракторов возлегли – тоже шестеро... Окропил трактора, зерно в сеялках, отцов-механизаторов и ушел восвояси.

А сеяли они пшеницу, которая в здешних краях ну никак не урождается. То есть в прежние времена, когда Отечество наше было православной державой, местный народ даже торговал пшеницей, потом, когда оно отступало от веры, пшеница еще кое-как вызревала, но вот уж когда оно провозгласило себя страной воинствующих безбожников, пшеница удаваться перестала. Как говорил наш архиерей: «За всю историю человечества не было в мире других дураков, которые провозгласили бы богоборчество государственной политикой. Додумались, паки и паки!»

Пока пшеница себе возрастала, я мотался по огромнейшему району с разными сельскохозяйственными требами: в одном углу нужен дождь, в другом — вёдро... Получилась полная неразбериха. Известно, что раньше священники на молебен о дожде брали с собою зонтик. Мне зонтик был без надобности, поскольку я успевал уехать на автомобиле до начала дождя, но люди-то оставались! И когда я недели через две снова попадал в этот край, то оказывалось, что ручьи вышли из берегов, мосты посносило, а сенокос может не состояться вообще, так что пора готовиться к голоду. Срочно служили другой молебен. Дождь прекращался, но в течение двух недель до следующего моего приезда засуха сжигала посевы и даже траву, так что голод опять оказывался неминуем. Либеральный газетчик организовал партию «зеленых», возглавил ее и в каждом номере публиковал передовую статью об угрозе глобальной экологической катастрофы в районе... И тогда вместо молебнов о вёдре и дожде мы стали служить молебны, полагающиеся перед началом доброго дела. Тем более что к этому времени сложение крестьянских просьб стало представлять собою неразрешимую задачу: один-два дождичка для картошки, но чтобы сенокосу не повредить, а там для капусты маленько добавить, но не в уборочную, хотя и для грибков дождик не помешал бы, но без жары, чтобы не зачервивели...

Между тем пшеница выросла такой красивой, такой могучей, что это стало смутительной неожиданностью для нашего хозяйства. Со всего района съезжались специалисты: щупали, мяли и перетирали в ладонях шоколадные колосья, нюхали и жевали зернышки. Председатель рассказывал о составе почвы, сроках посева, количестве удобрений, и гости

записывали, записывали. А жители нашей деревни то и дело просили исполнить по радио ласковую песню Исаковского «Стеной стоит пшеница золотая по сторонам дорожки полевой...»

Механизаторы, гулявшие в честь окончания уборочной, достоверно поведали мне, что урожайность оказалась такой громадной, что компьютер не вместил и на счетах костяшек не хватило. По всему получалось, сказали они еще, что с такой урожайностью наш колхоз сможет завалить пшеницею всю Европу, и даже Америке маленько перепадет. Но, конечно, не на этот год, а только на следующий.

Следующей весной я предложил агроному объехать с молебнами все поля. Агроном у нас женщина современная, гоняет на мотоцикле. Правда, забывает иногда, как тормозить, и оттого по временам в заборы врезается, но это уж... Прав был архиерей: «С женщин, наверное, и на Страшном Суде ничего не спросят. Ну что с них спрашивать? Чуда в перьях... Похоже, за все придется отвечать нам».

Она сказала: «Это все глупости для отсталых старух. Урожай зависит только от уровня агрокультуры».

Глупости так глупости. Для старух так для старух. Агрокультуры так агрокультуры.

Но с тех пор на этом поле не вызревало уже ничего: ни рожь, ни ячмень, ни пшеница — все не угадывали с почвой, сроками, семенами и удобрениями, а если и угадывали, то случались поздние заморозки, град или еще что-нибудь непредвиденное, напоминавшее о том, Кто на земле Хозяин.

Так что Европу нам завалить не удалось. Да и Америке не перепало.

Крестины



Возвращаюсь из соседнего района — по благословению архиерея совершал первое богослужение в восстановленном храме, а прямых дорог туда нет, надо давать большого крюка и даже выбираться в другую область, чтобы проехать на поезде. Вот и еду. Ночь. Клонит ко сну. Прошу проводника разбудить меня возле нужного полустаночка и засыпаю. А он сам проспал, и пришлось ехать до следующей станции.

Ночь, метель, кроме меня, никто не сошел с поезда. Бетонная коробочка — вокзал, расписание: обратный поезд после полудня, промерзшие скамьи... Постучался в дверь с надписью «Посторонним вход запрещен». Говорят: «Войдите». Вхожу: теплынь, и женщина-диспетчер сидит перед пультом. Объясняю ситуацию, прошу погреться. Разрешила и даже угостила чайком. Над пультом — схема железнодорожного узла: два магистральных пути и один тупичок — не больно сложно, надо признать. Работой она определенно не была перегружена, и мы потихоньку разговорились. Выяснилось, что мужа у нее нет, то есть

он, конечно, был, но, как водится, сильно пьющий, и потому пришлось его выгнать, и от всей этой канители остался непутевый сын-школьник, которого надо бы, пользуясь случаем, немедленно окрестить. Еще выяснилось, что я смогу выехать в восемь утра на путейской дрезине, а до того времени в нужную сторону вообще никакого движения не будет.

Крестить так крестить. Осталось только дождаться сменщицы.

— Как только кто-нибудь появится, пошлю за ней, чтобы пришла пораньше, она рядом живет.

Тут же и появился, да не кто-нибудь, а милиционер. Сказал, что в леспромхозе убийство и ему надо срочно ехать на следствие. Его и сгоняли за сменщицей, а диспетчер тем временем связалась по рации с машинистом попутного поезда, состав притормозил, и наш посыльный отправился изучать унылые обстоятельства ординарной попойки, завершившейся столь печальным исходом.

После передачи дежурства сходили в бедную квартирку диспетчерши, окрестили парнишку, потом вернулись на станцию, где уже тарахтела дрезина. Просторная будка была забита путейцами в рыжих жилетах: они заботливо усадили меня поближе к чугунной печурке, топившейся углем, а требный чемоданчик и сумку с облачением пристроили у кого-то на коленях.

По временам дрезина останавливалась и кто-либо из рабочих выходил: в этих местах обыкновенно неподалеку от дороги стоял сарайчик — с инструментом, наверное. Остановились у переезда. Здесь был большой сараище, а кроме него целый хутор: дом, хлев, дровяник, колодец, стог сена... Стояли долго: рабочие уходили, приходили, совещались и уходили

снова. Наконец выяснилось, что у хозяина хутора — путевого обходчика — недавно родился сын, и надо бы окрестить, а народ меня подождет: в графике «окно», дрезина никому не мешает.

Крестить так крестить. Пошел в дом. Спрашиваю, как назвали младенца. Оказалось — мой тезка, да еще полный: и отчества одинаковые. Обстоятельство это было воспринято как добрый знак и произвело на путейцев столь сильное впечатление, что уже через полчаса после совершения Таинства некоторые уложили свои светлые лики в тарелки. Остальные присоединились чуть позже.

Вышел на крыльцо, чтобы проветриться от табачного дыма, гляжу — стоит состав с углем. Я — к тепловозу: кричу машинисту и его помощнику, что все уже потеряли управленческие способности и некому стронуть дрезину с места. А они спокойно кивают и даже позевывают: ну, думаю, на пути духовного делания ребята достигли очень больших высот — полнейшего то есть бесстрастия...

Я полагал, что дрезину подцепят спереди и будут толкать, однако вместо этого помощник показал мне, как увеличивать скорость, как тормозить, и благословил отправляться.

...Перед входным светофором я снизил скорость — и хорошо сделал, потому что меня бросили на тупиковый путь, и дрезина запрыгала на стрелках, грозя соскочить в снег. Еще издали увидел я человека в красной фуражке, решил, что предстоят серьезные разговоры, и пошел сдаваться. Однако человек сказал мне: «Приветик», и таким обыденным тоном, словно именно я каждое утро пригонял сюда эту дрезину.

— А где Семен-то? — спросил еще он.

Я честно признался, что не ведаю.

— Дак он что — не приехал?

Я даже огляделся, не вышел ли кто-нибудь, кроме меня, из пустой дрезины. Но нет: кругом никого не было.

— И Алик не приехал? — недоверчиво поинтересовался человек в красной фуражке.

— И Алик.

— И Федотыч?

— И Федотыч.

— А все-таки, где Семен-то?..

— Наверное, у тезки.

— У какого?

— У моего.

— А-а, — и пошел на станцию.

По главному пути прогрохотал товарняк. Знакомый помощник машиниста смотрел в окошко. Я помахал ему рукой, однако ответа не последовало: лишь проводил меня задумчивым взглядом.

Подвернулась попутка: водитель был из нашего района и знал меня. Он рассказал, что у него тяжело заболел сын и надо бы срочно окрестить.

Крестить так крестить. Сил у меня уже не оставалось: на всякий случай приметил, как переключаются скорости, и заснул.

Пчелы



Плодовые деревья в нашем краю не растут. Километров на триста южнее — пожалуйста: есть и вишни, и яблони, а у нас — нет, вымерзают. Зато хорошо растут ягодные кустарники и многолетние травы. А это значит, что здешняя земля в цветении с первых теплых дней и до самой осени. Стало быть, пчелиного продовольствия предостаточно. Беда в том только, что теплые дни приходят поздно. Обыкновенно в конце марта наступают сильные оттепели: снег в полях тает, бегут ручьи, лед на реке покрывается водою, однако эта весна длится всего неделю. Потом вновь холодает, начинаются снегопады, метели, поля зарастают сугробами, лед на реке становится толще и крепче, и даже северные сияния еще случаются иногда. И лишь в начале мая приходит весна бесповоротная. Но опять очень неторопливая: ночные холода продолжаются едва ли не до июля. А в сентябре случаются первые утренники. То есть пчелки здешние, чтобы выжить, должны иметь в характере горячечную авральность.

И вот один авантюристический человек, слывший отъявленным пчеловодом, пригласил меня освятить пасеку. Никогда ранее знакомства с пчелами водить мне не приходилось, но в Требнике «Чин освящения пчел» наличествует, так что, думаю я себе, и до меня батюшки как-то справлялись, и не слышно, чтобы кто-нибудь из них был заживо съеден. Но все равно боязно...

Приезжаем: сорок ульев, и гул стоит, как на аэродроме. Прочитал я в сторонке начальные молитвословия, а дальше написано: «Окропляет иерей места пчел вся». Ну, что делать? Пошел окроплять «места вся». Иду, словно во сне, а они, как пули, туда-сюда пролетают... Вернулся, отдышался, прочитал следующие молитвы, глядь: «И паки окропляет место пчел». Пошел паки, уже посмелее: чувствую, дело делается не просто так, а охранительно — все пули мимо летят. И снова вернулся. Прочитал отрывок из Евангелия от Луки, как воскресший Христос явился ученикам, убоявшимся такового чуда, попросил еды, и они дали Ему печеной рыбы и «от пчел сот». А следом новое указание: «И паки кропит место пчел»...

Тут уж я выступил совершенно спокойно: размахался кропилом так, что для них вроде как ливень произошел, — но ничего, не рассердились нисколько.

Вот уж, думаю, воистину твари Божии — претерпели меня, не ужалили. И не от разума это у них — ну зачем им, действительно, такие маленькие головешки человеческими проблемами забивать, — а от неукоснительного «хождения» пред Творцом и, значит, всегдашней готовности к послушанию Его воле. Есть чему поучиться...

Впрочем, как говорил один закарпатец-строитель: «Учиться можно у всех — даже у свиньи: кушает любую гадость и все обращает в наилучшайший продукт».



Письма к лешему

Воскресный день, литургия... «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих...» — и читаю записки: «Графиды» — понятное дело, Глафиры, «Великониды» — Еликониды, «Ириньи» — Ирины, «Опоросиньи» — Евфросинии, а «Полухерии» — Пульхерии. Илон, Крисов и Лайм приходится опускать — это некрещеные дети несмышленых родителей.

Потом «еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих»: «Сахардона» — то есть Сакердона, «Ареста» — это Орест, «Вилена, Кима, Новомира и Энгельса»...

— А это, — спрашиваю, — что за люди?

— Дак они, — отвечают, — крещеные. Раньше, пока вас не было, у нас бабки крестили: молитовку погундят, а уж как родители назовут, в том наименовании и оставляли. А Энгельс — Геля, стало быть, — хорошее имя, у нас Энгельсов много...

И вот захотелось мне познакомиться хоть с одной такой «бабкой», которая по дерзновению своему крестила здешних младенцев — Новомиров и Энгельсов. Вообще-то крестить может всякий крещеный

человек, но — если нет священника и если обстоятельства понуждают, — то есть в исключительных или, как теперь говорят, экстремальных условиях. В прежние времена женщины знали это: родит где-нибудь на покосе, видит, что не жилец, обмакнет пальцы в кринку с водой: «Крещается раб Божий, — назовет имя, — во имя Отца, аминь, — влажными пальцами коснется головки младенца. — И Сына, аминь, — снова коснется. — И Святаго Духа, аминь», — коснется и в третий раз. А если нет воды рядом, то так — без воды. Коли после того помрет младенчик, священники его отпевают как крещеного христианина, а коли выживет — остается только святым миром помазать. Конечно, век этот был на земле нашей куда как исключительный и крестить, хоть и без священников, надобно было, но зачем же нечеловеческие имена?..

Кроме того, «крестительницы» эти неутомимо придумывали всякие слухи: то батюшка нехорош, потому что богатый, а когда оказалось, что бедный, и это плохо — настоящий поп не может быть нищим; то — в каждом селе жена, а коли не так, то — больно строг с женщинами, мог бы и внимание оказать: мало ли что священник — мужчина все же... Дальше стал неправильным, поскольку звался не Алексием, а всех правильных попов, дескать, непременно зовут Алексиями, взять хотя бы патриарха, которого по телевизору показывают. В подтверждение этих слов говорили еще, что перед подписью своей ставлю букву «о» с точкой, а, к примеру, когда председатель колхоза уходит в отпуск, то за него остается механик и ставит тогда перед своею подписью «и. о.»...

Повели меня к одной знаменитости: говорят, у нее даже «поповский фартук» есть. Заходим в избушку: сидит за столом старуха в истрепанной епитрахили

и что-то пишет. А епитрахиль — главное священническое облачение, без нее никакой службы не сослужить, и, конечно, никому, кроме священника, надевать ее не полагается. Видать, осталась от батюшки, утраченного в тридцатые годы. Поздоровались. Бабка и объясняет:

— Кошечка моя потерялась. Теперь вот, паря, лешему приходится письмо писать, чтобы возвернул кошечку.

— На каком же, — говорю, — языке письмо ваше?

— Ты что ж, паря, не знаешь, как лешему письма пишут?.. А еще священник!.. Чему вас там только учат... Справа налево!

— И какой же, — спрашиваю, — адрес?

— Да никакой: положи под крыльцо — и будет доставлено.

И вот, думаю я себе, коли во святом крещении человек с Богом соединяется, то с кем же соединяла души людей эта чудодеица в «поповском фартуке»?.. То-то возле ее логовища никто естественной смертью давно уже не помирает и ни единого человека отпеть нельзя — сплошь самоубийцы. В прошлом месяце тракторист додумался на ходу выбраться из своего трактора и лечь под гусеницу, а вчера, и сорока дней не прошло, его напарник проделал над собой то же самое — эпидемия...

Умирала она тяжело и мучительно. Я приезжал исповедовать ее, но ни капли раскаяния не дождался: она лишь злобствовала на близких своих, на соседей, знакомых и, корчась от боли, выкрикивала: «Не люблю всех!.. Не люблю всех!.. Не люблю всех!..» С этими словами, без покаяния, она и умерла.

А ветхую епитрахиль, послужившую спервоначала неизвестному мне новомученику и претерпевшую затем множество надругательств и оскорблений, я выстирал, окропил святою водою и спрятал в тихое место — пусть отдыхает.

Волки



За ночь потеплело на двадцать три градуса, и утром было всего двадцать пять.

Крещу после богослужения, вдруг дверь распахивается и влетает охотовед: перепоясан патронташем, на боку нож. Когда облако тумана рассеялось, он разглядел происходящее и вылетел.

В свой час Таинство свершилось, люди ушли, а охотовед опять влетел и громким-громким шепотом:

— Отец, скорее: у тебя в деревне волки! — шепотом, стало быть, от благочестивости, а громким — от переизбытка чувств. — Мы сделали оклад в бору, но флажков не хватило, и надо один лаз перекрыть.

Я говорю ему, что мне теперь убивать нельзя. А он чуть не умоляет: убивать, мол, и не надобно, встань только в нужном месте и всё...

Я снял облачение, замкнул храм и как был в подряснике, так и взобрался на снегоход. Помчались мы, пугая собак и прохожих, через все село, за околицу, а там по проселку к моей деревне.

Мы с этим охотоведом знакомы давно: случалось, вместе охотились, да и потом, когда я начал служить

в областном центре, судьба нас снова свела — пострадав от медведя, он частенько ездил в город на врачебные консультации и останавливался в той самой гостинице, где жил я.

Заехали ко мне, я быстро переоделся, схватил ружье и — дальше. У крайней избы остановились: крыльцо было залито кровью.

— Рысь, — пояснил охотовед. — Задрали ее в лесу, а вечерять притащили сюда — так культурнее. А уж под утро, когда хозяйка печь затопила, опять в лес убрались.

По следам хорошо было видно, как тащили сюда и как убирались обратно.

— Ну а рысь-то чего сдалась? — не понял я. — Больная, что ли?

— С котенком... Так бы им, конечно, ни за что ее не взять бы, а тут, видать, рысеныша своего защищала, вот и подставилась... Это ведь, отец, твои знакомые волки...

За несколько дней до того ехал я в районный центр отпевать мужичка, отравившегося иностранным спиртом: у нас тогда от этого спирта мор был, словно от чумы или от черной оспы, — каждый день кого-нибудь хоронили... Тепло в машине, задремал я. Вдруг шофер говорит:

— Глядите-ка: две собаки, да какие большущие!

Открываю глаза — впереди на дороге сидят две псины. Но, думаю, откуда тут быть собакам — вокруг и жилья нет?..

Мы приближаемся, а они лениво встают и неспешно отступают на обочину: вижу — волки! Чего ж, думаю, они так безбоязненны — среди дня, прямо на дороге, — не подранки ли?..

— Тормозни, — говорю.



Остановились метрах в десяти от волков. Только я приоткрыл дверцу, они как сиганут в поле и — прыжками по сугробам... Видать, устали, перебираясь через заснеженные поля, и сели передохнуть на асфальте.

Заехали к охотоведу, рассказали ему о волках, и в тот же день он начал преследование. А они, словно издеваясь над казенным человеком, побрели по его охотничьему путику и съели двух лисиц, угодивших в капканы. Наконец добрались до моей деревни, где от них нашли погибель свою рысь с детенышем.

Поставили меня на номер. Затаился я, изготовился к выстрелу, а сам думаю: чего же мне делать, если волки и впрямь выскочат? Стрелять в воздух? Так можно всю охоту испортить, а волки эти не только лисиц, они уж дюжину собак поизорвали да в колхозный телятник пытались залезть, — так что порчу

охоты мужики не поймут. Правда, архиерей благословил меня в случае голода добывать пропитание охотничьим способом, как, например, это делают бедствующие православные священники на Аляске. И хотя случай таковой вполне можно было считать наступившим: не было у меня ни жалования, ни хозяйства, — все же волк мало годился для пропитания. С другой стороны, за волков полагалась премия, а вот с премией можно было бы и в сельпо зайти...

Чувствую, самому мне не разобраться: прочитал «Отче наш», особо выделив «хлеб наш насущный даждь нам днесь» и «не введи нас во искушение», — и успокоился.

И правильно сделал: перебили мужики волков, а я их даже и не видел. Говорили, что волки поначалу пошли на меня, но потом вдруг круто свернули в сторону.

— Я на это и рассчитывал, — признался охотовед. — Коли уж тебе стрелять нельзя, так их на тебя и не выпустят. Так что ты у нас оказался лучше всяких флажков — вроде стены бетонной.

Потом охотоведу прислали премию, и он справедливо разделил ее между всеми участниками облавы. Вот и получилось, что в искушение Господь не ввел, а хлеб насущный — дал.

Лютый



Как-то под Рождество крестил я в глухом отдаленном сельце ребятишек. Для совершения Таинства предоставили мне заплеванный, пропахший мочою клуб, явленный в мир, как можно догадываться, взамен некогда разоренного храма. После крещения меня попросили заехать в соседнюю деревеньку — надобно было отпеть только что преставившегося старичка.

По дороге водитель грузовика рассказал мне, что покойному семьдесят пять лет, что всю жизнь он проработал колхозным бухгалтером, «лютый партиец — даже парторгом бывал», а вчера с ним случился удар, и врачи, приехавшие из районной больницы, ничем не смогли помочь.

В избе пахло яйцами, солеными огурцами и колбасой — хозяйка дома, старшая дочь покойного, готовила для поминок салат, а трое мужиков — сыновья, приехавшие из других деревень, — пили водку.

В тот год из-за беспробудной борьбы с пьянством магазины водкой совершенно не торговали, и только на свадьбы, юбилеи да на поминки сельсовет разрешал

по два ящика. Вот эти самые ящики и стояли сейчас под столом, за который осиротевшие братья с настойчивой вежливостью приглашали присесть и меня:

— Батя! Садись, помянем отца нашего родного, Дмитрия Ваныча, Царство ему Небесное, пусть земля будет пухом...

Я сказал, что сначала — дело, начал облачаться, тут у них возник спор: прав я или не прав?.. Сошлись на том, что скорее все-таки прав, и, успокоившись, продолжили свое увлекательное занятие.

За пестрой ситцевой занавеской лежал на кровати и сам Дмитрий Иванович. Он был в черном костюме, серой рубашке и при галстуке. На лацкане пиджака блестели значки победителя трудовых соревнований. В изголовье сидела на табуреточке еще одна женщина — как выяснилось, младшая дочь, примчавшаяся из соседней области по телеграмме. Тихонько всхлипывая, она смачивала влажной тряпочкой губы покойного, который против ожидания... оказался жив.

— Вы что ж, — спросил я, — уже и обмыли его водой?

— Братья, — шепотом сказала она, указывая взглядом за занавеску. — Сказали... пока теплый да пока сами трезвые, сподручнее... А он как вчера отключился, так в сознание и не приходит...

Я отслужил молебен об исцелении недужного и уехал. Перед отъездом настоятельно просил: как только старик умрет, прислать за мною машину, чтобы совершить отпевание. Братья торжественно обещали. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю машины не было.

Прошло несколько месяцев. На Троицу увидел я в храме старушек из того самого сельца, после службы

разговорился с ними, и вот какую историю они мне рассказали.

Вскоре после моего отъезда Дмитрий Иванович очнулся, встал, вышел из-за своей занавесочки и, как только до его сознания дошел смысл происходящего, разгневался до такой степени, что начал искать топор... Сыновья благоразумно поразбежались. Потом к старому бухгалтеру приехали районные доктора, надавали лекарств, и он стал помаленьку выправляться.

И вот как-то весной, когда снег у крылечка растаял, выбрался Дмитрий Иванович на завалинку и грелся под солнышком. Соседка шла мимо, остановилась и порадовалась за старичка, который по милости Божией вернулся от смерти... Она про батюшку да про молебен, а он: «Какой еще батюшка? Какой молебен?» Ему, стало быть, никто про эти события не поведал: боялись. Соседка в полном изумлении и рассказала обо всем. Несчастный резко приподнялся, топнул ногой: «Чтобы ко мне — поп?!» И с этими словами пал на вешнюю землю.

Говорят, из-за водки произошла тяжба: действительно, как это — у одного и того же человека вторые похороны?.. В конце концов сельсовет уступил сыновьям.

Но посылать за священником никто уже не решился. На всякий случай, наверное.

Далеко от Венеции



Предупреждал я охотоведа: не зови иностранцев, не принесут они никакого добра, — не послушался: пристрастие ко всему зарубежному неистребимо в русском народе. И вот стали появляться у нас то шведы, то немцы, то англичане... Мужики высказывали недовольство: им лицензий на зверя не продают, а иностранцы знай себе стреляют и медведя, и лося, и кабана, и вообще все, что под руку попадется.

Впрочем, несмотря на это ворчание, внешнеполитическая резвость наших егерей поначалу сходила им с рук вполне благополучно.

И вдруг случился конфуз. И отчасти трагический. О нем даже в газетах писали. Хотя, конечно же, весьма кратко. Между тем это событие в силу своей международной важности достойно более пространного изложения.

Приехал как-то итальянец. Дядечка лет пятидесяти, по-русски — ни слова, известно только, что лицензия у него на медведя. Дело происходило в сентябре, когда медведя бьют на овсах: по весне

специально засевают небольшие поля возле самого леса, а то и в лесу; злак по созревании не убирают, но караулят на нем медведей, которые любят овес нестерпимо. Дальнейшие условия охоты таковы: приходят добытчики засветло, в чистой одежке и без всякого курения, потому как табачный запах нормальные существа на дух не переносят. Залезают на заранее изготовленные лабазы — как правило, просто перекладинки, прибитые на развилках деревьев, и бесшумно ждут наступления темноты. Медведи приходят в сумерках, когда человеческий глаз видит уже неважно, и потому стрелки́ готовы проявлять действие на всякое призрачное шевеление. Поскольку охота эта проводится обычно не в одиночку, завершают ее заранее оговоренным сигналом, который может дать только один человек — старший в команде. Нарушение последнего условия почти неотвратимо приводит к беде — это знает всякий охотник, но тем не менее оно по временам нарушается. Для чего — неизвестно. Наверное, лишь для того, чтобы подтверждать прискорбную правоту непоколебимой взаимосвязи.

На сей раз нарушителем стал многоопытный охотник, сидевший на дереве неподалеку от итальянца: ему показалось, что медведь шебаршится в кустах у дальнего конца поля. Желая угодить зарубежному дикарю, никогда не видавшему приличных животных, безумец слез с лабаза, поманил соседа, и они краем леса, в три погибели скрючившись, осторожно направились добывать ценный трофей. А на том конце поля никакого трофея не было, зато сидели их компаньоны, которые и открыли на удивление меткий огонь по крадущимся фигурам. Вопль, вознесшийся к звездному небу, развеял горячечную радость стрелков.

Вышло так, что сам вольнодумец и подпал под карающую десницу: ранение оказалось сложным и на долгие месяцы приковало его к постели.

Что же до венецианского гостя, то он... исчез. Его искали всю ночь: с фарами, фонарями, с криками и беспрерывной пальбой. Искали весь следующий день и следующую ночь — бесполезно. Милиция обратилась в областной город с просьбой прислать ищейку, а корреспондент местной газеты — человек современных веяний — посетил районного колдуна, чтобы тот указал ему место нахождения пропавшего охотника.

— Ушел в астрал, — привычно объяснил экстрасенс, получив требуемую сумму.

— Это само собой, — согласился журналист, — это и дураку ясно; но на территории какого колхоза?

Дальнейшее выяснение требовало дополнительной оплаты, а кошелек у корреспондента был пуст, что означало «плохую карму».

И вот, когда местные власти после многочасовых бдений решили уже заявить о пропаже во всеуслышание и попросить у мирового сообщества помощи, случайный водитель привез в больницу незадачливого медвежатника, раненного в самую мягкую часть тела.

Поскольку итальянского языка никто в наших краях не знал, подробности происшествия стали известны нам далеко не сразу. Но со временем, когда врачи научились понимать несчастного, вырисовалась вот какая картина.

Получив ранение, итальянец решил, что на них напала знаменитая русская мафия, имевшая целью похищение огнестрельного оружия, бросился вглубь леса и там залег. Шумные поиски, организованные

милицией, он принял за продолжение боя, развязанного все той же мафиозной группировкой, и лежал неподвижно. Когда сражение стихло, стал выбираться. Вышел на какой-то проселок, затаился в кювете и терпеливо ждал. Наконец показался почтовый фургон. Обрадовавшийся итальянец поднялся навстречу машине, но она сразу же остановилась, быстро развернулась и, подпрыгивая на колдобинах, умчалась обратно — лишь облако пыли долго еще висело в той стороне. Итальянец понял, что он своим видом: окровавленными штанами и карабином в руке — напугал водителя. Возвратился в лес, спрятал карабин в мох и тем же мхом постарался, сколько возможно, оттереть засохшую кровь. Потом вновь выбрался на дорогу. Тут его и подобрал местный житель: отвез в больницу и сдал в руки врачей.

Старый хирург велел немедленно делать укол. Раненый закричал: «АИДС! АИДС!» Молодой хирург догадался, что тот боится заражения СПИДом. Показали одноразовый шприц, но итальянец кричал не переставая. «Вали его!» — приказал старый хирург. Молодой, обхватив итальянца за туловище, попытался побороть его, но итальянец был тоже не промах и сопротивлялся достойно. Пришлось подцепить его за здоровую ногу, но после подножки на пол рухнули оба: доктор своими объятьями берег его от ушиба. «А теперь садись на него!» — приказал старый и кивнул медсестре, стоявшей с поднятым вверх шприцом.

После укола итальянец несколько успокоился и правильно сделал: АИДС так АИДС — теперь уж ничего не исправишь. Его подняли на ноги. Обиженно посмотрев на докторов, он вздохнул и спросил про своего комарада.

— Да с ним все путем! — успокаивал молодой хирург. — Он на третьем этаже, — указал пальцем на потолок, — в реанимации.

Итальянец понял этот жест по-своему: воздев руки, он прошептал: «О, Мадонна!» — и заплакал.

Пулю по хирургическим размышлениям решено было не извлекать: стали просто залечивать рану. А итальянец, понятное дело, нашим лечебным сервисом совершенно не удовлетворен и все время требует консула. Консулу, как положено, доложили, а он отвечает, что дел у него и без нашего гостя полно, и когда он — консул — сумеет выбраться в этакую глушь, неведомо, а раненого туриста, коли он транспортабелен, можно и так — без консула — в столицу отправить.

Тут такое началось! Другими делами, значит, есть, когда заниматься, а для нашего итальянца времени не находится? Ну консул, ну макаронник! И народ бросился на защиту раненого изгоя: из деревень везли и везли ему клюкву, морошку, грибы, молоко, творог, сало... А уж сколько всяких непереводимых слов было сказано по избам в адрес бесчувственного дипломатического работника!.. Журналист, наглотавшийся новых веяний, даже дерзнул со страниц районной газеты обратиться к итальянскому МИДу с призывом заменить консула, нарушающего права человека.

Чтобы довести до сведения нашего итальянца всю степень общественного негодования, в больницу была делегирована учительница музыки — у них там, у музыкантов, все указания в нотках — латинские. Конечно, латынь учат и медики, но старый хирург все перезабыл, а молодой помнил только про неприличное. Подошла музыкантша к раненому, сидевшему на кровати, и говорит:

— Аллегро... Аллегретто... Адажио... Анданте кантабиле...

А он голову набок наклонил и внимательно-внимательно на нее смотрит — так делают умные собаки, пытаясь понять человеческую речь.

— Модерато, — продолжает она.

Но наш, похоже, латынь либо совсем не проходил, либо учился плохо. Однако смотрит на нее пристально — не иначе, голос предков что-то шепчет ему.

— Ма нон троппо, — обреченно говорит музыкантша, и вдруг наш повторил:

— Ма нон троппо...

— Ура-а! — закричал молодой хирург. — Все: поняли друг друга!.. — и осекся. — А что оно есть — ма нон троппо?

— Но не очень, — перевела музыкантша.

— Чего — но не очень?

— Вообще — но не очень... Например, аллегро, ма нон троппо — быстро, но не очень...

— Ну и чего? — поинтересовался молодой хирург. — Поговорили, называется...

Итальянец тоже загрустил: тяжело жить, когда тебя ни одна живая душа не понимает. Впрочем, одна живая душа понимала его. И не только понимала, но даже вполне с ним управлялась. Медсестра, молодая деревенская девушка, легко выводила его из уныния.

— Не тушуйся, — говорила она, — какие наши годы? Три к носу.

Он начинал улыбаться и тер пальцами нос — так она его научила. Сестра, в свою очередь, на лету усваивала итальянский.

— Ма нон троппо-то руки распускай! — доносилось иногда из палаты.

Прилетел наконец злосчастный консул. Тут вдруг наш наотрез отказывается отправляться домой. Консул — к главному врачу: больной находится под воздействием психотропных препаратов. А главный ему: мол, у нас и на бинты средств не хватает, и еду пациентам из дома приносят — какие там еще препараты?.. Тот знай себе: разведка, вербовка... Доктора всем миром пошли к нашему: ты чего, мол, уперся — через это международный конфликт может произойти. А он сидит на кровати и головой мотает.

Тогда медсестра говорит ему:

— Ма нон троппо-то выпендривайся!

Он покраснел и шепчет что-то насчет «аморе». Тут все — и даже консул бестолковый — поняли, что психотропный препарат — это сестричка милосердная. Консул обрадовался, что все так удачно закончилось, хотя, конечно, ему было обидно, что из-за такого, по дипломатическим меркам, пустячного дела пришлось лететь аж на двух наших самолетах, да еще предстояло опять двумя рейсами возвращаться.

Ну а жениха повезли в деревню к родителям: деревенские поначалу смутились — все-таки нерусский и пуля в заду... Но по размышлении сошлись на том, что в семейной жизни это даже вполне допустимо, и стали праздновать сватовство. Уже и итальянец улетел, а они все праздновали и праздновали...

Спустя полгода он возвратился, чтобы забрать невесту в свою Венецию. Молодой хирург сказал: «Во, повезло», а старый посмотрел на него с жалостью...

Долг



Привезли как-то женщину лет сорока — жену директора лесопункта: обнаружилась у нее тяжкая хворь, и путь ее лежал в город на операцию.

— Хочу, — говорит, — принять крещение.

— Мысль, — отвечаю, — правильная, — и окрестил ее.

— Однако мне, — говорит, — совсем несподручно умирать, и даже болеть нежелательно: у меня трое детей, на ноги не поставленных...

Отслужили молебен об исцелении — старушки, прибиравшие после службы, поусердствовали с нами в молитве, — и отправилась новопросвещенная навстречу своей неизвестности. Дали мы ей в дорогу молитвослов и Евангелие.

С того дня я долго — год или два — ничего не слышал о ней. И вот приезжаю однажды в этот лесопункт, а он — в самом глухоманном углу и по жизни своей привязан вовсе не к нам, а к соседней области, куда по узкоколейке и вывозят лес. Позвали меня, чтобы освятить несколько домов, — завелась в них всякая

нечисть. Надо заметить, что край наш вообще на пакость богат: то и дело газетчики, помраченные тягостным духом времени, восторженно сообщают о бесчинствах «барабашек» и полтергейстах; а однажды отыскали в архивах, что, согласно древним преданиям, под нами находится место сбора всех областных демонов, и даже напечатали старинную географическую карту с указанием обширнейшего подземного «дворца съездов». Не знаю, кого уж угораздило побывать в этом злачном месте, но, похоже, пределы его были изображены с невероятной точностью, поскольку впоследствии с ними совершенно совпали границы алмазного месторождения, найденного лишь в наши дни.

Впрочем, не одними лишь лукашками да окаяшками знаменита эта земля — она подарила миру святого. Забрел сюда в стародавние времена смиренный монашек: основал монастырь, потом — другой, наконец стал учреждать по рекам водяные мельницы... Тут местные мужички осерчали и убили строителя — не снесли, стало быть, укоризны, исходившей от его чрезмерной усердности. Таким неожиданным образом они и прославили себя на духовном поприще: подвижник впоследствии был причислен к лику святых.

Послужил я молебны, погонял кропилом распоясавшихся домовых, да и в обратный путь на тягачелесовозе. Тут вспомнил вдруг про жену директора и осторожно поинтересовался у водителя о ее судьбе. Оказалось, что дело завершилось самым чудесным образом: очередной тогдашний рентген не обнаружил ничего необычного. То есть на снимке, сделанном за три дня до того в районной больнице, необычное было, а на новом — не было... Доктора прогнали ее как



Водяная мельница с запрудой

симулянтку. Счастливая, она вернулась домой и всем показывала рентгеновские снимки, засвидетельствовавшие совершение чуда. С тех пор она благополучно здравствовала и жила вполне припеваючи.

Однако через некоторое время нам с ней довелось встретиться снова, и обстоятельства этой встречи были печальными. Оказалось, что прежнее необычное опять явилось из небытия, бедолаге сделали операцию, но неудачно, дела шли хуже и хуже, и врачи уже не умели помочь. Я спросил, отчего ж она не заехала в храм перед операцией? Отвечает: думала, что теперь и без этого все нормально будет. Начинаю служить молебен, вижу — она крестится слева направо.

— Ты, — говорю, — с тех пор ни разу и не помолилась?

— Нет.

— И ни разу Бога не поблагодарила за чудесное исцеление?

Мотает головой.

Тут уж старушки мои не выдержали:

— Ну, хоть в городе-то, когда узнала про чудо, свечку поставила?

— Нет.

— Там ведь храм — рядом: из больницы выходишь — и вот он, мимо не пройдешь...

Прошла, прошла мимо...

— И батюшка там хороший — он к нашему батюшке в гости иногда приезжает, на рыбалку, и они тогда вдвоем служат... А отец диакон там голоси-истый — тоже иногда к нашему батюшке приезжает, тогда уж у нас такие службы, такие службы!..

И они взялись растолковывать страдалице свои соображения, что чудо, то свершено было даже не ради ее самой, а скорее ради ее ребятишек, которые непременно сгинули бы.

— Мужик бы без тебя спился — там, в лесопункте вашем, ему и хозяйки никакой не найти.

— Спился бы, — легко соглашалась женщина, — он и так спивается.

— Это тебе по молитвам Матушки Богородицы, деток твоих пожалевшей, чудо такое было подарено, а ты — ни разу даже и лба не перекрестила... Теперь, конечно, опять помолиться надо бы, а стыдно пред Господом — до невозможности, аж жуть берет. Как, батюшка?..

После молебна женщину опять повезли в город. С тех пор никогда более я ее уже не встречал.

Летят утки





Поздней осенью ехали на редакционной машине в отдаленное село. Если весь наш район — глухомань, то это село — глушь внутри глухомани. Туда не всякий месяц и попадешь, да если и попадать, — ехать надо на большом вездеходном грузовике. Грузовика такого в редакции местной газеты, понятное дело, не имеется, есть только разбитый уазик, добираться на котором до этого хозяйства затруднительно, и потому поездку все откладывали да откладывали. Наконец полное замалчивание событий, происходящих в глуши, вышло за рамки приличия, и редакция отрядила машину, чтобы узнать, чем там закончилась уборочная кампания. По дороге захватили меня — редакционный шофер знал, что я давно ожидаю такой оказии. Кроме старого водителя, человека известного и уважаемого в здешних краях, ехал корреспондент — человек тоже известный. Прежде он исключительно сильно пил, превосходя в сем занятии едва ли не всех земляков. Потом, с медицинской помощью, пить перестал, но двинулся соображением ума: стал собирать митинги,

требовать свободы слова и прав человека. Это было вполне в духе нового времени, и его взяли в газету, на страницах которой он с тех пор регулярно печатал призывы к расширению всевозможных свобод. Жил он, я знаю, с мамой — кто ж еще с таким человеком станет жить?.. Но и мама, похоже, терпела его с трудом.

— Вот скажите, — обращается он ко мне, — на каком основании она может говорить, что было бы лучше, если бы я спился, — представляете?..

— Конечно, лучше, — подтверждает шофер, — раньше ты хотя бы добродушный был, а теперь — остервенел, как цепная собака.

— Я не остервенел, я — прозрел и увидел, что свободы нет, и начал бороться за свободу.

— Хохлушек-шабашниц в голом виде нафотографировал, наш редактор-дурак альбомчик издал, и торгуете теперь этой пакостью — тьфу!..

Действительно, в книжном магазине стала продаваться брошюрка с фотографиями обнаженных девушек, сто́ящих возле стога с соломой, причем на моделях были резиновые сапоги: то ли стерня кололась, то ли ноги от босого стояния на земле попросту мерзли, однако все они — в сапогах...

— Это же замечательно, как ты не понимаешь: свобода совести — раз; свобода печати — два; и свобода предпринимательства — три... Между прочим, — снова обращается он ко мне, — мать ходит к вам в церковь, так вы там вразумите ее: она, видите ли, говорит, что устала от жизни и ждет не дождется, когда Господь заберет ее. Насколько я понимаю, это еретичество...

— Замучил старуху, — вздыхает шофер.

— При чем тут?.. Я уж и так утешаю ее, утешаю: живи, говорю, что хорошего на том свете? А она: «Там хоть демократов нет», — такая отсталость...

Между тем дорога делается все хуже и хуже — большие грузовики разбили ее, превратив колеи в канавы. Машинка наша с трудом преодолевает метр за метром, потом вдруг начинает крениться и наконец вовсе заваливается на левый бок. Откинув правую дверцу, которая оказалась теперь над нашими головами, мы выбираемся вверх и рассаживаемся, свесив ноги в разные стороны. Поначалу обсуждаем случившееся, потом — свои перспективы и тут только замечаем корову и лошадь, спокойно бредущих мимо нас вдоль кромки леса.

— Что это? — испуганно шепчет корреспондент.

— А-а! — обрадованно угадывает водитель. — Это председателева скотина! Мне рассказывали, что у него молодая лошадка ходит пастись вместе со старой коровой. Ходят самостоятельно, а смысл у них вот в чем: лошадь — она пошустрее, ищет вкусное пропитание, а как найдет — призывает корову. А корова — поопытнее, поосторожнее, лошадке при ней не так боязно. Волков нынче здесь, видно, нет — зимой, конечно, появятся... Гляньте-ко, гляньте: заинтересовались...

Лошадь смотрела на нас доверчиво и по-детски беспечно, но временами поворачивала морду к старшей подруге, которая, похоже, пребывала в раздумье и сложных сомнениях. Потом корова хмыкнула, и обе животинки, разом потеряв к нам всякий интерес, побрели себе дальше.

— Нынче, говорят, цыгане пытались лошадку украсть, а корова взбесилась, повозку цыганскую разметала, а потом обе с лошадкою и удрали. Они как-то понимают друг друга: корова, говорят, мыкнет — лошадь бросается убегать, по-другому скомандует — та останавливается, а язык вроде разный... А то вот еще весной как-то видел, когда вся птица



на север тянется: летят, значит, утки и два гуся... Прямо как в песне. Только ведь утки эти летели клинышком, а гуси — крайними в том же клину. Гуси обычно побыстрее уток летают, а эта парочка — ослабели, видать. И вот стою и смотрю: им приходится перестраиваться, и как-то по-особому, — здоровенных этих птиц надобно куда-то приткнуть, чтобы от них не было неудобства, и идет разговор: одни крякают, другие гагакают, — как же это они понимают друг друга? И потом: надо же еще знать, что эти утки летят точно туда, куда и гусям определено, — на то самое место в тундре. Может, они и на свет появились в соседних гнездах, а теперь вот опознали друг дружку среди миллионов птиц... Ты вообще как

к свободе передвижения относишься? — спросил он корреспондента.

— Положительно, конечно, а что?

— Если лошадь с коровою здесь пасутся, значит до деревни недалеко: сходи-ка, паря, за трактором... Да не обижайся, господин демократ: просто мне бы желательно находиться рядышком — вдруг какая-нибудь машина объявится...

Водитель был прав: подъехала машина связистов, они выдернули нас, и мы добрались до села прежде, чем корреспондент разыскал трактор. О нашем приезде народ был заранее предупрежден по телефону, и я сразу направился в клуб, где должны были по моей просьбе согреть воды для крещения. Воды наготовили целую бочку, но вот людей — не было.

— Денег, — объясняют, — в селе нет. Ни единой копеечки...

Пришлось кого-то отправить в детский сад, кого-то — по домам, собирать взрослых, хотел еще кого-нибудь сгонять в школу, но тут наш шофер говорит:

— А пойдемте, батюшка, в школу сами...

И заходим мы в покосившуюся одноэтажную хоромину: коридорчик, а из него три или четыре двери в классы. Подошли к одной двери, прислушались — тишина. Осторожненько отворяем: небольшая комнатка с дюжиной пустых парт, в углу топится печка-голландка — вся в трещинах, через которые кое-где выползает дымок... Возле открытой створки сидит на скамеечке учительница в накинутом на плечи пальто и читает троим жмущимся к огню ребятишкам «Бородино» Лермонтова... Она читает, читает — монотонно так, а они хотя и посматривают иногда в нашу сторону, но нисколько не удивляются, да и вообще не реагируют никак — будто не видят...

Мы подходим ближе. Учительница перестает читать, но головы не поднимает: сидит молча, словно в прострации. Спрашиваем, сколько учеников в школе.

— Всего — двадцать девять, — тихим голосом отвечает она, — но семнадцать — больны, и на занятиях присутствуют только двенадцать.

— Вы не будете возражать против крещения детей? — спрашиваю я.

— Мы не будем возражать ни против чего, — отвечает она почти шепотом, так и не поднимая глаз.

В тот день крестились человек семьдесят. Потом отслужили еще водосвятный молебен и панихиду, потом несколько человек впервые в жизни исповедовались...

Наконец мы поехали обратно. Корреспондент начал рассказывать про опустевший коровник, плачущих доярок, переломанные трактора...

— Ты дояркам-то насчет свобод все растолковал? — поинтересовался водитель.

— Ирония тут неуместна: реформы требуют жертв.

— Жалко, батюшка рядом, иначе — прибил бы тебя, то-то была бы подходящая жертва...

Далее мы молчали. Сложный участок благополучно объехали стороной, выбрались на трассу, но когда машина, зашелестев по асфальту, успокоилась, шофер негромко затянул:

— Ле-э-тя-ат у-ут-ки-и, ле-э-тя-ат у-ут-ки-и...

— И-и два-а гу-у-ся-а, — не удержался я.

Так всю дорогу мы с ним вдвоем и пели.

Александр



Познакомились мы с ним на празднике, случившемся из-за шестидесятилетия местного гармониста. Игрец этот был известен в области, а потому устроили большой праздник, на который приехали другие знаменитые виртуозы трехрядок и балалаек, а за ними — питерские документалисты, снимавшие значительное кино. Режиссера звали Александром, по причине молодости даже Сашей. Несмотря на праздничную суматоху, между нами быстро установились совершенно доверительные отношения.

Гулянье происходило на высоком берегу темноводной реки, неподалеку от братской могилы продотрядовцев, которые некогда с таким самозабвением увлеклись поисками зерна, что были заперты в каком-то амбаре и сожжены.

Гармонисты шпарили и наяривали, певуньи взвизгивали, плясуньи притоптывали. День был солнечный, теплый: для съемок — милейшее дело...

— Что же мы за страшный народ такой? — сказал режиссер, глядя на обелиск. — Свои своих пытались

ограбить... но свои сожгли своих заживо... А потом другие свои этих своих, наверное, казнили, а третьи свои казнили других своих... Жуть какая-то... Ну почему же это мы все время против своих?..

Патриотически настроенные личности проходят обыкновенно два этапа развития: этап восторгов и этап разочарований. Сначала — Святая Русь, золотые купола, великое предназначение; потом — вся эта святость уже позади, в прошлом, а народ наш попросту мерзок. И тут патриот-безбожник непременно впадает в уныние, но, по православному рассуждению, чем более пакостности в твоем народе, тем решительнее надо отдавать ему свою жизнь. Потому как и Христос пришел, чтобы спасать грешников, а не праведников.

Обо всем этом мы говорили с Александром вечером того же дня в моем домике. Я зазывал в гости всю группу, однако слияние кинематографической напористости с непоколебимостью гармонистов надолго вывело тех и других из творческого процесса. Покинуть наше село группа смогла лишь через сутки.

Вышел фильм — в газетах хвалили, но до деревни нашей он, разумеется, не дошел. Потом еще я узнал, что Александр купил дом в соседнем районе, собирается приехать на отдых и обещает навестить меня. Наконец кто-то из знакомых сообщил, что он в Москве и приглашает на просмотр фильма.

У меня было всего два дня, я поехал, но мы не встретились.

...Приехал я третьего октября, а четвертого, когда он пытался отснять какие-то исторические кадры, снайпер убил его выстрелом в затылок.

«Святое дело»



В храме тихо, чисто, светло, образа украшены тонкими березовыми веточками с клейкой листвой — пахнет луговой свежестью, пахнет наступающим летом... Троица!

В Троицу у нас на службу мало кто ходит, весь народ пьянствует по кладбищам. В центральной России под безбожные тризны приспособили Пасху — день, когда и покойников-то не отпевают, а у нас на Пасху еще холодно, случается, что и снега по пояс, так что удобнее оказалось сквернить праздник Троицы. Всякий местный житель, конечно же, растолкует, что «помянуть родню — святое дело». Из-за этой-то «святости» и водка, как здесь принято говорить, «от баб неруганная».

Входная дверь растворена, и, выходя на амвон, я вижу, как народ, вырядившийся во все праздничное, идет по улице мимо храма. Вот братья-плотники — они помогали мне восстанавливать церковь. Поначалу они, наверное, помянут отца, который когда-то эту самую церковь разрушал бульдозером и который впоследствии погиб под гусеницами своего

же бульдозера, вывалившись по пьянке из кабины. Потом, возможно, вспомнят и деда, служившего в этой церкви диаконом...

Вот старая учительница-пенсионерка, которая почти полвека рассказывала школьникам, что здешний священник вел распутный образ жизни и потому... у него было одиннадцать детей. И никогда не говорила, что единственный Герой Советского Союза, которым тихий район наш одарил родное Отечество, был сыном «распутника». Она идет на могилку к своему отцу, которого этот самый батюшка когда-то и окрестил, и обвенчал и который в урочное время самолично вызвался отконвоировать старого протоиерея до тюрьмы, но не довел: умучил по дороге побоями и издевательствами и застрелил «при попытке к бегству». Сам же спустя несколько лет удавился...

Идут и идут люди: с гармошками, с магнитофонами, в сумках — выпивка и харчи. Плетутся за хозяевами и собаки — то-то на погосте будет потеха...

В свой час служба заканчивается, и я отправляюсь домой. Село — словно вымерло: ни души... Солнышко греет почти по-летнему. Снег давно сошел, прорезывается кое-где из стылой еще земли первая травка, а по обочинам дороги, где зимой пилили дрова, подсыхают рыжие опилки.

Обгоняет легковая машина, переполненная веселыми, пьяными людьми: помянули родню на одном кладбище, теперь едут на другое, чтобы, стало быть, и остальных предков вниманием не обделить.

Двое пьяненьких, до нитки вымокших мужичков бредут навстречу:

— Отец, горе у нас!.. Друг утонул... Пировали на берегу, а он говорит: «Топиться хочу», — и в реку...

Ну, мы — за ним: мол, у нас еще и выпивка есть, и закуска... «Ладно, — говорит, — давай допьем». Вернулся, допили, а он опять в реку — шел, шел и утоп... Мы поискали маленько, ныряли даже, да разве найдешь — течение, вода мутная... И холодно — жуть... В общем, идем большую сетку искать: перегородим реку — когда-никогда всплывет, поймается... И это: с праздником тебя, отец, с Троицей!..

У крыльца, потягиваясь, встречает меня кот Барсик, разомлевший от долгожданного солнца. В почтовом ящике — толстый пакет из епархиального управления. Вскрываю: «Христос воскресе!» — поздравление... с Пасхой. В сознании что-то мешается: вспоминаю красное облачение, куличи, крестный ход по сугробам — аккурат семь недель прошло... «Воистину воскресе», — машинально отвечаю я...

И кажется, что здоров среди нас один лишь Барсик.



Поминки

Схоронили молодого парнишку — перевернулся на тракторе: пьян был, понятное дело. Сидим за столом, поминаем: безутешные родители, двое братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить.

У меня за три дня — четвертые похороны, домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню — километров за восемьдесят. Только отъехали — в лесу поперек дороги машина: «Нам батюшку!» Тоже отпевать, и тоже добираться километров восемьдесят, но — в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища срочно увезли в районный центр — и опять погребение... Там же я узнал, что попавший в аварию тракторист — младший брат нашего

следователя — умер в больнице и что меня вернут сюда сразу после третьих похорон. Да еще, пока на первых похоронах народ с механиком прощался, окрестил его сына, освятил дом. И сегодня, здесь уже, после отпевания тракториста окрестил тяжко болящего младенца...

Спал я эти ночи кое-как — по чужим углам, под рыданья и прощальные хлопоты, устал, но напряжение не отпускает: сижу за столом, машинально слушаю разговоры, а сам жду, что вот-вот откроется дверь и кто-то скажет: «Батюшка, отпеть бы надобно!»

А следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним:

— Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького: он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает...

Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя:

— Тебе сколько до пенсии?

— Полтора года еще, а чего?

— Хочется на заслуженный отдых?

— Конечно.

— Зайди завтра к нашему психиатру — вот тебе и вторая группа.

— Не, я серьезно, — не унимается следователь. — Из-за меня опаснейшего бандита и упустили, а он теперь депутатом стал, теперь уж его никак не возьмешь... И много раз уже было: пригляжусь, а людишки — на ладони помещаются. Что это за таинственное явление?..

— Шизофрения, — доходчиво объясняет хирург.

— Как вы считаете, батюшка, — спрашивает самый младший из братьев, тоже тракторист и тоже,

похоже, пьяница, — можно ли его держать на такой должности?..

Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи: ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир. Я был здесь в тот день: помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть буксирный трос: мужики были пьяны, то и дело промахивались, один из них даже вывалился из лодки, но, по счастью, сумел вскарабкаться на капот — только тогда им удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал на горячей печи...

— А чернехонек стал! — изумленно восклицает хозяин дома. — Его, паря, и открывать не стали. Но я зашел... по-соседски... и все, паря, видел: чернехонек — натурально негр!.. Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл — ну, паря, веселые похороны были! — он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры.

— Бы-ы-ва-ли дни ве-э-се-э-лы-е, — в соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщины урезонивают его, и он затихает.

Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, на сколько нынче промерзла земля: семьдесят сантиметров или всего шестьдесят пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты.

— Товарищ поп! — это наверняка ветеран колхозного строительства. — Вас просят местные гражданочки...

На крыльце бабушки — исповедоваться. Облачаюсь, читаю молитвы... Из дома вылетают двое рассорившихся копателей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим — одного на улицу, другого обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию...

Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера, и в это время к избе подкатывает почтовый фургон: «Батюшка, отпеть бы надобно!» В сельце, километров за сорок, умер начальник почты, завтра похороны, не соглашусь ли я? Как не согласиться: мы отказываться не вправе. Только чтобы к вечеру обязательно привезли домой: послезавтра богослужение...

По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и наконец решительно спрашивает меня:

— Отчего на наше село нынче такая напасть — каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном — мужики? Полсела, почитай, — одни вдовы с ребятишками и остались... Старухи говорят: прямо как в сорок пятом... Может, нам — того... «сделано»?..

Так теперь спрашивают меня в каждой деревне...

Мусульманин



Как-то, после службы на одном из отдаленных приходов, все никак не могли найти транспорт, чтобы отправить меня домой. Там, впрочем, частенько такая незадача бывала: ехать надо восемьдесят километров, по бездорожью, богослужения же выпадали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах.

Сидел, сидел я на паперти, притомился и решил погулять. Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора, среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами, заметил я несколько позеленевших черепов... Беда! Здесь так по всем кладбищам: если при рытье новой могилы попадаются кости, их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал: это косточки ваших предков — быть может, деда, бабки, прабабки... Смотрят с недоумением: ну и что, мол? Полежали — и хватит... Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном циркуляре: «Степень духовного одичания нашего народа невероятна»...

Обхожу храм, глядь — а внизу, у речки, грузовик и какие-то люди. Спустился: трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно, работает только один: машет кувалдой, загоняет в бревна железные скобы, а двое стоят — руки в карманы, гимнастерки порасстегнуты, в зубах сигареты...

— Здравствуйте, — говорю, — доблестные воины.

Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду, подбежал ко мне и склонился, вроде как под благословение, разве что ладошки вместе сложил. Ну, думаю, из новообращенных. Благословил его, он и к руке моей приложился. А потом оборачивается к двоим:

— Русский мулла!

Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем двоим все объясняет, что я — русский мулла, и, похоже, ждет от них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни сигарет из зубов — так и стоят расхристанные, то есть с раскрытыми нательными крестами.

Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже доводилось сталкиваться в районной администрации: все соотечественники и соотечественницы на мои приветствия отвечали испуганными кивками и прятались по кабинетам, и лишь узбек, волею неведомых обстоятельств ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил, чтобы «моя» простил людей, которые «совсем Бога забыл, один материальный пилосопия знает».

Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек освоил отсутствующий в его наречии звук «ф», а то все было «геопизика» да «пиззарядка»...

Этот солдатик оказался татарином. Он тотчас вызвался меня подбросить, тем более что ехать

им было почти по пути, вот только оставалось забить пару десятков скоб... Я хотел уже взять вторую кувалду, лежавшую на траве, но тут в единоверцах моих что-то дрогнуло: отстранив и меня, и татарина, они в несколько минут завершили мостостроительство...

Спустя год татарин этот встретился мне на похоронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслужил, женился на местной девушке и увез ее к себе на родину. Рассказал еще, что помогает мулле строить мечеть, а старшие братья — безбожники — запрещают. И вдруг спрашивает, кого ему слушаться: братьев или муллу?

— Часто ли, — говорю, — ходишь помогать?

— Раз в месяц.

— Попробуй ходить раз в неделю.

Обрадовался.

А еще через год, приехав летом, он сам разыскал меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска по всем сложным вопросам обращаться к русскому батюшке.

На крыльце



Конец августа. Тихий, солнечный, по-осеннему прохладный день. Ни слепней, ни комаров, ни мух — только паутинки летают.

После службы мы со старым знакомым — настоятелем небольшого монастыря, приехавшим меня навестить, ходили по грибы. На обратном пути заглянули в магазин — купить хлеба, а там обеденный перерыв. Сели на крылечко — ждем, отдыхаем.

Подошел хромой мужичок — инвалид военного времени. Поздоровался, примостился рядом на истертых досках. Потом по дороге из школы привернул учитель математики — молодой человек одинокого образа жизни. Сидим, молчим. Тишина.

Где-то вдалеке слабо затарахтел мотор. Громче, громче... Появляется мотоцикл с коляской. Веселый электрик, приветствуя, машет рукой. За спиной у него какая-то женщина, в коляске — удочки.

— Это приезжая, — говорит хромой, щурясь от папиросного дыма, — отпускница.

— Она, по слухам, легкого поведения, — тревожится преподаватель.

— А для такого дела — особо тяжелого и не надо, — заключает хромой.

И опять тишина.

По пыльной обочине бежит Барсик, тащит в зубах котенка. Увидев меня, останавливается, бросает котенка и мяукает неприятным голосом.

— Ну и чем мы его кормить будем? — спрашиваю я.

Барсик снова мяукает, подбирает котенка и бежит дальше.

— Что это он? — изумляется архимандрит.

— Да Нелькина кошечка от него родила, — объясняет хромой, — а Нелька — и сама шалопутная, и кошчонка ее, видать... Доверия к ним нет, он и забирает детишек на хозяйский кошт...

— А как кормить-то? — недоумевает архимандрит. — Котенок-то еще совсем маленький, грудной, наверное...

— Да никак, — отвечаю. — На какой-нибудь попутке отправим назад. Он их приносит каждый день, я каждый день возвращаю...

— Вот скажите, — вскидывается вдруг хромой, — как это вы в религию ударились?

— Да мы вроде и не ударялись, — надоел мне этот безответный вопрос.

Но отец архимандрит — богослов вдумчивый и обстоятельный, а кроме того, в своем малолюдном монастыре от общения не переутомился.

— Господь каждому дарит веру, а мы отказываемся, как капризный ребенок, которому подносят ложку ко рту. Один раз смири упрямство, прими дар — и тебе откроется истина...

— Идеалистическая, — иронично вставляет учитель, — а мир — материален.

— Полагать, что существует только то, что можно пощупать, — и есть идеализм, — чеканит

архимандрит. — Вера — это реализм. Она включает в себя представление о мире видимом и о мире невидимом. А истина — вообще одна: «Аз есмь путь, и истина, и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос...

Это пространное заявление надолго погружает всех в состояние глубокой задумчивости. Мы смотрим в беспредельную даль неба, испещренную белыми полосами самолетных следов: над нами проходит воздушная трасса из Европы к Тихому океану. Когда-то мне довелось пролететь по этому пути: я видел из поднебесья речку, шоссе, свою деревню...

— А вот у меня еще вопрос, — снова учитель. — Вы говорите, что истина одна — Христос, а при этом христиане разделены на православных, католиков и так далее?..

— Это просто, — с готовностью отвечает архимандрит. — Те, кто остался при Кресте на Голгофе, называются православными. Некоторые решили, что не обязательно находиться на самой горе, когда под нею богатый еврейский город: спустились вниз, в харчевню, и оттуда смотрят на Крест. Это — католики. Другие вообще пошли в услужение торговцам и ростовщикам. Это, стало быть, протестанты...

— А, к примеру, свидетелей Иеговы где разместите?

— На ступеньках синагоги. Да они и вышли из ее дверей.

— Пусть так, а разногласия между самими православными по поводу календаря?

— Ну, кой-кто не выдержал долгого стояния у Креста и отступил на шажок-другой. А сербы и мы — остались. Заметьте: сербы и мы... Лишь наши Церкви отказались менять календарь, да и вообще сохранили в неприкосновенности заветы, переданные

апостолами от Самого Христа. И это — главное. То есть дело не столько в цифрах и астрономии, сколько в преданности Христу. Так что, молодой человек, понятно вам, кого больше всех должны ненавидеть и те, кто убил Его, и те, кто сошел с Голгофы?..

Учитель хочет еще что-нибудь возразить, но хромому непонятности надоели, и он круто меняет ход разговора:

— Не знаю, дадут или не дадут пять буханок?

— А на кой вам столько? — спрашивает учитель.

— Как «на кой»? Для поросенка! — удивляется его несообразительности хромой.

— А-а, — кивает учитель, — ну конечно, для поросенка. Я тут как-то подсчитал, во что обходится вам центнер дрянного сала, произведенного из хлеба и молока: вышло, что можно на эти деньги съездить в Питер или в Москву, купить тот же центнер самых лучших копченостей да еще Третьяковскую галерею или Эрмитаж посмотреть. Я уж не говорю о затратах труда: каждое утро в пять вставать, готовить пойло, кормить, убирать хлев — это у вас никогда в счет не шло, вы себя, наверное, и за людей не считаете...

Хромой обиженно отворачивается и закуривает.

— Фантастические люди! — продолжает наш математик. — Никто из них сроду не пробовал молодой картошки: до сентября едят старую...

— Ну дак она еще растет, вес набавляет, — обиженно поясняет хромой.

— Вот-вот, — подхватывает учитель,— «вес набавляет»... Я завез сюда кабачки — хорошо растут почему-то, — так народ спрашивает меня, как я ем кабачки, если об них и бензопила зубья ломает? Говорю, не ждите, пока с газовый баллон вырастет, а мне в ответ: «Они же еще растут, вес набавляют»... Так и не едят:

вырастят и — на семена, на следующий год снова вырастят — и снова на семена. Зачем?..

Никто из нас не может ответить.

— Хоть чем-нибудь интересовались бы, — обиженно продолжает учитель. — Я на уроке деткам рассказываю о полярных сияниях, которые зимой тут частенько бывают, а они даже не знают, что это такое. Родителей на собрании попросил выйти с детьми из дому — посмотреть, а мне отвечают: некогда — вечерами многосерийные фильмы...

— А чего оно есть — сияние это? — поинтересовался хромой.

— Ну вот, видите? — учитель горестно указал на него рукою.

— Не, ну чего — сполохи, что ли?

— Сполохи, сполохи, — успокоил я старика.

— А-а... Ну это, говорят, бывает... Правда, сам я ни разу не видел — врать не буду.

— Вот, — победно восклицает учитель. — А то еще по лесным опушкам — горы валунов: это ведь от древних цивилизаций, как в Шотландии...

— Это — от трактористов, — растерянно возражает хромой. — Они каждый год камни с полей вывозят...

— Точно? — учитель краснеет.

— Точно, — вынужден подтвердить я.

— Да ты не кипятись, — успокаивает его архимандрит, — все будет нормально...

Наконец является продавщица. Покупаем хлеб, выпрашиваем пять буханок хромому и расходимся.

Барсик вылизывает чуть живого котенка, лежащего у закрытой двери, и взглядывает на меня. В который раз начинаю втолковывать ему, что мы не сможем выкормить его чадо, а Мурка эта, какой бы беззаботной она ни была, все-таки мамаша и имеет возможность

для прокормления таких мелких детишек. Останавливаю проезжающий мотоцикл: электрик говорит, что вода высокая, клева нет, но, судя по его смущенному виду, отпускница оказалась совсем не легкого поведения. И сидит она теперь не за спиной у него, а в коляске, с удочками, чтобы, стало быть, даже и не касаться ухажера. Вручаю ей котенка и прошу электрика поскорее свезти доходягу домой. Они уезжают. Барсик долго нюхает след мотоциклетных колес, а я смотрю на него и думаю: неужели опять побежит в село за котятами? Но нет: вернулся во двор.

— Не иначе, убедил ты его, — оценивающе произносит архимандрит.

И мы отправляемся жарить грибы.

Соборование



Уговорили меня военные лететь за шестьсот верст в таежное зимовье, чтобы причастить и пособоровать тяжко болящего. Случай, конечно, исключительный, и я сам сразу не мог понять, какое отношение имеют офицеры нашей дорожно-строительной части — к промысловику, затерявшемуся на одном из притоков далекой реки, и каким боком ко всему этому касателен я. Выяснилось, что кто-то из командиров некогда побывал в тех краях на рыбалке, познакомился с охотником, а потом к нему летали и за красной рыбой, и за пушниной, из которой шили шапки и воротники своим женам. Мое же касательство объяснялось тем, что таежный человек этот был верующим и, заболев, стал требовать батюшку, а ближайшим из батюшек, как ни прикидывали, оказывался я. То есть, измеряя по карте, можно было отыскать священника и поближе, но доставить его к болящему — никакой возможности не было. А через наш район проходила нитка газопровода, тянувшаяся как раз из тех диких мест, и вдоль нее регулярно летали патрульные вертолеты. По всему выходило — надо лететь.

Рано утром, затемно еще, отвезли меня из деревни в аэропорт. Гляжу — стоит среди заснеженного поля Ан-2 на широких лыжах. Говорят, что все, мол, очень здорово получается: на перекладных вертолетах лететь было бы долго, а этот борт (все бывалые люди говорят именно борт, а не самолет) доставит меня вместе с каким-то оборудованием в далекий город, откуда до зимовья рукой подать. К тому же, говорят, борт этот — аж из самой Москвы и, стало быть, пилоты — мои земляки.

Взлетели. Сначала я все посматривал в окошко, угадывая знакомые деревни, потом пошли сплошные леса... Вспугнули стадо лосей. Они бросились прямиком через речку: лед проломился, однако лоси легко выбрались на другой берег и успокоились — мы уже пролетели над ними. Потом я задремал. Проснулся от крика: пилоты что-то громко кричали друг другу, ударили по рукам — наверное, спорили. В другой раз проснулся без всякого повода, посмотрел за окошко: опять гоним лосей — тех же самых, через ту же речку, но в обратную сторону. Пока я соображаю, по какой причине мы могли совершить столь неожиданный маневр, внизу открывается барачный ансамбль знакомого мне поселка. Ан-2 садится между двумя рядами воткнутых в снег сосенок, обозначающих взлетно-посадочную полосу, и скользит прямо к избушке диспетчера.

Когда шум двигателя затихает, второй пилот выбирается из кабины.

— Вот, батя, — говорит он, потягиваясь, — в этот край таежный только самолетом можно долететь...

— Можно, — соглашаюсь. — Но в этот край можно еще на машине: от моей деревни — два часа. Да и на велосипеде — за день вполне можно добраться. Если, конечно, ни к кому в гости не заезжать...

— Извини, отец! — это первый пилот. — Мы тут поспорили из-за встречного: Ан-2 или Як-12? Подлетели — конечно, Ан-2... Ну и с дороги немного сбились — не местные ведь... Сейчас быстренько подзаправимся и — дальше...

Однако подзаправиться нам не удалось — горючего не было, и машину за ним собирались отправлять только на следующий день.

Разместились в ветхом деревянном домишке, над входом в который кто-то написал мелом «Hotel» и пририсовал пять звездочек.

Первый пилот пошел заниматься самолетом — Ан-2 следовало закрепить, чтобы не унесло ветром. Второй, как самый молодой, побежал в поселок за продуктами, а мне выпало топить печь. Готовых дровишек не было: диспетчер дал бензопилу и показал остатки бревенчатого сарая, определенного под топливные нужды. Две стены древнего сооружения были уже почти полностью выпилены нашими предшественниками, частично пострадала и третья стена, но крыша отчего-то сохраняла свое правильное положение в пространстве.

Диспетчер смотрел на крышу с мрачной настороженностью и, похоже, видел в ней что-то мистическое.

— Всё падает, а она — не падает, — сказал он тихо, словно боясь потревожить ее, и растерянно оборотился ко мне.

— Ничего, когда-нибудь и она упадет, — успокоил я диспетчера.

Но и после нового ущерба, нанесенного третьей стене, крыша не развалилась. Конечно, и древесина прежняя была хороша, и плотники прежде посмекалистее нынешних были, однако, несмотря на все



это, перед Ньютоном становилось крайне неловко: ну действительно — всё падает, а она не падает...

Избушка была так выстужена, что толком прогреть ее не удалось: спать легли в верхней одежде и даже в шапках. Дымоход не перекрывали: дважды за ночь я вставал, подкладывал дровишек, и к рассвету мы смогли снять ушанки.

А утром прилетел вертолет, и на борту его был тот самый охотник. Вертолетчики рассказали, как им «случайно» удалось узнать, что старик совсем плох, и они прихватили его, чтобы доставить в больницу — в свою, ведомственную, находившуюся как раз в том самом поселке при газокомпрессорной станции, куда «по случайности» попали мы. И «случайно» начальству срочно потребовалось направить вертолет именно в эту точку, и «случайно» в больнице дежурил именно тот врач, который бывал у старика на рыбалке, знал его хвори... Тут, помнится, все они заметили, что «случайностей» для одного раза неправдоподобно много, и смущенно затихли.

Потом старика перенесли из промозглого вертолета в избушку. Он был очень слаб, однако на исповедь и причащение сил хватило. Во время соборования сознание стало угасать, и когда диспетчер, не дозвонившись до спящей больницы, направился за дежурным доктором, я предупредил, что врач может уже и не приходить, но медицинское заключение пусть выпишет. А мне пора было читать канон на разлучение души от тела.

Врач пришел. С готовым медицинским заключением, но пришел.

— Удостовериться, — словно извиняясь, объяснил он мне.

Мог не объяснять: «удостоверение» в виде медицинской бутылки с делениями до пятисот граммов торчало из кармана старенького пальто.

— Что ж, — говорю, — доктор, у вас пробочка-то резиновая? — и указываю на сосуд. — Она своим запахом весь напиток может испортить.

— Не извольте беспокоиться: пробочка завернута в полиэтилен, да и вообще, я только что из емкости

перелил — все предусмотрено, — и достает из другого кармана стопку мензурок. — Помянем?..

Но прежде чем помянуть, мы еще скинемся и отправим доктора за столярным изделием, придет больничная нянечка и обмоет усопшего, в свой черед совершится чин отпевания, и диспетчер сбегает к пожарному щиту за горсткой песка, которому суждено будет стать погребальной земелькой...

Вот тогда и помянем старого промысловика: диспетчер, доктор, столяр, нянечка, я и четыре пилота. Потом приползет МАЗ с многотонной цистерной — ему ехать на нефтебазу как раз мимо моего дома. Прощаясь, пилоты поинтересуются насчет нагромождения «случайностей», и я, поторапливаемый сигналами автомобиля, отвечу им на ходу, что ничего случайного не бывает, ну а когда дела наши восходят к сферам небесным, то события начинают развиваться и вовсе с неотвратимостью падающего парового молота... И в этот момент крыша сарая рухнула.

— Все ж таки упала, — растерянно прошептал диспетчер, глядя на оседающее облако снежной пыли.

Я попросил доктора сильно не увлекать пилотов «удостоверением», потому что когда-никогда горючее привезут и надо будет лететь...

— Все продумано, — заверял меня доктор.

— Так что же в нем небесного — в мужичке этом? — не унимался один из летчиков.

— Душа, — отвечал я, стараясь перекричать хриплое рокотание бензовоза, к которому мы приближались — и я, и провожавшая меня кавалькада.

Летчик непонимающе пожал плечами.

— Знаешь, сколько она стоит?

— Так разве ж у нее может быть стоимость? — усмехнулся пилот.

— «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?» — сказал Господь... Она дороже, чем весь мир, понимаешь?..

— Его душа? — переспросил он, кивая в сторону домика, где мы оставили охотника.

Водитель МАЗа, перегнувшись через сиденье, нетерпеливо приоткрыл дверцу кабины.

— И его, и твоя, и моя, — прокричал я, забираясь в кабину.

— Ты уж, отец, извини, — досадливо сказал водитель, когда мы тронулись, — я бы, конечно, подождал, но Гранька — ну, которая горючку отпускает, — такая змея: если до трех часов не успеешь бочку залить, пиши пропало: то обед у нее, то учет, то еще дребедень какая-нибудь...

Крест



Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали, Кто здесь Хозяин. При этом события, совершающиеся с нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение... Могут, впрочем, и не иметь...

В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель несколько разогнал автобус, чтобы с ходу преодолеть препятствие, однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор заглох. Мы и не знали еще, какая долгая череда испытаний и потрясений ожидает всех нас...

Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших водителю угадывать направление движения, вышли, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в сугробе — занесенная снегом легковая машина, а в машине — женщина. Женщину поначалу даже посчитали

невозвратно замерзшей, но она была жива и, оттаяв в теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в деревню за трактором, и было это уже очень давно, так что горючее в машине кончилось и печка перестала работать.

Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее легковушку, однако женщина устало отвечала, что не мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы согреться.

Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на будущее, и получалось, что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодолевали их четыре часа. Посреди пути возник волк: мы сбились в кучку, чтобы он не смог напасть на кого-нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в замешательство — тот сделал несколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег... Потом, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, ходивший в деревню: никакого трактора он, конечно, не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было куда страшнее, чем нам: против нас — «волк»-одиночка, а против него — орава непомерной численности...

Перед выходом в фаталистическое путешествие мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с разногласиями. У водителя получалось тридцать четыре, но он, из скромности что ли, забывал сосчитать себя. Двое городских мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаивали на цифре тридцать, но они были столь близоруки, что

не вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька — электрик из нашего колхоза — досчитывал и до сорока, однако он находился в подпитии и оттого мог страдать склонностью к преувеличениям... Сошлись на тридцати пяти. Завидев такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца. Но выжил и стал тридцать шестым.

Все остальные мытарства этого вынужденного подвижничества были тягостно однообразны: пробиваясь через снежные гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совершенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и заставляли идти дальше. Да еще, известное дело, человек в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность и легко обмораживается. А тут как раз: в рукавицах — снег, в ботинках — снег, лицо — залеплено снегом...

В конце концов добрались. Разбудили незнакомую деревню и стали размещаться на постой. Мне выпало — с длинным электриком и двумя кандидатами. Хозяйка — коренастая женщина лет шестидесяти пяти — суетилась, разогревая чай, какую-то еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости в сени, она спросила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил особое мнение: «Мы с батюшкой в такое время не пьем, а те двое, — он указал на дверь, за которую ушли кандидаты, — вот они — очень уважают. Но, сама понимаешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут из себя строить: мол, не пьем, и в таком роде — не тушуйся, наливай. Ну а я... так, маленько, чтобы гостей уважить». Ни про этих людей, ни про их отношения с электриком мне не было известно совсем ничего, и потому я не обратил ровным счетом



никакого внимания на происходящее. А напрасно, потому что затевалась диверсия.

Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за стол, перед каждым уже стоял граненый стакан, до краев наполненный водкой. С одного из ученых натурально упали очки: хорошо еще, что он сумел на лету подхватить их. На все, довольно искренние, отказы хозяйка только посмеивалась. И они сдались. По тому, как они держали стаканы — двумя пальцами, как с отвращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне представилось, что дело это для них не сильно привычное. Но выпили. И в один миг их развезло.

Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой о здоровье переохладившихся

людей, но, похоже, любознательности в нем было куда больше, чем милосердия. И надо отметить, страсть естествоиспытателя вскорости получила совершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфологами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились во множестве. Тут мой электрик и подхватился: «Этого барахла — во!» — и провел ребром ладони по горлу. Пьянехонькие кандидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах объектов, о зеленом веществе... «Зеленого вещества — во! — и снова ладонью по горлу. — У нас есть одна откормочная ферма, она на отшибе, на хуторах, дак там этого добра», — и махнул рукой. Я было заметил, что прошлой весной «вещество» упустили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии, электрик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен, и я пересел на диванчик, подремать. Предварительно еще запретил электрику произносить слово «уфология», из которого у него всякий раз получалось невесть что.

Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы: кандидаты, расспрашивавшие о «полтергейстах» и «барабашках», узнали, что «все это — обыкновенные домовые, и батюшка их кропилом гоняет: молитовки прочтет, покропит святою водою, и всякая муть исчезает». Далее он заявил, что мы с ним несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты возражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно измерить, а «свет религиозный» они измерить не могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет.

Тут на улице затарахтели трактора, хозяйка пришла топить печь, и мы поняли, что надобно собираться. И вот, когда мы напяливали на себя ботинки, куртки и шапки — всё еще влажное, непросохшее, обнаружилось, что для меня в этой утомительной эпопее таилось особое предназначение. Здесь, впрочем, придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и тракторов.

Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое существо — мать хозяйки, старуха девяноста с лишним годов, прикованная к постели параличом. Она попросилась поисповедоваться, а когда Таинство благополучно совершилось, передала мне завернутый в ветхую бумажонку наперсный крест. Это был обыкновенный видом священнический крест с традиционною надписью на обороте: «Образ буди верным: словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» — из Первого послания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение царской короны и монограмма Николая Второго. То есть обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы царствования последнего русского императора, а все действующее духовенство той поры, известное дело, было перебито или умучено... Старуха рассказала, что когда-то в достопамятные времена через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей крест с наказом: передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти шестьдесят лет она хранила сокровище втайне от всех, а главное от мужа — председателя колхоза...

Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные пристяжные, воротили головы — каждый на свою сторону.

— А вы, батюшка, видели когда-нибудь «барабашку»? — заинтересовались ученые люди.

Я отвечал, что не видел.

— Он этой нечисти зреть не в состоянии, — объяснил электрик и вздохнул. — Разве ж он пьет? А вот ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может увидеть... У нас их, почитай, всякий видывал. Да я и сам насмотрелся, чего там: зеленые, вонючие, с рогами, хвостами, копытами...

— А НЛО — наблюдали? — не унимались «пристяжные».

Но я и этого сроду не наблюдал.

— А если увидите, что станете делать?

— Перекрещу, наверное.

— И чего тогда?

— А то, что оно сгинет! — победно воскликнул электрик.

— А вдруг не сгинет?

— Значит, — говорю, — плохи мои дела... Да и ваши — тоже...

На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно добрались до автобуса, автобус — до конечной своей остановки.

Крест безвестного мученика и доныне охраняет меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню... А на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов полуистлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту текст был прочитан.

«Готовьтесь, — писал мой предшественник, ожидавший ареста. — Вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи!»

Земля и небо



Весной из далекого северного города привезли огромный металлический крест для увенчания храма. Вообще-то в городе том раньше строили подводные лодки, но после того как всякое полезное созидание прекратилось, подводных дел мастера были рады изготовить хоть что. Вот и крест для Божьего храма соорудили из долговечного сплава. Конечно, лучше бы они лодки свои клепали — с крестом мы, пожалуй, и сами управились бы. Без секретных технологий... Но что говорить об этом, когда народ Отечества нашего выбрал себе в правители своих же наипервейших врагов?.. Словом, они нам — крест для моления, мы им — корову для пропитания.

И вот в теплый, почти жаркий весенний день, когда на пригорках вовсю зазеленела трава — пышная, яркая, не примятая ни зноем, ни ветрами, ни ливнями и даже не тронутая пылью, совершили мы молебен перед крестом, стоявшим еще на земле: в основании креста располагался широкий металлический барабан, так что все сооружение было вполне устойчиво. Потом я окропил конструкцию святою водой

и благословил крановщика на богоугодное действие. Тут и произошло между некоторыми первое взаимонепонимание.

Надо сказать, что народу собралось число значительное. Во-первых, конечно, событие это — водружение креста — само по себе торжественно и не лишено некоей тайны, что в глазах общества особо подчеркивалось прибытием единственного в районе автокрана с выдвижною стрелою. Во-вторых, день был воскресный, перед молебном вершилось богослужение, и благочестивые прихожане, собравшиеся со всей округи, не расходились. Да к ним еще присоединились разные досужие земляки, благочестием не обремененные, среди которых и случилось недоразумение: отталкивая друг друга, они взялись цеплять крест стропами подъемного троса, и каждый кричал, что только он знает, как правильно, а остальные — не знают, и слышалось лишь: «Да я на станции целое лето стропалил»; «Да на станциях не стропали, а халтурщики, вот на стройке — другое дело: я, когда ферму строили...»; «Да у нас в леспромхозе...» Горячечное усердие их было вызвано вовсе не благоговейным желанием послужить Богу и людям, а проницательностью по поводу безразмерного портфеля, стоявшего возле ног церковного старосты. Староста любил похвастаться реликвией, будто бы подаренной ему на каком-то курорте неким академиком: «Бывает, паря, портфель профессорский — тот на двенадцать бутылок, а этот, паря, — академический — аж на двадцать четыре». Похоже, сейчас в нем столько и притеснялось.

Самых рьяных пришлось разогнать. Крановщик сам зацепил крест, вернулся в кабину, и подъем начался.

А когда завершился, выяснилось, что до основания купола – до того карниза, где стояли добровольцы из благочестивых, – остается не меньше метра. Староста изумился:

– Дак я же все промерил: даже насыпь бульдозером сделали, чтобы кран дотянулся... У тебя стрела – двенадцать метров? – спросил он крановщика, выбравшегося из кабины.

– Двенадцать, – задумчиво отвечал тот, сняв кепку и почесывая затылок.

– Дак в чем же дело?

– В том, что одиннадцать.

– Это – как?.. – обомлел староста.

– А так, что она – погнутая и метр недобирает.

– С чего это она погнутая? Раньше была не погнутая, а теперь – погнутая?

– Раньше – да, не погнутая, а теперь – погнутая.

– Это с чего еще, паря?

– А погнулась...

Все стали думать... И предлагать планы. Сошлись на том, что крест придется вытягивать на купол вручную. Опустили его на землю, обвязали крепкой веревкой, конец веревки вручили неблагочестивым, которых и отправили к небожителям на подмогу. Те по лестнице взобрались, кран снова поднял свою ношу, и общими усилиями мужики затащили крест на вершину купола. Народ возликовал и радостный стал расходиться по хозяйственным надобностям. Взбалмошные помощники, спустившись, затребовали «высотных», староста без возражений полез в портфельные закрома и наградил тружеников, как мне показалось, излишне щедро, что предвещало новые искушения. Так и случилось.

Пока мы указывали небожителям, как развернуть крест, чтобы он глядел на нас точно с востока, пока

они закрепляли его четырьмя растяжками, неблагочестивые поусердствовали, и вскоре один «высотник» натурально приполз к дороге. Молоденький работяга из того северного городка, прибывший с крестом, чтобы поменять его на корову, доселе стоял где-то в сторонке, а тут вдруг подошел к старосте и тронул его за локоть:

— А куда он ползет? — и указал на пластуна, достигшего к этому времени середины пыльной дороги.

Староста оторвал очи от сияющего креста, глянул на гостя, потом на дорогу и, махнув рукой в направлении движения, сказал:

— Туда, — и снова уставился в небеса.

— А зачем? — недоумевал работяга.

— Ну, может, у него дела там, — задумчиво отвечал староста, не отводя глаз от работы, творившейся на верхотуре.

Наконец все необходимые действия были завершены, и благочестивые тоже получили свою награду. А с ними и крановщик, у которого «двенадцать, потому что одиннадцать».

Тут вновь подошел непонятливый работяга:

— Он ползет назад.

Человек действительно полз в обратном направлении.

— Ну, может, паря, ему чего там не понравилось, — устало отвечал староста.

Работяга перешел через дорогу, заглянул в канаву и изумился:

— Канава-то полна воды — он ведь так утонуть может...

— Ну, сюда как-то переполз и обратно переползет... Должно, брод знает, — пояснил староста.

Когда человек вполз на дорогу, как раз подъехал колесный трактор. Остановившись, чтобы пропустить ползущего, тракторист не проявлял к нему ровным счетом никакого интереса и весело переговаривался о чем-то с напарником. Потом, не прекращая своей увлекательной беседы, они поехали дальше.

— Переполз! — закричал работяга, карауливший возле канавы.

— Я ж говорил тебе, — вздохнул староста.

Мы посидели на прогретом церковном крылечке, обсуждая все совершившееся, вдруг вспомнили, что сегодня еще ничего не ели, и направились к председателю колхоза, приглашавшему празднично пообедать. Шли прямиком, через луг, весело пестревший желтенькими цветочками мать-и-мачехи. Наткнулись на несчастного ползуна: он лежал упершись головою в трухлявый венец заброшенного амбара и перебирал руками, пытаясь продвигаться вперед.

— Сбился с курса, — определил староста.

Мы взяли человека под мышки, отволокли за угол и опустили на траву, сориентировав по указанию старосты:

— Во-он его дом, пущай туда и ползет.

Он и пополз себе.



Кошка

Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города: шофер, председатель и я — они ездили по своим служебным делам, я — по своим. Останавливает инспектор; водитель выходит, показывает документы, начинается разговор... Председатель пожимает плечами: «Вроде ничего не нарушали», — и мы вылезаем, чтобы поддержать водителя.

Инспектор, похоже, никаких претензий пока не предъявил: молча рассматривает наш уазик — не новый, но вполне исправный; проверяет ногтем глубину протектора на колесах, изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов, но все — в порядке... Наконец, остановившись перед машиной, говорит:

— Проверим номер двигателя.

— Ну, такого еще со мной не бывало, — говорит раздраженный шофер.

Открывает капот, и мы столбенеем от изумления: в моторе — кошка... Трехцветная — из рыжих, черных и белых лоскутов... Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле.

Мы все пережили нечто похожее на кратковременный паралич... Первым шевельнулся инспектор: молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд, исполненный презрения и глубочайшей обиды, пошел к своему автомобилю. Он смотрел на нас так, будто мы совершили злодейство или предательство...

Потом очнулся председатель колхоза:

— Кто мог засунуть ее туда?..

— Она сама, — прошептал шофер, морща лоб от мыслительного напряжения, — когда мы у магазина останавливались... наверное...

— И чего? — не понял председатель.

— Изнутри, то есть снизу, залезла погреться, — увереннее продолжил шофер, — а потом мы поехали, спрыгнуть она испугалась и пристроилась вот тут...

— Часа четыре каталась? — прикинул председатель.

— Около того, — подтвердил шофер.

Теперь наконец мы пришли в себя и рассмеялись — до всхлипываний и слез.

— Все это — не просто так, — сказал председатель, — они ведь сроду не проверяли номер двигателя, да и сейчас этот номер никому даром не нужен, и вдруг...

— Не иначе, сами силы небесные пожалели кошчонку, — предположил водитель.

— Но тогда, — задумался председатель, — и под капот ее запихнули тоже они?.. Для каких, интересно, целей?..

Кто может ответить на такой вопрос?.. Мы садимся в машину и отправляемся в дальнейший путь.

Случай этот, сколь нелепый, столь и смешной, вскоре забылся по причине своей незначительности. Однако года через два или три он получил неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом.

Привезли меня в далекую деревеньку, к тяжко болящей старушенции. Жила бедолага одна, никаких родственников поблизости не осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом два городских адреса: сына и дочери, — но, как объяснила мне фельдшерица, адреса эти то ли неправильные, то ли устарели, а бабкины дети не наблюдались в деревне уже много лет, и вообще неизвестно — живы ли они сами. Фельдшерица эта в силу своей милосердной профессии или от природной доброты христианской души, а может — и по двум этим причинам сразу, не оставляла болящей, но терпеливо ухаживала за ней.

— Как я боялась, что не успеем, — сказала фельдшерица, когда соборование завершилось. — Она ведь три дня назад умирала уже! Я — к телефону, позвонила вашей почтарке, а та говорит, что вы на дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я — звонить на тот приход, там говорят: вы только-только уехали... Ну, думаю, неужели бабулька моя помрет без покаяния? Она так хотела, так Бога молила, чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться!.. Досидела с ней до самого вечера, а потом побежала домой — надо ж хоть поесть приготовить... За коровой-то у меня сноха ходит — с коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать да и младшего — нынче в девятый класс пойдет... Наварила супу, картошки и перед сном решила снова бабульку проверить. Прихожу, а она не спит. И рассказывает: «Я, — говорит, — померла уже»... Да-да, прям так и говорит. Мол, сердце во сне очень сильно болело, а потом боль прошла и хорошо-хорошо стало... «И вдруг, — говорит, — чтой-то стало губы и нос щекотать. И тут, — говорит, — все это хорошее исчезло, и опять боль началась». Ну, она

от щекотки проснулась, а на груди у нее кошка лежит и усами своими ее щекочет: кошки, они ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка почуяла в бабкином дыхании нездоровье какое-то и принюхалась, а усами вызвала раздражение — вот бабка и проснулась. А коли проснулась — лекарство приняла. Так и выжила. Ну, я с утра машину искать, чтобы, значит, послать за вами. Никто не дает... Потом сельповских уговорила... Так что только благодаря кошке бабулечка вас и дождалась...

Выходя на крыльцо, чуть не наступил на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу: рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге. Я поинтересовался, откуда взялась эта кошечка — не приблудная ли.

— Да кто ж ее знает? — отвечала фельдшерица без интереса. — Это ж не корова, даже не поросенок: взялась — и взялась откуда-то, может, и приблудилась...

— А сколько от вас до города?

— Двести пятьдесят километров — автобус идет четыре часа...

Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали головами и не проронили ни слова.



Старшой



Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности — более свежих известий в наличии не было.

Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное: как бред, анекдот или сон. Ну действительно, мыслимое ли дело: людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать... А беда была в том, что «эти люди, остававшиеся, — как утверждал миссионер, — в семнадцатом веке», успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье. О чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку.

Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был

разоренный храм: крыша дырявая, стекол нет, пол прогнивший... Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер — погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги — от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бачке заледеневает, и, прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками: бутылки для этой цели здесь не годились — льдинки в горлышки не пролазят.

Черед восстановления прост: крыша, двери, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств недоставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то «прочий народ» стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще...

Однажды попадаю я без приглашения на похороны — в том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить: говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какой-то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке семнадцатую кафизму — псалмы, которые и подобает читать при заупокойных богослужениях, а потом

началось нечто невообразимое: по той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям... Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью.

Я поинтересовался, что все это должно означать.

— Это по-нашему, по-старинному.

Потом на кладбище другая уже бабулька вдове за шиворот ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это «по-нашему, по-старинному». После похорон «старинные» обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают.

— Гражданочки дорогие, — говорю, — где ж вы этих безумных песнопений-то понабрались?

— Что-то, — отвечают, — сами из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой.

— За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, — говорю, — старообрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней. А «молитвы» эти — суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам — даже и вообразить не могу.

— А по вашим?

— Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние.

На том и расстались.

Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. «Старинные» чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели невесть куда, и старательно выкарабкивались с помощью

исповеди и соборной, вместе с нами, молитвы на богослужениях.

Однажды явился и сам «старшой» — гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет шестидесяти. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил: видел ли я, что он крестится двумя перстами? Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом, а он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас.

— Ты, — говорю, — почему без бороды?

Он растерялся:

— При чем тут это?

— А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты, хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что, отец, тебе до старого обряда — как до луны. А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навязываешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать — за ними не задержится, они ребята суровые.

— Не из газет, а из радио, — возразил он. — Там передача такая есть — про старину древлеправославную, женщина одна рассказывает — у бабки своей научилась...

— Да знаю я эту передачу: старина там не древлеправославная, а доправославная, и женщину эту по Москве знаю...

— И что?

— А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская, не на помеле, а на «Мерседесе», но — ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутошнюю губернию...

— Все равно, — говорит, — истина у нас. И книги правильные — тоже у нас...

И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он: непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него: показывай, дескать, книги! Направились мы к его дому, остановились на крыльце: мне, как «непросвещенному», входить в дом «просвещенного» было нельзя. И выносит он книжицу: замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне, сказать правду, стало ясно: это либо Требник, либо Служебник — одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главною тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю: так и есть — Требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю.

Вот чин крещения: после погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды, — тут всегда руки мокрые, а там, где написано: «Печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, — тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна — тоже покоробленные листочки, и всюду — пахнущие медом кляксы свечного воска...

Раскрываю последнюю страничку и даю старшому:

— Читай.

— Не имею, — говорит, — прав открывать секретную тайну.



— Стало быть, по-церковнославянски ты не понимаешь?

А он заладил: тайна да тайна.

— Что ж, — говорю, — слушай: «Во славу Святыя, Единосущныя, Животворящия и Неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа...»

— Вот она и есть — главная тайна, — самодовольно перебил он.

— Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна, ты прав. Но слушай дальше: «Повелением благочестивейшаго самодержавнейшаго великаго государя нашего Императора Александра Павловича, всея России; при супруге его благочестивейшей государыне Императрице Елисавете Алексеевне...» Продолжать?

Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности.

— Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминаются: матушка его, Императрица Мария Феодоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец: «Благословением же Святейшаго Правительствующаго Синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве...»

Втолковал ему, что это — официальное церковное издание, где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами.

— Что ж ты, братец, народ дуришь?..

Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему вслед книжицу, однако общество благословило не возвращать Требник:

— Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще...

— Что же нам делать по нашему древлеправославию? — вопросило растерянное общество.

— Выберите кого-нибудь другого.

— Некого выбирать...

Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст.

Вскорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужения народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением — тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал: никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого — неинтересно было.

Переправа



В соседний район прислали священника. Однажды он вместе со своею матушкой приехал ко мне. Познакомиться.

Познакомились.

Ребята они совсем молоденькие, худющие-прехудющие, родом из отдаленных южных мест, и вот — дерзнули... Жалко их стало: и климат здешний, конечно же, не для них, и с жильем плоховато — хибарка, продуваемая ветрами, но — помоги им, Господи, — не унывали.

Засиделись мы допоздна. Видя, что хрупкая матушка едва силится удерживать головку, то и дело приклоняющуюся к плечу супруга, я предложил им укладываться спать. Они согласились, и тут, пока я готовил гостям комнату для ночлега, батюшка увидал за окном нечто необыкновенное. Надобно заметить, что дело происходило в конце октября, когда здешний день укорачивается до самой малости, а пасмурные ночи непроглядно черны. И потому, пока не выпадет хоть сколь-нибудь снегу, разобраться, где небеса, а где земля, затруднительно.

— Что это? — растерянно и даже, как почудилось мне, с трепетанием в голосе вопрошал батюшка, указывая пальцем за окно.

Я обернулся: кромешная тьма озарялась сиянием множества огоньков.

— Что это? — шепотом повторил он. — Что там находится?

— Река, — отвечал я, недоумевая по поводу невесть откуда взявшихся фонарей, среди которых были даже цветные — мигающие оранжевые. Причем все фонари двигались. И в одну сторону.

— Может быть, теплоход? — батюшка вырос в портовом городе и потому легко склонился к такому предположению. — Ваша речка в какое-нибудь море впадает?

— Ну, — говорю, — впадает... Сначала, правда, в другую речку, та — в третью, та — еще в одну, а потом уж, наверное, впадает...

— Вообще-то любая река впадает в море, — заметила матушка, которая окончила школу совсем недавно и хранила еще в памяти своей кое-что из фундаментальных знаний.

Она, конечно же, с точки зрения большой науки была совершенно права, однако речка наша, при всей пространности ширины, — глубиною не отличалась, и в сенокосную пору мужики перебредали ее, сняв штаны, а бабы — подобрав юбки. Я сообщил об этом батюшке и добавил еще, что никаких кораблей, кроме лодок-плоскодонок, тут отродясь не хаживало. Огни между тем продолжали плыть над рекой.

— А может быть, это Страшный Суд? — испуганно воскликнула матушка и прикрыла губы ладошкой.

Мы, конечно, малость угостились за ужином, но чтобы с двух рюмок клюквенной наливки — и такой

решительный вывод?.. Это было совсем неожиданно. Супруг ее стал возражать, мол, место для столь важного события не больно удачное: леса, болота, да и жителей мало — кого судить-то? Однако она раскапризничалась и потребовала ехать домой. Они вмиг собрались и укатили на стареньком «Запорожце», не то полагая, что Страшный Суд может ограничиться межой одного района, не то желая встретить его непременно в домашних условиях, как Новый год. Ну а я отправился изучать загадочное явление.

...Как любил повторять архиерей: «Всегда добавляйте на разгильдяйство». Сам он, назначая встречи, мысленно приплюсовывал к оговоренному времени пятнадцать-двадцать минут, а то и час — на это самое разгильдяйство, — и проницательность ни разу не подводила его: просители неуклонно опаздывали.

И вот, выйдя теперь на берег реки и осмыслив происходящее, я подумал, что и прозорливости многоопытного архиерея здесь не хватило бы: для возвращения четырех колхозных комбайнов с заречных нив пришлось добавлять «на разгильдяйство» два месяца. А теперь, похоже, и еще несколько часов, потому что дно, понятное дело, никто не мерил, а вода поднялась, и там, где летом был брод, под берегом образовалась неведомая прежде канава. В нее и уткнулся флагман кильватерной колонны, сверкающей всеми фарами, подфарниками и мигалками.

На пологом берегу горел жаркий костер, бродили люди.

— А мигалки-то на кой? — спрашивал инвалид военного времени.

— Чтобы предупреждать встречный транспорт, — отвечал агроном, командовавший операцией.



Инвалид осматривался по сторонам, но никакого встречного транспорта нигде не видел.

— Хоть бы батюшку попросили молитву какую прочитать, — не унимался инвалид.

— Тебя что, бессонница замучила? — сердито спросил агроном. — Приперся тут с клюкой среди ночи... Какую еще молитву?.. «Перед отправкой комбайнов в кругосветное путешествие»?..

— Зачем в кругосветное? — переспросил инвалид затихающим голосом.

Тут один из комбайнов, второй в колонне, вывернул вдруг в сторону и пополз вниз по реке.

— Я ж говорю: кругосветное, — растерянно пробормотал агроном.

И все стали кричать и махать руками, чтобы комбайнер остановил машину, потому что дальше была яма, известная всем тутошним рыбакам. Но комбайнер и сам знал про яму, однако, как потом выяснилось, ему

показалось, что колеса заносит песком, и вообще все надоело, поэтому он решил прокатиться взад-вперед по реке.

Эта суматоха продолжалась долго еще. Пригнали трактор, зацепили комбайн — трактор не справился. Пригнали второй, тоже зацепили — лопнул трос.

Не дождавшись победы, я отправился спать, но возле дома встретил молоденького батюшку, который, оказывается, поехал к трассе не по асфальту, а прямиком через поле и застрял. Побранил я себя за клюквенную наливочку и пошел выталкивать «Запорожец». Матушка, свернувшись калачиком, спала на заднем сиденье. Видать, все-таки не сильно боялась Страшного Суда...

— Может, — спрашиваю, — снесем ее в дом, и переночуете по-человечески? А трактора пойдут с речки и выдернут вашу машинку...

— Нет уж, — твердо сказал собрат, — если решили — надо действовать.

Решали-то они, а действовать, между прочим, предстояло мне... Ах, это все — за клюквенную наливочку, наверное...

Когда, вытолкав машину на твердь, я вернулся в деревню, мимо меня парадным маршем прошли два трактора и четыре комбайна: за последним волочилась по асфальту лодочка-плоскодонка, на которой, вероятно, переправлялись за реку достославные механизаторы и которую впоследствии так и забыли отвязать.

...С тех пор прошло несколько лет. Недавно я вновь повидался с молодым батюшкой: он заматерел, располнел, отпустил брюшко, именуемое в обиходе «аналоем», словом, фигура его обрела ту самую стать, по которой нашего брата узнают и на пляже. В бороде

его, сделавшейся более густой и обширной против прежнего, появилась заметная седина. «Хороню, хороню, хороню, — сказал он о главном в своем служении, — тягостное это занятие...» Да, тягостное. И не в покойниках дело: за них, бывает, и порадуешься еще, — тягостно видеть горькую скорбь живых, вмиг осознавших, что не смогут уже испросить прощения за нанесенные оскорбления и обиды. Это иногда приводит людей в такое отчаяние, в такой ужас, что, глядя на них, понимаешь истинную цену нашей обыденной несдержанности — цена эта смертоубийственна.

Матушка родила ему двоих ребятишек и ожидала третьего.

Комбайны больше из-за реки не переправлялись: с тех пор как власти начали разорять общественные хозяйства, дальние нивы пришлось побросать, и они зарастают бесполезным кустарником. Да и сами комбайны «дышат на ладан» и в редкий день выбираются за ворота старого гаража. Какие уж тут кругосветные путешествия?..

Кабаны



Купил доски, чтобы в сенях перекрыть потолок, а привезли их с пилорамы, когда я был в отъезде. Возвращаюсь домой — доски свалены у огорода. Дело между тем происходило в середине сентября — зарядили дожди. А у меня каждый день — службы или требы: домой возвращаюсь в полной темноте, и никак не доходят руки порядок навести. Наконец в один из вечеров вывесил во дворе лампу и начал таскать доски в избу на потолок, чтобы, значит, не мокнуть им более под дождем, а сушиться под крышей и ожидать своего часа.

Заодно еще растопил во дворе железную печку и поставил на нее бак с бельем — для кипячения.

И вот таскаю я доски, стираю одежду: свет в доме горит, двор освещен, печурка раскалилась и шипит от дождя, и вдруг — в полусотне метров захрюкали кабаны. «Ну, — думаю, — совсем обнаглели!» А потом вспомнил: у меня же картошка не выкопана! У всех выкопана, а у меня — нет: времени все не хватает — ночью, что ли, ее копать? Вот, стало быть, на картошку они и пришли. Ходят кругом, похрюкивают...

Поросята иногда осторожность теряют, лезут вперед, и тогда слышится сердитый охрюк — иначе не назовешь, сильный шлепок и — жалобный визг. Тем не менее звери подходили все ближе. Я принес из дома ракетницу и выстрелил в воздух: стадо припустилось к реке.

На другой день получился нечаянный выходной: где-то размыло дорогу, и машина за мной не пришла. Тут добрался я и до картошки — благо дождь перестал. Копаю-копаю, подходит к пряслу сосед. Сосед этот знаменит тем, что и по крестьянским меркам он человек жадноватый. Прошлой зимой в пору собачьих свадеб настрелял он собак. Говорил, что только бродячих, но по деревням разом исчезло несколько общеизвестных псов, оттого мужики верили ему слабо, — напротив, сомневались и подозревали. Освежевав добычу, сосед решил выделать шкуры и пришел ко мне за рецептом. Я дал ему какую-то охотничью книжку, с тем и расстались. Спустя время он заявился с жалобой и обидой: вся пушнина облезла. Раскрыл я охотничью книжку и стал пункт за пунктом проверять — так ли он делал. Оказалось, что кислоты вбухано впятеро больше нормы.

— Зачем же? — не понял я.

— Так для себя же, — объяснил знатный добытчик.

И вот теперь стоял он, облокотившись на столбушок, и покуривал папироску.

— Ты, паря, не выручил бы меня?

— А в чем дело?

Он протягивает мне газету. Выясняется, что редакция объявила конкурс и обещает миллион тому, кто угадает число подписчиков на следующий год. И сосед просит меня назвать ему счастливейшее число и обещает двести пятьдесят тысяч. Пытаюсь объяснить

бессмысленность этой затеи, но безуспешно: он мне не верит.

— А за триста?..

— Да если, — говорю, — ты и угадаешь, они всегда могут изменить это число...

— Ну, тогда ладно, — и обиженно вздыхает. — А чего ты вечером свет жег?

Рассказываю про доски, про кабанов, и вдруг он шепчет:

— Кабан...

Оборачиваюсь: по деревенской улице спокойно бредет огромнейший вепрь.

— Ничего себе — туша, — бормочет сосед. — Может, того — подстрелим?.. Мол, оберегаясь от опасности, а?.. Весной медведя-то подстрелили, который на пасеке домики поразломал?..

— Подстрелить — подстрелили, но составили акт и мясо сдали в столовую, — охлаждаю я пыл соседа. — Ты лучше сгоняй к егерю за лицензией, а потом и поохотишься со спокойной душой.

— Лицензия, паря, денег стоит, да и времени нет, я уж так как-нибудь, — и, пригнувшись, убегает к своему дому.

Я продолжаю копать. Спустя полчаса охотник возвращается.

— Чего-то, — говорю, — не было слышно выстрелов.

Сосед только машет рукой.

— Что такое?

— Я его преследовал, преследовал, смотрю — приворачивает к ферме. Думаю: со свиньями познакомиться хочет. А там ведь свинарь — его, опять же, защитить надо! Ну, паря, я аж бегом бросился! И вдруг: кабана этого собаки в ворота пропускают, а на меня набрасываются... Тут свинарь вышел и говорит: «Спасибо,

что борова нашего пригнал, а то он, гад, убег сегодня куда-то»... Так что не повезло мне...

— Да отчего ж, — говорю,— «не повезло»?.. Вот если бы подстрелил, тогда бы точно не повезло: и за кабана платить бы пришлось, и ружье бы, наверное, отняли.

— Вообще-то да, — удивленно соглашается он и вдруг замечает: — Картошки, паря, у тебя маловато.

— Мне двух мешков хватит.

— А я, паря, нынче сорок мешков собрал — девать некуда... У тебя мелкой-то много?

— Попадается.

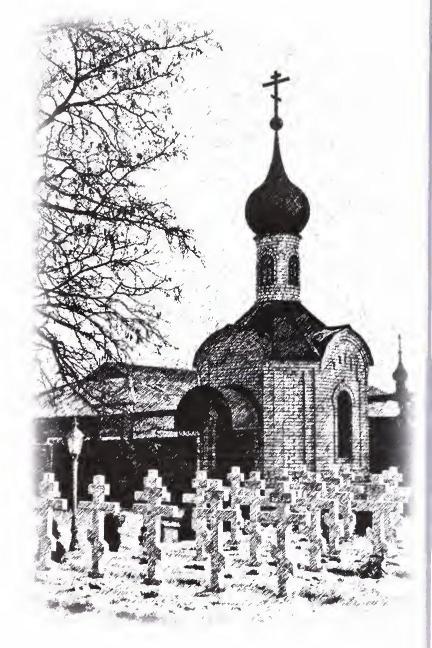
— Ты ее отдельно откладывай: я для поросенка возьму — тебе она все равно без надобности...

— Ладно, — говорю, — отложу.

— Слышь, паря, это... А за пятьсот? Хорошие, между прочим, деньги... Ну что тебе, трудно, что ли? Помолись, расспроси там, — указывает пальцем в небо, — насчет этой цифры...

Снова начинаю объяснять, но он не слушает.

— Пятьсот, — говорит, — мое последнее слово: больше — не дам, — и уходит.



Милиционер



В молодости он отработал несколько лет на северной верфи, где делали подводные лодки, однако никакой специальности не получил. Это странно: земляки, трудившиеся рядом с ним, стали кто — сварщиком, кто — электриком, кто — станочником, а он, хотя был не глупее своих деревенских собратьев, ничему не научился. Помешала ему, думается, излишне упрощенная потребительность, увлекавшая молодого человека с прямых и твердых дорог на мягкие обочины: то он помогал кладовщику, то — поварам на кухне, то трудился в пожарной охране...

Не сыскав счастья на Севере, он вернулся в родное село и стал участковым. Быть может, милиционер из него получился бы вполне сносный — благо участок наш был спокоен и тих, — но потребительность, видно, своего требовала: возжелав еще большего благолепия, он добровольно вызвался блюсти порядок на свадьбах, юбилеях и похоронах. Именно ему доверялись первые — самые важные — тосты. Встав «смирно», он разворачивал листок с анкетными данными юбиляра, покойника или молодоженов

и начинал подробно излагать сведения, почерпнутые из всяких официальных документов: аттестатов, дипломов, паспортов, трудовых и пенсионных книжек, военных билетов, добавляя сюда и почетные грамоты, полученные со школьных времен, значки, знаки, призы, вымпелы, премии и награды. Народу нравилось, и угощали участкового со щедростью. Впрочем, на свадьбах, случалось, и побивали...

Однако еще пущей жертвенности потребовало стремление охранять в День Святой Троицы благоговейное настроение кладбищенских поминальщиков. На погост он приезжал самым первым: по мере появления односельчан переходил от могилы к могиле, искренне соболезновал и поминал, поминал, поминал... Бывало, все уже разойдутся, а охранитель наш сладко спит у согретого солнцем холмика, и ничто не тревожит его сновидений. Разве какой-нибудь пес, объевшийся оставленной на могилах закуской, дружески лизнет раскрасневшееся лицо.

Начальству этакое усердие не понравилось, и участкового собирались погнать взашей, однако по причине отсутствия более достойного претендента оставили пока до поры.

Между тем ему исполнилось уже сорок лет. По зрелости своей он, безусловно, осознавал всю серьезность предъявленных обвинений и вовсе не хотел лишаться денежного довольствия. Еще более не желала этого его супруга, которая не представляла, каким еще образом благоверный сможет заработать на жизнь. И участковый понял, что спасение — в некоем настоящем милицейском поступке. Так для него началась новая историческая эпоха: эпоха подвигов.

Волею обстоятельств свидетелем первого подвига оказался я. Было это в начальные дни моего

пребывания на земле, находящейся под неусыпной опекой достославного милиционера. В нескольких километрах от деревни стоял я под высоким берегом и ловил щуку на спиннинг. И поймал. И тащил к берегу. Вдруг раздается:

— Руки вверх!

«Кто ж, — думаю, — так неудачно шутит?» Оборачиваюсь: с обрыва смотрят на меня двое — один в форме, другой — в штатском. Чуть поодаль — милицейский автомобиль.

Продолжаю крутить катушку.

— Руки вверх, или буду стрелять!

Еще раз оборачиваюсь: на меня действительно направлен пистолет милиционера.

— Погодите, — говорю, — дайте хоть рыбину вытащить.

— Предупредительный! — И пальнул в воздух.

Вытянул я щучку — хорошую: килограмма на три — три с половиной, отбросил ее вместе с удилищем подальше от воды и поднял руки: сдаюсь.

— Где вермут? — спрашивает милиционер.

Ответить на такой вопрос с ходу затруднительно, и мною овладело уныние: милиционер, его окрики, пистолет, скачущая на песке щука — все перестало представлять интерес, и захотелось вдаль, туда, где река исчезала за поворотом...

— Извините, — сказал человек в штатском, и его тихий голос вернул меня к реальности бытия, — кто-то ограбил магазин, вот — ищем...

— Есть данные, — грозно воскликнул милиционер, — что грабитель — с бородой, на ногах у него — болотные сапоги, сверху — брезентовая куртка, а уехал он на мотоцикле с коляской. Вот — борода, вот — сапоги, вот — куртка, а вот — след от мотоцикла.

Объясняю, что некий дядечка любезно вызвался показать мне хорошее щучье место и подвез на мотоцикле.

— Как зовут дядечку, вы, конечно, не знаете? — с видом победителя спрашивает милиционер.

— Не знаю.

— И мотоцикл тоже не можете описать?

— Мотоцикл желтый.

— Так это — мой брат, — тихо произнес милиционер, — и на моем мотоцикле. Он говорил мне, что подвозил отпускника...

— Только время с тобой потерял! — Человек в штатском сильно разгневался: — Надо было сразу ехать на станцию, а ты: мотоциклетный след, мотоциклетный след... Не знаешь следа собственного служебного мотоцикла?

— Знаю! — возразил милиционер. — Колясочное колесо с повреждением — вот, глядите...

— А куда ты раньше глядел? — И они скрылись. Так закончился первый подвиг.

Второй — тоже был связан с магазином. И ничего загадочного или мистического в этом совпадении нет, просто магазин — единственное у нас злачное место, способное привлечь внимание татя и злоумышленника. На сей раз события развивались несколько странным образом, нарушающим всякие представления о криминальной логике.

К концу обеденного перерыва у магазина, как водится, собрался народ, а продавщица все не приходила. Кто-то сказал, что она и с утра была нетверда в расчетах и взвешивании, а в обед — совсем размягчилась. Тут один из мужичков возмутился: мол, ей — можно, а мне — нельзя? Поковыряв гвоздиком, отомкнул висячий замок и вошел внутрь. Законопослушные

граждане его примеру благоразумно не последовали. А он, взяв с полки бутылку уважаемого напитка и буханку черного хлеба, положил на прилавок нужную сумму — без сдачи и вызвал по телефону участкового. Когда милиционер приехал, магазин был уже заперт с помощью все того же гвоздя, а правонарушитель стоял посреди лужи, раскинувшейся пред магазином: допивал напиток из горлышка и закусывал хлебом. Пока милиционер требовал сдаваться без сопротивления, народ смотрел на происходящее серьезно и даже с некоторой тревогой, но когда злоумышленник, завершив трапезу, поднял вверх руки и объявил: «Сдаюсь, берите меня», — раздались первые смешки. Дело в том, что он стоял посреди лужи в резиновых сапогах, а участковый был в полуботинках. Ну конечно, вымазался милиционер и промок, но усердия его опять не оценили: судья сказал, что это, конечно же, хулиганство, но для нарушителя дело ограничится штрафом, а в отношении продавщицы придется вынести частное определение: тут и пьянство в рабочее время и на рабочем месте, и замок, который однажды уже открывал гвоздем грабитель, похитивший ящик вермута в день первого милицейского подвига, и неисправность охранной сигнализации... Да и участковый додумался: выехал на задержание в полуботинках, а потом боялся в лужу войти. Над историей этой областное начальство и так посмеялось вволю, а теперь — по новой его веселить — судилище устраивать?.. Словом, дело замяли.

Был еще третий подвиг: обнаружение пятнадцатилитровой бутыли с брагой. Тут, казалось бы, все шло благополучно: самогонщица не отпиралась и полностью признавала свою вину, но, пока оформлялся протокол, понятые всю брагу выпили.

— Где вещественное доказательство? — испуганно спросил участковый.

— Ты же сам сказал: понюхайте и попробуйте — мы понюхали и попробовали...

На этом эпоха подвигов завершилась.

Однажды, находясь в областном центре на совещании, он купил у знакомого автоинспектора белый шарообразный шлем с цветастым гербом Отечества, в каких некогда ездили мотоциклисты почетных эскортов. Так началась эпоха белого шлема. Милиционер, казалось, не расставался с ним никогда. Поедет, скажем, за ягодами или грибами, бросит мотоцикл где-нибудь на обочине, а шлем в люльке не оставляет: так и ходит по лесу, — некоторые даже принимали его за инопланетянина с НЛО и писали о своих встречах в газету. То-то уфологов понаехало!..

Впрочем, эпоха белого шлема оказалась недолгой: милиционеру нашлась замена, и он был уволен. На юбилеи и свадьбы приглашать его сразу же перестали, но на похоронах он по-прежнему оставался желанным гостем, поскольку и самого чахлого, самого незаметного покойника умел изобразить великим подвижником и героем. На похоронах мы с бывшим милиционером иногда и встречались.

Практика научила меня оставлять поминки после двух-трех рюмок, пока не все еще позабыли смысл своего собрания. И вот ухожу я с очередной тризны, а милиционер догоняет:

— Разонравилось мне все, что я говорю.

— Чего так? — спрашиваю.

— А того, что говорю я про человека только хорошее, а думаю про него в это время только плохое. И все остальные — тоже так... Скажу я, к примеру: «За время работы в столовой награждалась почетными

грамотами», — а сам думаю: «Ну и наворовала мяса за это время — то-то в котлетах, кроме хлеба, ничего не было», — и вижу, что все так думают... Вам хорошо: «Со святыми упокой», — чтобы, я так понимаю, ее душа успокоилась с душами разных святых людей, — а до котлет или грамот нет никакого дела...

— Как же, — спрашиваю, — будем мы ее осуждать, когда у каждого из нас — свои «котлеты»?

— То-то и оно... Я вот сейчас говорил, а сам представил, что хоронят меня и кто-то перечисляет мои звания и награды — у меня есть аж три медали, юбилейные, правда, но все равно медали... И, стало быть, перечисляет, перечисляет медали, а народ думает: «Сколько ж он нашей водки выпил»... Ужас!..

— Да не огорчайтесь, — успокаиваю его. — Некому будет перечислять ваши регалии.

— Почему?

— Ну, вы ведь — умрете, а другого такого говоруна — нет...

— Батюшка! — У него даже слезы выступили. — А ведь вправду так... Это ведь... замечательно... Спасибо вам... Но вы уж меня того: «Со святыми упокой», а?..

— Разумеется. Если жив буду, конечно.

— Ну а если не жив... в том смысле, что раньше меня... я тогда тоже вас: и не перечислением, а «Со святыми»... Вы мне только какой-нибудь циркуляр оставьте... Ну, инструкцию, что читать...

И я подарил ему Псалтирь.

Райские хутора



Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула, и даже название места забылось: хутора да хутора. На самом деле не хутора, а целый куст деревень — среди полей и лугов, с бегущей понизу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся откормом телят, ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного хозяйства не стало, телята сгинули, школа закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова: зимой дорогу к ним изредка пробивали бульдозером, летом — никакая техника пройти не могла.

В первый раз я попал туда осенью — позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихидку. Заброшенность угодий и малочисленность населения, рассеянного по весьма обширным пространствам, наводили тоску. При этом хутора таили в себе столь добрую привлекательность, что вскоре я снова посетил их. А потом — еще и еще. С течением времени они все более становились похожими на самоцвет,

пусть и не драгоценный, но редкостный — точно. Однако вернемся к первому путешествию.

Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь не было.

— Вас встречают, — сказал шофер, — кавалерист и сторожевая собака.

Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией мы и отправились в путь: пройти надо было километра четыре.

Дед рассказал, что сильно болеет ногами: по деревне еще передвигается самостоятельно, а в дальние походы — только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клюквы и белых грибов, и вдруг собачка, семенившая перед нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек взлетел на вершину гнилой березы. «Куница, — определил старик. — Пойдет сейчас поверху, и собака отстанет». Но даже самые правильные предсказания иногда не сбываются: трухлявое дерево подломилось и, увлекая за собой зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница была жива, но совсем без чувств по причине контузии. Оставлять ее в таком беспомощном виде на произвол судьбы не хотелось, и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом пакете. Придя в сознание, выбралась из пакета и убежала.

Интересно, что при каждом визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе, а однажды довелось переговорить

с барсуком. Шел как-то по весенней хляби — ветер в лицо, дождь сеет, — а впереди — барсук: сидит спиною ко мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает. Из-за дождя и ветра он не расслышал меня. Стал я над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук!» Он подпрыгнул на всех четырех лапах, развернулся в воздухе и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом, зубами стрекочет... Не поднимая головы, посмотрел за один сапог — никого, за другой — тоже никого. Успокоился — и опять в лужу. Я подождал немного и еще: «Барсу-ук!» И снова он взлетел, как на пружинах. Развернулся, шлепнулся. Страшно пострекотал зубами, повыглядывал за сапоги и, не обнаружив опасности, вернулся к важному своему занятию. Мне надобно идти дальше, а он — крупный зверь — дорогу перегораживает. Я уж тогда погромче: «Ну ты что, барсук!» Не сходя с места, он глянул на меня через плечо и бросился вглубь леса.

Старуха, с которой дед и прожил свою долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие диких зверей радовало ее. «У нас — как в раю, — утверждала она, — где все живут мирно и друг друга не обижают». Я подозревал, что это — свободное толкование слов пророка Исаии о временах, когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Образ этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке. Еще она объясняла, что переход хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков: «Ни водочного, ни табачного духа не слышно у нас, оттого благодать и произрастает». Я спрашивал насчет

кабанов и волков, мол, насколько они благодатны. Выяснилось, что кабаны по осени картошку тревожат, а потом исчезают неизвестно куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом: «Раньше, когда телятник был, случалось, разбойничали, а теперь скотины нет, так что они вежливо зайдут разочек-другой, поприветствуют. Словом — рай!»

Однажды собачка притащила домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже не могла, а понянчить маленьких очень хотелось. У бабки коза была, козьим молоком зайчат выкормили. Они так и остались зимовать. Надо отметить, что изба у стариков была доисторическая и преогромных размеров: десять на двадцать пять да о двух ярусах, то есть пять сотен квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под самую крышу, выбегали в огород, гуляли вокруг избы, но возвращались. Один ушел в начале весны, а другой — летом, да потом еще несколько раз захаживал в гости. Собачка узнавала его и радовалась.

А в старых досках, сваленных у забора, жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышке. Двигались они еле-еле. Старик угощал их теплым сладким чаем из ложечки: им очень нравилось.

И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках, доблестно.

Пошла она как-то на реку — полоскать белье. Вскоре возвращается: глаза победно сверкают. «Я, — говорит, — врага одолела. Он только высунулся из воды, я его — коромыслом по лбу». Белье она на коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат, и засомневался: мол, не такого вида они.

— А ты почем знаешь?

— Но ведь раньше-то, когда пил, они ко мне частенько захаживали, а твой больше смахивает на бобра.

Спустились к мосткам — действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил ее в преступлении против закона и против благодати, сунул бобра в пододеяльник — белье ведь под рукой было — и отнес в хлев. Потом они с бабкой размышляли, как поступить с убитым зверем и что вообще может произойти от такой неприятности. Бобр тем временем очнулся и убежал. «В точности как с моей куницей», — изумился дед. Стало быть, благодать и на сей раз восторжествовала.

Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели вслед — обернусь, а они все стоят и прощально машут руками.

Много лет уже не бывал я в тех далеких краях, но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян, удостоившихся райской жизни.

Коровы



Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти: в детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее, в юности – девушкам, которые остригли косы, далее – подругам, которые более удачно вышли замуж, потом – всем женщинам, которые еще не овдовели, а теперь наконец – собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней...

Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти.

Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там – коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь – на столбе длинный электрик.

– В чем дело? – спрашиваю.

– Да одна никак не растелится – она там в середке лежит, а остальные, вишь, переволновались.

– Может, съездить за ветеринаром?

– В городе.

– А зоотехник?

– У нее серебряная свадьба – гуляет... Доярки придут – разберутся: или роды примут, или мясо поделят...

Коровам в колхозе — не жизнь: лучше вообще не рождаться, — заключает он со столбовой высоты. — Вместо быка — осеменатор!.. Слово-то какое! Дикое!.. Тьфу... Да и пастух поленом кидается. Может, он этой корове по брюху попал... При быке — посмотрел бы я на него. Помните, в соседнем районе?..

Действительно, был случай: пастух сильно издевался над скотиною, и бугай затоптал его.

Электрик прав, при быке коровам было куда вольготнее: знай себе травку жуют или отдыхают, и никаких тревог — за спокойствие и безопасность есть кому отвечать.

— Да и через речку переходить...

И снова прав длинный электрик: бык пройдет — и все стадо за ним, даже колен не замочат... А теперь — столпятся на берегу: ревут, ревут, потом сунутся в воду, разбредутся, попроваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота «партизанку» с малым теленочком, позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю: может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни? Экая она чистенькая стала — вся эта грязевая короста, отличающая общественную корову от частнособственнической, с боков сошла, да и теленочек — гладенький, аж лоснится. Недолго длилось отдохновение: волки действительно прибрали их...

— Да и вообще, с быком куда спокойнее — и на пастбище, и на дворе — и молока больше давали...

Как-то ночью случилась буря — с некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо

бросилось со скотного двора прочь и остановилось перед моим домом — нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу: коровы сразу же попримолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена...

— Да-а, жизнь у них нынче такая, что коли могли б удавиться, все и передавились бы...

— Ты, — говорю, — вообще-то чего там сидишь?

— Фаза потерялась.

— Нашел?

— Пока не нашел. Но к вечерней дойке надо найти: вручную никто доить не будет...

А через несколько дней после этого разговора — новая беда: тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал двадцать шесть животин. Я ехал на требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовал сатисфакции, поскольку



водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость; автобаза возразила, что и пастухи были пьяны — упустили стадо на трассу... Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок.

...Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба:

— Благословите слово сказать.

— Как же не благословить? Тебе ведь оттуда многое видно.

— Вот вы жалеете скотину общего пользования, да?.. А тут и частной досталось! Газовики ездили на рыбалку... со взрывчаткой. Деревня глухая там... Бабка попросила бычка забить — сошлись на двух литрах. Ну, мужики выпили, привязали толовую шашку между рог, жахнули... Ни бычка, ни сарая, и по всей деревне — ни одного целого окна... Не вру — ей-ей: об этом и в газете писали, только не сообщалось, кто начудил, — смылись они... Так что общественное хозяйство или частное — это, конечно, важно, но главное — люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно?..

— Может, и говорил... А ты вообще чего там сидишь: фаза?..

— Да, опять куда-то пропала.

— К вечерней дойке?..

— Отыщется, непременно!

За что?



Напротив моей избы, за рекою — холм. Говорят, в древности было на холме поселение — городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна, а такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимою кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какою целью вытесывал каменные шары.

— Это — очень исторические предметы, — говорили они. — Спасибо.

Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает. А в прошлом веке — и это известно — здесь был один из скитов большого северного монастыря.

Несколько монахов приезжали санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени. Затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканые порты и рубахи, зерно... Впрочем, кто-нибудь из монахов

оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще — от потребности к уединению.

Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния двух рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою: так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей — от хищных животных: без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками. На макушке холма возвели деревянный храм — в память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Старики вспоминают, как в младенческие времена переплавлялись с родителями через реку на празднование Николы летнего, то есть двадцать второго мая по новому стилю. Путешествие занимало до двух часов — такие половодья бывали. Теперь это — редкость. Впрочем, на моей памяти случилась весна, когда река, разлившись на километровую ширину, заняла всю долину: от деревни до вершины холма; могучий поток, спрямив речные извилины и затопив целые рощи, устремлялся к морю.

В тридцатые годы церковь по бревнышку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник. Запустили телят — они сдохли. Запустили других — то же самое. Тогда от телятника отступились. Во время войны отдали его на дрова. Говорят, лиственничные бревна были твердыми, словно камень, и каждое полешко добывалось неимоверным трудом. Теперь от скита и следов не осталось...

Помню, утонул по пьяному делу мужичок. Прислали из города водолаза. А он говорит собравшимся:

— Я под этим холмом уже в третий раз. Вы что — плавать совсем разучились?.. За что это на вас такая напасть?..

Тем же днем приезжаю в районный центр — начальство пригласило осмотреть храм, превращенный в баню. Здание было искалечено так, что ни снаружи, ни изнутри ни единой линией не напоминало уже о своем изначальном предназначении. В подвале бушевали печи котельной, и грязный от копоти кочегар прокричал:

— Где люди молятся, там наши — моются!

Потом, на улице уже, начальники сказали, что рядом с баней то и дело возникают пожары: горят сараи, дома, гибнут люди. Действительно, кругом стояло несколько обгоревших построек.

— За что, — спрашивают сами себя, — такая напасть?.. Тут, конечно, раньше кладбище было, и дома на могилах строены... Может, в этом дело?.. Или просто люди здесь поселились беспечные — пожарной безопасности не соблюдают?..

Святые отцы говорили, что над каждым церковным престолом стоит Ангел Хранитель и будет так стоять до Второго Пришествия, даже если храм осквернен или разрушен. И вот, как представишь множество Ангелов, стоящих среди мерзости и запустения, страшно становится. Архиерей наставлял:

— Наше счастье, что Бог несправедлив, потому что Он — любовь, а любовь жертвенна. По справедливости — нас бы всех давно надобно стереть с лица земли за вероотступничество и преступления перед Ним. Но — терпит, но — ждет: покаяния, исправления, — терпит и ждет, потому что любит... Так давайте не терять времени, пока Он еще терпит и ждет!..



Власть

Он был потомственным вздымщиком, то есть так же, как и его родители, добывал сосновую смолу — живицу. Сейчас эта отрасль, как и многие другие полезные для страны занятия, в полном разорении, а прежде — процветала. Из живицы готовилась канифоль, которой, известно, натирались смычки для игры на скрипках, виолончелях и контрабасах и которая, кроме того, нужна для паяльного дела. Однако не эти обстоятельства возводили живицу в разряд стратегического сырья — было у нее и еще какое-то предназначение. Не случайно день ото дня потребность в ней возрастала: это уж явно не оттого, что граждане достославного Отечества бросились что-то паять или осваивать смычковые инструменты. Да потом один наш район ежегодно давал столько продукта, что всем музыкантам земли свои смычки мазать не перемазать. Думается, и паяльщикам бы хватило.

Работа эта нелегкая: с весны до поздней осени вдали от дома, в лесу, жилье — вагончик, дощатый сарай или еще какая-нибудь времянка. Впрочем,

вздымщики — как люди довольно самостоятельные — резонно ставили себя несколько выше подневольных колхозников. Те, правда, отвечали взаимностью, считая лесных людей дикарями. И тоже резонно.

Однако для человека, который и ходить-то научился, перебираясь за родителями от сосны к сосне, дело это вовсе не казалось тяжелым. И он усердно трудился, зарабатывая такие деньги, какие в те времена мог получать разве что генерал. При этом он был еще охотником — грамотным и выносливым — и легко добывал разного зверя. Участок его находился километрах в десяти от села, и, значит, можно было время от времени наведываться домой для перемены белья и для продолжения рода: парой детишек он тогда и обзавелся.

Житие его произвело впечатление на заезжего корреспондента, и в каком-то столичном журнале появился небольшой очерк, которому впоследствии суждено было исподволь, незаметно сыграть важную роль в судьбе вздымщика. Когда освободилась должность мастера, дирекция, поразмыслив, остановила свой выбор на журнальном герое. И с этого времени жизнь его пошла по иному пути.

Власть может принести пользу только тогда, когда властитель воспринимает ее как служение, то есть — как сплошной долг и безоговорочную ответственность, а если видит прежде всего права, это погибель для него самого и трагедия для подвластных.

Новоявленный мастер не выдержал искушения: вздымщики стали страдать от его придирок, издевок...

Вдруг он заболел: любая пища вызывала у него такие сильные боли в животе, что он вынужден был совсем отказаться от еды, обессилел, слег. Поговаривали уже о печальном исходе. Позвав одного

из вздымщиков, мастер испросил у него прощения и велел передать остальным, что виноват перед ними.

Свезли в Москву, обследовали, оказалось, что все не так уж и страшно, однако понадобилось редкое и дорогое лекарство. Внезапно оно обнаружилось у моего приятеля: кто-то по ошибке привез из-за границы это ненужное ему снадобье вместо другого, действительно необходимого. Приняв подаренное лекарство, мастер почувствовал себя столь замечательно, что тут же объелся. А на другой день потребовал выпивки.

Вернувшись на работу, помягчал, но ненадолго: к этому времени ушел на пенсию директор участка, и высшее смоляное начальство подняло молодого мастера на новую должность. Тут он набросился на людей с новой, доселе невиданной силой: теперь страдали не только вздымщики, но и трактористы, шофера, рабочие и даже сторож... Кого-то он уволил, не дав доработать полгода до пенсии; другого, отпустив по официальному заявлению на похороны, обвинил в прогуле, а бумажку сжег; а уж всяких вымогательств было не счесть. Друзья напоминали ему о прошлой болезни, о выздоровлении: люди нецерковные, они, тем не менее, легко угадывали за этими событиями и наказание, и прощение... Однако он слышать ничего не хотел:

— Пусть знают, кто здесь хозяин! — и все.

Но самым нелепым самодурством было, пожалуй, истребление глухариных токов: если по какой-либо причине весеннюю охоту не открывали, директор приказывал вырубить все деревья на очередном глухарином току.

— Пусть знают, кто здесь хозяин!

Зимой получили новую машину — «Урал». Ехали по узкой лесной дороге, чищенной бульдозером;

мотор заглох — вероятно, капля воды, попавшая в топливо, замерзла, и кристаллик льда перекрыл бензопровод. Директор открыл крышку капота, встал на бампер и, взяв бутылку с бензином, начал понемножечку вливать горючее непосредственно в карбюратор. Плеснет — грузовик проедет метров десять-пятнадцать и остановится; так и двигались... И тут из-за поворота навстречу им выехал лесовоз...

Склонившийся над мотором директор был по пояс расплющен между двумя радиаторами. Он умирал... Но: «Хотением не хощу смерти грешника, но яко еже обратитися, и живу быти ему: и яко семьдесят седмерицею оставляти грехи» — лесному тирану вновь была предоставлена возможность покаяния. Шофер лесовоза сказал, что в поселок, из которого он только что выехал, по неведомой необходимости прилетел вертолет. Успели. Доставили в большой город. Сделали операцию. Придя в сознание, он попросил карандаш, бумагу и написал покаянное письмо своим подчиненным...

Возвратился он лишь через год. Ходил с палочкой. К этому времени смоляная отрасль пришла в упадок, а потом и вовсе прекратила существование, так что лес до последней сосеночки распродали...

Бывший директор получает пенсию по инвалидности и сидит дома. Когда опрокинет стопочку-другую и третью, любит порассуждать, поругать власти:

— Зря, — говорит, — стратегическое производство угробили. Это все правители наши: над народом как хотят измываются, на страну — наплевать. И откуда только такая сволочь берется?..



Медведи



Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними — дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали. То двое медвежат переправились из-за реки: там утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба — испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны — бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такою ужасною силою, что соседский поросенок умер в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, — и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свое разрушительное занятие. Понятное дело — обидно: медом пахнет, а самого продукта и нет... Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина.

Бывали встречи забавные, бывали — спокойные, бывали — опасные: вспоминать все — времени недостанет. И это притом, что на медведей я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение... Но прежде чем

поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно оборотиться к ее прологу.

Служил я тогда в областном центре, поселили меня в гостинице. Там же обитал и наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеваную медведем руку: осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой.

Через несколько месяцев, уже в деревне, заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним осенним вечером. Зовут на медведя.

— Вы что, — говорю, — мужики: какая среди ночи охота? Да я ведь и не охочусь теперь — вы же знаете...

А они уламывают и уламывают: мол, нужен я им позарез... Ничего не понимаю:

— У вас, — говорю, — и карабины, и подсветка: а я-то что буду делать со своим ружьецом?

Они помялись:

— Ружье, вообще-то, можно не брать...

Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне.

— А если без ружья, — спрашиваю, — то вы меня что — в качестве привады берете?

— Нет, — отвечают серьезно, — в качестве единственного охотника.

Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля да нарвались на медведя.

— А сегодня — ровно год с того дня, как мишка мне руку заел, — говорит охотовед и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения...

— Так вам, что ли, молебен отслужить?

— На кой? Я медведя-то подстрелил: с испугу... А лицензии-то у нас нет! Одна, конечно, осталась — для гостей... Но на себя-то мы ее оформить не можем, да и к мужикам с такой просьбой нельзя идти: когда они просили лицензию, мы не давали, а теперь... В общем, выручайте!

— Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть!.. А потом, у меня и денег нет на лицензию...

Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки, он выслушал, расписался в бумагах:

— Все остальное завтра, — и ушел спать.

Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в уазик, свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали.

Такая получилась охота.

Однако и до молебна в свой час черед дошел. Както заходит охотовед в церковь.

— Что, — спрашиваю, — опять на медведя?

— Нет. Надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой...

— Вот, — говорю, — как интересно: Господь тебя через мишек и к молитве привел.

— Оно, может, и не сильно интересно, — вздыхает, — зато очень доходчиво.

День рыбака



Возвращаюсь с отдаленного прихода — машину останавливает незнакомый мужчина:

— Я — председатель тутошнего колхоза, специально вас жду: у меня к вам дело, — и приглашает в контору.

В районе полтора десятка хозяйств, и со всеми остальными председателями я знаком, но этот все время уклонялся.

Заходим в кабинет.

— Спасибо, — говорит, — за детский садик: строительство окончили и на днях пускаем детишек — колхозную, можно сказать, смену, так что я ваш должник и есть повод... Нет, ну вы посмотрите: установили на столе компьютер, теперь и расположиться негде...

Я вспомнил, что весной освящал закладку деревянного здания: старый детсад сгорел дотла, а строительство нового затягивалось из-за каких-то неурядиц.

— Коли достроили, — говорю, — хорошо бы освятить помещение.

— Это — когда скажете: заведующая садиком — моя супруга, она, кстати, в прошлый раз вас и приглашала.

— Если водитель подождет, — говорю, — то хоть сейчас.

— А что нам водитель? Транспорт всегда найдем. оставайтесь... Тем более что сегодня всеобщий праздник — День рыбака... Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили, — Евангелие называется: там к рыбакам большое уважение... Да за что же мне этот дрын-то? Представляете: последние деньги со счета сняли и приволокли компьютер — теперь и стаканы поставить некуда... Я бы уж лучше запчастей купил или солярки. «Нет, — говорят, — сплошная компьютеризация»...

Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе: я пытался приступить к освящению детского



сада, председатель уговаривал оставаться для празднования. Внезапно его осенило:

— А пойдемте-ка на рыбалку!.. У меня и бредешок есть, и места я знаю: рыбалка — царская!

День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о речной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоединился:

— Меня, — говорит, — к батюшке на весь день отрядили, можно и порыбачить. Тем более если домой рыбы привезу — хозяйка обрадуется! А рыба по суху не ходит, так что и мне кое-чего перепадет.

Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побросав одежку в машину, полезли в воду. Хозяин, как самый высокий, взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер, коренастому шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, а мне — плыть позади и в случае зацепления за коряги нырять для распутывания.

— У вашей фигуры тела — геометрия непотопляемая, — объяснил председатель.

Тут выяснилось, что забыли грузило для мотни — хвостовой части бредня. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель велел принести небольшой булыжничек: неподалеку виднелась горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвергнуты.

— Малы! — кричал председатель.

— Велики! — кричал он через минуту.

Наконец в руках одного из мальчишек оказался булыжник необходимого размера, и председатель скомандовал:

— Давай!

Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно прыгнув «солдатиком» с камнями в руках, скрылись в пучине.

— Ну и где ж теперь колхозная смена? — спросил шофер.

— Колхозной смене — конец, — испуганно заключил председатель.

Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, повсплывали.

В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. Мы обошли все примечательные места: плесы, заводи, отмели, ямы — рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по берегам встречался народ, ворошивший сено: мы раздавали щук, язей, окуней — и мрежи снова наполнялись добычей.

Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение Священного Писания подвигло председателя не только на рыбалку.

— Хочу, — заявляет, — креститься.

— Это, — говорю, — можно.

— Хочу прямо сейчас, в реке.

— И это, — говорю, — можно. — И окрестил его.

Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовлялась уха, я освятил помещение детского сада. После ужина водитель отвез меня домой.

Учительницы



Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили: эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, — по складам.

— Чему вы удивляетесь? — спросили учительницы. — Дети давно уже книжек не раскрывают — теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон...

Во-вторых, меня попросили «не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более». Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции: «Один побежал — стал зайцем, другой пополз — стал змеей, третий замахал передними конечностями — и полетел, четвертый поднялся на задние лапы — стал человеком... Но вообще, все животные вышли из воды: это надо запомнить...» По поводу происхождения видов я даже не возражал: ну такое

вероисповедание у людей, что тут поделаешь! А с водой какая-то неурядица получилась.

— Как же, — спрашиваю, — крокодилы там разные, черепахи? Древние животные, а рождаются на земле и только потом лезут в воду...

— Вы, — говорит, — что, биолог?

— Нет.

— Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов.

Я больше и не задавал.

Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне великой Америки, которая разгромила фашистов, — оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложила рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто — по восточному, кем был в «прежней жизни» и что ожидает меня в жизни будущей... Этих тоже не о чем было спрашивать.

Определили мне занимать «окна» — уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много: и уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори... Иной раз «окна» растягивались на целый день.

Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было Смутное время. Отвечаю, что рассказывал о Смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троице-Сергиева лавра, как ее келарь Авраамий Палицын плавал туда-сюда через Москву-реку, замиряя противоборствующие русские полки...



— А на уроке физики: «Подъемная сила»?

Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно — про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы.

— А на уроке литературы: «Снежная королева»?

— Эта сказка, — говорю, — христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании...

Историю и физику мне простили, поскольку я просто «ввел дополнительную информацию», что методическими указаниями не запрещается, а с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет.

— В каких, — спрашивают, — методичках написано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»?

— Это, — отвечаю, — и так видно, невооруженным глазом.

А они пристали: подавай им методичку — без методички никак нельзя! И отстранили меня от занятий!

Вспомнились мне тогда слова апостола Павла: «А учить жене не позволяю... Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины, — вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание «методичек» из поколения в поколение прививается мальчикам... Боярских детей, поди, в семилетнем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание: вот и вырастали великие полководцы — спасители Отечества. Да и просто — нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и за них отвечать.

Хорошо еще, литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям:

— А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан — христианин значит!

И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью.



Кардан

На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, чаще всего именуемый Шарниром, Баллоном или Карданом. У наших механизаторов тоже завелся свой Кардан, однако он был не собакою, а лисой, точнее говоря, — лисовином. Первого появления его в гараже никто не помнил — достоверно только, что произошло это летней порой, когда лисы выглядят неказисто и на облезлых кошек похожи больше, чем на себя.

Что было надобно Кардану среди комбайнов и тракторов — загадка, однако он приходил почти каждый день. Табачного дыма лисовин, как и все животные, не переносил, к водочному запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, пить отказывался. И вот, при таких своих неудобных качествах, он более всего дорожил именно мужской компанией.

Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, но сбежал от хозяев, однако лисовин не только не позволял никому погладить себя: никто ни единого раза к нему даже и не прикоснулся.

Ну, подивился, подивился народ, а потом привыкли. Идет, скажем, кто-нибудь из мужиков на работу, Кардан вылезет из кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механизаторы в старом бесколесном автобусе выпить водочки, Кардан сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикармливал, да оно и понятно: закусывали-то мужики не курятиной, а соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не испытывал. Проголодается — сбегает в поле, изловит сколько надо мышей и — обратно.

Собак Кардан не боялся. Во-первых, гараж находился далеко от деревни, а во-вторых, лисовин был безусловно хитрее и ловчее своих одомашненных соплеменников: мог взобраться и на крышу сторожки, и на комбайн.

Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный гараж. Это — одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом с которым располагалось натуральное грязевое озеро — место разворота машин. На противоположном берегу озера — крытый гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправные комбайны, косилки и трактора. А уж за ними, по обширнейшей луговине, тут и там были разбросаны ломаные-переломаные образцы разнообразнейшей сельхозтехники. К луговине примыкал лес — где-то в этом лесу и жил шоферской приятель.

Безмятежие продолжалось до осени, пока Кардан не начал линять, превращаясь в пушного зверя. Тут мужички озадачились: охотничий сезон начинается, зверь может и на выстрел нарваться, и в капкан угодить... Охотников, правда, у нас немного, и они пообещали в безбоязненного лисовина не стрелять, а капканами всерьез занимался один лишь егерь,

который согласился устанавливать их от нашего колхоза подальше. Механизаторы успокоились, но ненадолго: среди зимы, когда начались лисьи свадьбы, Кардан исчез.

Мужики, мало склонные к проявлению тонких чувств, признавались: «Как только встретишь лисий след, думаешь: не друг ли наш пробегал?» Да и я: увидел в окно лисичку, вышел на крыльцо и тихонько позвал: «Кардан», — но только снежная пыль взметнулась!..

Как-то весной заходит ко мне длинный электрик: вернуть прочитанную книжку и попросить новую.

— Вот, — говорит, — очень заинтересовала меня рассудительность. — Не помню уж, что за труд осваивал он в тот раз: кажется, проповеди кого-то из отцов Церкви.

— Да, — соглашаюсь я, — понятие очень важное.

— Рассудительность главнее всякого формализма.

— Это, — спрашиваю, — ты о чем?

— К примеру, охотиться на диких зверей можно?.. Можно. И если человек добудет пушнину на шапку себе, жене или ребенку — тоже не грех. А куда денешься? У нас морозы такие, что без меховой шапки никак нельзя. Да хоть и на продажу — денег-то у народа нет, жить не на что. Правильно я понимаю?.. Теперь подумаем дальше, и не формально, а по рассудительности: если я подстрелю лисицу — не грех, а если Кардана?..

— Вот, — говорю, — подо что ты богословие подводил...

— Мужики бают, один тут... шкурку рыжую продает... недорого: бочина дырявая, а мех вокруг опален — в упор стреляли... Какая лиса человека к себе подпустит? Только Кардан... Что теперь с тем гадом делать?

— Помолись за него.

— Это — формально, а по рассудительности?

— Помолись.

— Жаль. А я уж... — и стал рассказывать о всяких электрических каверзах, которые он измыслил против злодея: одни были вполне безобидны, но другие — вроде подведения оголенного провода под очко нуждного места — даже опасны.

— И за тебя, — говорю, — надо помолиться, а то напридумывал ужасов.

— А вы, между прочим, на мои коварные планы нисколько не возражаете! И даже вроде наоборот... Это — по рассудительности?

— Нет, — говорю, — от страстей. Так что если по рассудительности, надобно и за меня помолиться.

Праздник



Приехали посыльные от местного руководства: говорят, что селу нашему — старейшему в районе — исполняется шестьсот лет, отчего произойдет всенароднейшее гулянье, и потому необходимо будет которого-то июля наладить погоду.

В этом есть нечто удивительное, потому что село наше названо в честь праздника Преображения Господня, неуклонно отмечаемого девятнадцатого августа по новому стилю, и, думается, испокон веку в день этот всегда случалась превосходнейшая погода, а откуда взялось которое-то июля?.. А оттуда, говорят, что у главы администрации в августе отпуск, и потому день рождения села приходится переносить.

Стало быть, за шестьсот лет до нас прибрел сюда крещеный человек, построил церковь, посвятил ее Преображению Господа нашего Иисуса Христа с надеждой, понятное дело, на преображение всей этой местности и всех диких людей ее, а теперь празднование приходится переносить

из-за того, что сызнова одичавшее местное руководство собралось в азиатскую страну прикупить шмоток... Объясняю, что к Начальству Небесному обращаться с такою глупостью никак невозможно. Уехали.

Через некоторое время появляются новые ходоки — культработники из областного центра. Мужик в шляпе — он прямо так и зашел в храм — главный по этой части.

— У меня, — говорит, — к вам вопрос. — При этом перегаром от него несет так, что находиться рядом никак невозможно.

Отступив на пару шагов, объясняю насчет головного убора. Он неохотно снимает шляпу и прикидывает, куда поместить ее. А при нем дамочка-секретарша — как раз без всякого покрытия вытравленных кудрей. Главный культурный человек нахлобучивает шляпу на ее бедную голову.

— Необходима, — говорит, — хорошая погода на празднование.

Поинтересовался иконами: которые, мол, поценнее? Велел секретарше все в точности записать. Потом спросил насчет храма — которого века...

— Девяностые годы двадцатого, — отвечаю.

— Неплохо сохранился, — говорит.

Секретарша в шляпе объясняет:

— Девяностые годы двадцатого века — это сейчас.

— Тогда занеси в графу «Наши достижения»...

В свой черед наступает неправильный день великого празднования. С утра отправляюсь на службу — дождь. «Что ж, — думаю, — нормальное дело, мог бы даже и снег пойти». Отслужили. Бабушки-прихожанки понурые стоят — на улицу выходить неохота. Гляжу, а среди них секретарша культурного

человека — кудри у нее теперь фиолетовые, но зато косыночкой повязана. Что ж, спрашиваю, она в такой помрачительный цвет окрасилась? Оказывается, начальство повелело в честь праздника и возможного приезда столичных гостей, «потому как фиолет теперь в моде». А где же, спрашиваю, начальство? Выясняется, что начальство уже набанкетничалось и поубывало кто куда. Как-то уж очень быстро они, говорю, даже не верится.

— Дак они уже сутки банкетничают.

Тут еще явилась вымокшая учителка-пенсионерка, которая у меня за чтеца: просит прощения, что опоздала, — коза у нее болеет.

— Сколько, — спрашиваю, — у тебя коз?

— Одна дак.

— А у твоего деда сколько было?

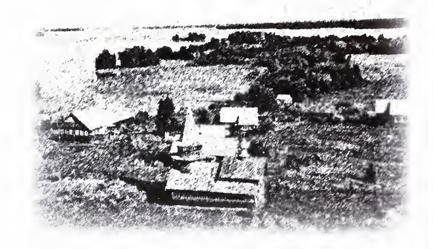
— У деда? Да у него лошадей было пять штук, коров — четыре, а овец и коз — кто их считал тогда?

— А в церковь он ходил?

— Каждое воскресенье!

— Вот потому у него столько всего и было. А ты — так с одной козой и останешься.

Она просит епитимью, и я оставляю ее в храме читать покаянный пятидесятый псалом, который она всякий раз читает с ошибками. Впрочем, как и все остальное. А мы отправляемся к центру праздника — к деревянному помосту, сооруженному на высоком берегу реки. Из-за дождя действо никак не может начаться, и народ, занявший места на скамейках, терпеливо жмется под зонтиками. Да и ярмарка, специально для которой мастерились дощатые прилавки, молчит: корзинки, лапти, цветастые половики, мед — все спрятано от дождя под клеенками. Отслужил я молебен, полагающийся перед началом



доброго дела, и опять пошел в храм: кто-то из приезжих попросился креститься. Потом еще и обвенчал одну немолодую пару. И тут дождь прекратился: вышло солнце. Прочитали мы подобающее случаю благодарственное молитвословие, и на этом богослужения завершились.

А праздник только начал разворачиваться: заиграли гармонисты, загудела ярмарка, выкатилась откуда-то бочка домашнего пива... Вся эта суматоха продолжалась до полной темноты.

Когда стемнело, снова начался дождь.

Лодки



Летом, когда и в наших переохлажденных краях становится тепло, хотя и не настолько, чтобы можно было ходить босиком, приезжают городские отпускники — по грибы-ягоды, на рыбалку. Рыбалкой, честно сказать, не похвалишься, а вот ягод и грибов — вдосталь. Правда, с грибами однообразие: белые всё, разве что осенью — волнушки еще да немного рыжиков, а другие почти не встречаются. Зато уж с ягодами — на выбор: земляника, черника, малина, клюква, брусника, голубика, костяника, морошка, дикая смородина — красная и черная, шиповник, рябина, калина, черемуха, лекарственные какие-то вроде толокнянки или боярышника... Может, что и забыл... Да, есть даже редкое по нынешним временам чудо — княженика: крохотная ягодка с несравненным, неземным ароматом — сорвал, положил на язык, и тебе ни ягодки, ни аромата — очень уж маленькая, к сожалению.

Однажды разыскивает меня некая суматошная женщина, приехавшая из Москвы, и, наверное, за этими самыми ягодами, потому как все лицо ее в волдырях,

а комарам, мухам, паукам и мошке от ягодных отпускников — превеликая радость и значительное в краткой их жизни утешение. И обращается эта женщина с неожиданной просьбой: освятить какие-то столбушки, поставленные ею в местах, где некогда располагались часовни. Я, признаться, не все понял из сбивчивого рассказа, но выходило, что ехать придется километров за тридцать и машину за мной пренепременно пришлют.

Назавтра я оказался в малознакомой деревне. Сначала мы пили чай в просторной и светлой горнице, где, кстати, заказчица моя появилась на Божий свет: из потолка до сих пор торчал кованый крюк с кольцом, к которому в свой час подвешивалась извлекаемая из чулана люлька, а по-здешнему — зыбка. В зыбке этой возрастала и заполошная эта женщина, ее братья и сестры, кто-то из их родителей, а возможно, дед или бабушка — столь древней была изба.

Надо к случаю заметить, что избы в нашем краю — северного сложения: метров с десяток по фасаду, с двадцать пять — от конца до конца, и в двух ярусах, то есть пятьсот метров квадратных, да чердак еще, да подполье... Освящая такие сооружения, я поначалу то и дело попадал в безнадежность — хожу, хожу себе, кроплю и кроплю и вдруг заплутаю: кругом двери, лестницы, как на корабле, — куда идти? Тут — корова, там — теленок, это — овцы, это... это — козел-гад... Толкаешься во все стороны среди цыплят, поросят и кошек, пока людей не найдешь... Потом уж я без провожатых за такое дело не брался: не ровен час — забредешь в самую глыбь, а хозяева тем временем подопьют и про тебя позабудут...

Вот в такой избе угостились мы крепким, душистым чаем: женщина, она только что родом здешняя, а так

ведь — с младых лет москвичка, стало быть, научилась понимать в чаепитии толк и заваривала по-московски. А потом пошли к старой черемухе у дороги. Там стоял обыкновенный столбик в человеческий рост, какие используются для сооружения оград и заборов. У вершины его был красиво вырезан православный крест, под которым в специальном углублении помещалась завернутая в непромокаемую пленку картонная иконочка святителя Николая, архиепископа города Миры, что в Ликии.

— Часовня точно посвящалась Николаю Чудотворцу?

— Да, я хоть и маленькая была, но хорошо помню икону Николы-зимнего и лампадку, правда, лампадка в мои годы уже не светила. А потом все куда-то исчезло, но часовня долго-долго еще стояла, пока не сожгли... Только валуны от фундамента и сохранились...

Действительно, четыре краеугольных камня лежали на своих основоположных местах.

Прочитав подходящие для сего случая молитвы, я окропил памятный знак святою водой, и мы отправились к зерносушилке, где, как выяснилось, в прежние времена располагалось кладбище. Здесь редко где встретишь могилу старше шестидесятых годов, когда очередная атака на позиции российских крестьян, проходившая под знаменем «неперспективности деревень», завершилась полной победой. И вместе с разоренными деревеньками пошли под бульдозер или в огонь недорушенные во время предыдущих баталий часовни, храмы, с ними заодно — и погосты. Теперь все эти угодья без следа сгинули в обширнейших полевых пространствах, зарастающих непролазным кустарником, ветви которого,

а по-здешнему — вицы, пригодны для плетения хороших корзин. Но это теперь, после очередной обескураживающей своей молниеносностью битвы под стягом «нерентабельности коллективных хозяйств», а тогда колхозы еще существовали и разные необходимые для крестьянского дела сооружения тоже. Вот мы и направились к зерносушилке — надобно было освятить крест, напоминавший о тех, кто смиренно покоился под ногами.

Потом вернулись в деревню и освящали столбик на месте другой часовенки — в честь Казанской иконы Божией Матери. Наконец добрались до колодца, осквернявшегося то кошкой, то крысами, то воронами.

— А отчего они, — спрашиваю, — с такою охотою туда прыгают?

— Племянник мой сбрасывает... Он немножко того, — и постучала указательным пальцем по виску, — нынче и в армию его не взяли... Никого из нашей деревни не взяли... Трое призывников, и ни один не сгодился, — разговаривала она отрывисто и торопливо. — Из отцовского поколения — все мужчины деревни ушли на войну... Из моего поколения — все парни служили в армии... Некоторые даже — на флоте... А теперь мы уже не дадим защитников Родине... Остались одни дурачки... Таких и за трактор посадить нельзя, не то что доверить оружие... А кого они нарожают?.. Если нарожают, конечно... Говорю брату: батюшка приедет, хоть сына-то окрестил бы... Он чуть ли не с кулаками на меня набросился... Хотя столбики и крест сам делал... За водку, правда... Но креститься, говорит, и за водку не буду... И сына не дал крестить... Николину часовню, между прочим, брат и спалил... Когда пришли столбик вкапывать,

думала, хоть какие-то чувства в нем зашевелятся... А он — словно колода бездушная... Вообще-то у нас все некрещеные... Разве что старушка одна... Да и я крестилась совсем недавно... В Москве...

Спросил, кто она по профессии: где ж, думаю, можно разговаривать таким диковинным образом?

— Начальник смены на телеграфе... А до этого много лет проработала телеграфисткой-телефонисткой, — и без перехода начала рассказывать о плане восстановления часовен: где раздобыть лес, тес, кровельное железо, у кого заказать иконы...

Я уже не успевал принимать телеграммы и потому решился переключить аппарат:

— У нас на сегодня еще какие-нибудь планы есть?

— Освятить дом... Пообедать... А потом шофер отвезет вас...

— Он хоть дождется?

— Конечно... Сосед... Дальний родственник... В кинопрокате работает... Машину ему на весь день дали...

И пошли мы освящать ее хоромину: это был пятый подряд молебен — язык у меня стал заплетаться. Бродили, бродили — по комнатам, коридорам, чуланам, кладовкам, закутам, клетушкам и опустевшим хлевам, счет которым давно потерялся; торопыга то подталкивала меня с одной лестницы на другую, то забегала вперед, чтобы отворить дверь...

— И последнее, — объявила она, — сеновал...

Перед нами открылось пространство таких необъятных размеров, что я сразу заглянул в ковшик — хватит ли святой водицы для окропления. Перехватив мой взгляд, она молниеносно телеграфировала:

— У меня есть... Крещенская... Сейчас принесу... Только стойте на месте... Не уходите никуда, — и убежала.

Это был старинный северный сеновал с широченными воротами для взвоза — наклонного помоста, по которому лошадь могла взвезти сюда — на второй этаж — телегу или сани. Здесь гужевой транспорт и разворачивался.

Наполнив ковшик, я обошел с кропилом выметенный сеновал — лишь в одном уголке лежал клочок пересохшей травы, кошенной, вероятно, еще родителями хозяйки.

— Стадион: для футбола, может, и маловат, а волейбольная площадка — как раз поместится, и зрителям места хватит.

— Когда-то здесь и взаправду был стадион, — улыбнулась она. — Отец летом на косилке работал, приносил зайчат — ма-аленьких... Мы с братом выкармливали их, — мне показалось, что она стала говорить спокойнее и мягче, — к зиме они вырастали и устраивали гонки: по стенам, потолку — ну, по кровле... Дом был крыт еловыми досками, вот они по этим доскам — снизу, изнутри — и носились... Ушками вниз... Смешно... Жили они свободно — могли и во двор выскакивать, но зимой далеко не бегали... Так, по огороду: весь снег перебаламутят — и опять в дом... А весной — уходили... Сначала на день, на два, а потом — навсегда... Летом пойдешь в лес по грибы или по ягоды, встретишь зайчишку какого-нибудь: он замрет и уставится на тебя... А ты думаешь: может, это твой выкормыш?.. Они ведь почти ручными становились — даже погладить себя иногда разрешали... Скотина к ним относилась нормально... Собачка у нас была — спокойная такая: вообще внимания не обращала... Кошка только... Спит где-нибудь, а они носятся да и налетят на нее... Случайно или нарочно — не знаю... Кошка заорет — и за ними, да разве угонишься?.. С зайчатами этими все детство

прошло: и мое, и братнино... А теперь вот не всегда поздороваться снизойдет... Особенно после того, как я окрестилась и стала в церковь ходить... Если бы еще только он... Мы с вами целый день по деревне да вокруг нее шастаем... Хотя бы одного человека заметили?.. То-то и оно: все попрятались... Креста боятся... И дома — в Москве — у меня то же самое: никто в церковь не ходит... Беда!.. Что я должна сделать, чтобы помочь им, чтобы спасти?.. Батюшка, который меня крестил, говорит, что Господь нынче дал каждой русской семье, ну — фамилии, роду, по одному верующему... Это, говорит, как после кораблекрушения: бултыхаются люди в океане небольшими такими... кучками... Батюшка как-то покрасивее говорил, но я слово забыла... И вдруг одному из каждой кучки дается лодка... И все могут спастись — места хватит... Он протягивает им руки... Но они отворачиваются и знай себе плюхают ладошками по волнам: мол, сами выплывем... Вот так батюшка говорит... А вы что на это скажете?..

Я сказал, что батюшка, пожалуй, прав.

— Но тогда человек, который в лодке, ну, который уверовал, будет держать ответ за них на Страшном Суде?.. Понятно, что прежде всего спросится с тех, кто отказался спасаться... Но если этот, в лодке, работу свою будет делать неважно?.. Как вы полагаете?.. А у меня ничего не получается... Бьюсь, бьюсь — никакого толку...

— Да не терзайтесь, — говорю, — все идет нормально, и в свой срок с Божьей помощью то, что должно получиться, получится.

Тут она стала перебирать разные человеческие недостатки, пытаясь определить, который из них более прочих мешает ей в благом деле лодочного спасательства.

— Веслами, — говорю, — сильно махать не надо, а то утопающие пугаются, да и по голове запросто можно угодить. — Она почему-то обрадовалась этому наставлению, и мы наконец пошли обедать.

Потом я ехал домой и думал, что московский батюшка — молодец: оберегая неокрепшую душу новообращенной, он не стал раскрывать дальнейшие перспективы морского сюжета. Между тем сдается, что они довольно определенны: коли уж в этих лодках места хватает для всех, то новых плавсредств может не оказаться. И когда легкий бриз унесет все суденышки за край видимого горизонта, не останется никого, кто мог бы протянуть руку тонущему и удержать его. Возможно, лодочки эти — наша последняя надежда, последний шанс.

Елизавета



В начале двадцатого века местные мужички дерзновенно поползли вверх по речушкам и ручейкам до самых истоков. Корчевали лес, строили избы, засеивали полоски земли. Народилось зерно — потребовались мельницы, накопилось хлеба — стали появляться дороги, а на дорогах — постоялые дворы, кузницы и конюшни... Незаселенными остались только болота. Да и то, если среди болота была открытая вода, на берегах селился какой-нибудь угрюмый бобыль, промышлявший рыбалкой. Эпоха сельскохозяйственного романтизма, запечатлевшая на себе имя Петра Столыпина, продолжалась недолго: впоследствии ее достижения были заботливо разорены и стерты из памяти.

В нашем краю один хуторишко остался. Реликтовый. Было в нем четыре двора и четверо жителей — родственники друг дружке. Несколько раз я наведывался туда, чтобы причастить Елизавету, тоже, кстати, реликтовую: душа ее чудесным образом сохранила отсветы прежнего воспитания...

Елизавете было семьдесят лет, однако называть ее бабкой было никак невозможно, и прежде всего потому, что она, в отличие от деревенских старух, прямо держала спину.

— Ты, Лизавета, ступаешь, словно боярышня! — говорил ей районный глава, заехавший как-то по рыжички. — Не попадал ли к вам на хутор какой-нибудь князь?..

— Разве что с продотрядом, — отвечала она.

— Это она так шутит, — пояснили местные жители.

В сорок первом году семнадцатилетняя Елизавета работала на строительстве оборонительных сооружений, попала под обстрел, получила осколочное ранение и, провалявшись по госпиталям, обрела величественную осанку. Отец ее вскоре погиб на фронте, мать, разрываясь между борьбой за трудодни и обихаживанием искалеченной дочери, тоже протянула недолго. И осталась Елизавета одна. Но как-то приноровилась — целую жизнь прожила. При том, что спина совсем не гнулась: ни — дров наколоть, ни — грядку вскопать, ни даже гриб сорвать невозможно.

С ней было легко разговаривать: она читала Иоанна Златоуста и хорошо понимала сущность духовных битв. Но утешительнее всего было слушать ее рассуждения по всяким житейским поводам.

Как-то заезжаем с председателем колхоза. Поисповедовал я Елизавету, причастил, выходим на крыльцо, а председатель обсуждает с шофером что-то животрепещущее...

— Зачем ругаешься? — спрашивает его Елизавета.

— Без этого на Руси нельзя — первейшее дело! — и разводит руками.

— Не русское это дело, — вздыхает Елизавета. — Когда человек молится, он верит, что каждое его слово услышат и поймут...

— Ну, — растерянно улыбается председатель.

— А если над нашей землей мат-перемат висит?.. Богородица позатыкает уши, а мы будем удивляться, что страна — в дерьме...

— Ну ты еще скажи, что ранешние мужики не матерились!

— Редко, — говорит Елизавета. — Это все от кожаных курток пошло: от комиссаров да уполномоченных разных — от нерусских... Знаешь, как Христос в Писании называется?.. Бог Слово!.. И за каждое сказанное слово нам с тобой на Страшном Суде ответ держать придется. Вот они и поганят и пакостят слова наши...

— Может, мужики раньше и вина не пили? — встревает шофер.

— Питье — не грех, грех — опивство... Пили. Но каждый вечер надобно молитвы читать... Со всей семьею... И чтоб язык во рту проворачивался... Отец раз на вечернюю молитву не попал — уснул пьяный. В воскресенье пошел на исповедь, а батюшка его к причастию не допускает: все причащаются, а он стоит в стороне — то-то позору было! Целый год, наверное, корил себя да перед нами винился...

В другой раз меня привез сюда здешний церковный староста. Был он в неважном расположении духа, поскольку занятий besприбыльных не любил, и как только звали меня причащать болящих, глаза его наполнялись печалью...

День был жаркий, вода в радиаторе подвыкипела, и староста решил долить.

— Чего-то у вас колодец стал вроде еще глубже, — пожаловался он.

— Так ведрами-то по дну бьем, он и углубляется, — отвечала Елизавета.

Староста задумался, а потом тихо спросил меня:

— Шутит, что ли?..

— Ты чего на приход сунулся? — поинтересовалась Елизавета.

— Церкву восстанавливать...

— Большой в тебе подарок русскому Православию. Вы, батюшка, не знаете, как у нас его кличут?.. Пройдохой...

— Далеко не все! — возразил староста.

— Да, только половина района. А остальные — проходимцем. Но те и другие между собой не спорят — оба именования ему к лицу.

— Вот вы все на меня ругаетесь, а я всю жизнь тружусь — ты знаешь. И не кем-нибудь, а бригадиром! С послевоенных времен — в колхозе, на стройке... Ни праздников, ни выходных — на курорт в первый раз только перед пенсией попал...

— Вот и зря, что без праздников, — тихо сказала Елизавета.

— Это в каком смысле?

— Ты тут иконочками торговал — Казанской Божией Матери...

— Они и сейчас при мне — могу продать, — и полез в портфель.

— Угомонись. Я тебе одну историю расскажу... Как-то пришлась летняя Казанская, а по-новому это — двадцать первое июля, на воскресенье. И поутру весь народ на покосы отправился...

— Двадцать первого? А чего так поздно-то?.. Ворошить разве... Или метать...

— Идут они, а навстречу им — Богородица: мол, почему, мужики, мимо храма идете? Они объясняют: сенокос, спешим — боимся дождя, рук не хватает... А Она: «Ступайте в храм славить воскресение Моего Сына, а Я вам Свои руки отдам»... Послушались они — вернулись на воскресную службу, а уж сена в тот год заготовили — до сих пор коровы едят...

— Когда это было? — спросил староста. — В какой деревне?

— Давно, еще отец рассказывал...

Он наконец достал пачку бумажных иконок:

— И правда: рук нету — отдала... Так ты будешь брать-то? Недорого...

— Да у меня есть — еще дедова... Деда моего тоже в старосты долго уговаривали. Отказался. «Сейчас, — говорит, — я в одном кармане в храм несу, а то, не приведи Господи, в двух карманах из храма поволоку».

На обратном пути он вдруг вспомнил:

— А ее, между прочим, тоже как-то чудно прозывали... Негнущаяся, что ли?.. Или — несгибаемая?.. Во, точно: несгибаемая Елизавета.

Ракетчики



Поселились у нас газовики — большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем некрестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит куда глаза глядят. И не понять разудалой его головенке, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили: вот он и давай крушить изгороди, сносить стога... Крестьянин же хотя этой романтики не понимает, но никакой отместки не делает — даже трубу не дырявит, но у газовиков начинаются нестроения: то с автоинспекцией, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением к электросети, то с питьевой водой...

В конце концов пришлые люди поняли необходимость добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках, но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение.

В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе

пищи — предприятия с не до конца предсказуемыми последствиями, а мне выпадала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету — самую настоящую, пятнадцати метров длиною, однако и такому искушению надобно уметь противостоять.

А дело складывалось вот как: приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы — а он сварщик — и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета — метеорологическая и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные «алюминиевые железки», но чтобы целую штуковину — такого я еще не слыхал.

Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте: это были делянки на границе двух областей, вырубленные еще лет тридцать назад и заросшие густющим кустарником — место никчемное, гиблое. Когда-то мне довелось плутать там...

— Вот бы, — говорит, — эту ракетину привезти!

— На кой? — спрашиваю.

— У нее, может, ресурс не выработан, так ее еще и запустить можно.

— Куда?

Не отвечает. Замыслом поглощен:

— Работает она как сварочный аппарат: горючее, окислитель, газовая струя... Если в ней какой трубопровод засорился — автомобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с проводами — специалист нужен: там же, поди, проводов — тьма...

— Бери, — говорю, — нашего электрика.

Обрадовался, спрашивает, где найти.

— На столбе сидит где-нибудь.

Через полчаса привозит электрика.

День тот у меня выдался хозяйственным: баню топлю, стираю, белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу: с запуском проблемы возникли.

— К дереву, — говорю, — привяжите, а снизу костер — вот и все.

— Лучше уж тогда к столбу, — возражает электрик, — он гладкий, сучки не будут мешать.

— Правильнее всего поместить в трубу, — заключает газовик, — и как из ракетной шахты...

Сдается мне, что говорят они не вполне шутя.

В следующий раз прохожу мимо «генерального штаба», а они насчет боеголовки кумекают: чтобы, значит, натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор.

— А мы что, мужики, — спрашиваю, — войной на кого собираемся?

— Вообще-то нет, — отвечают, — но на всякий случай.

— Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для серьезной битвы может и не хватить.

— Будем искать еще! — Гляжу, они настойчивые ребята. — Если найдем, эту подарим вам.

— За что же, — говорю, — такая напасть?

— Ее можно вдоль распилить — две лодки получатся.

— Лодка у меня есть.

— Ну, тогда бак для душа.

— Есть — бочка из-под горючего.

— Можно просто емкость — собирать воду для полива картошки, грядок...

— Да, — говорю, — лягушек разводить — доброе дело.

Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала.

Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары приехали на большом грузовике.

— Надо спешить, пока снегу не понавалило да не засыпало.

Подождал я до полудня — треб никаких не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот день: ездили и по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке... Форсировали ручьи, речки, болота... Нашли нужное место.

— Вот оно, — сказал газовик.

Ракеты не было.

Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно: автомобильных следов мы не обнаружили.

— Военные, на вертолете, — определил газовик.

И поползли мы обратно. В одном месте, возле ручья, обратил я внимание на малоразмерные следочки сапог.

— Бабы, — пояснил электрик, — за клюквой хаживали.

— Откуда тут клюква? — спрашиваю. — Тут и болот нет.

— Бабы, они такой народ, что клюкву где хошь отыщут.

— А бабы-то здесь откуда? — не понял газовик. — Мы километров шестьдесят отмахали — и никакого жилья.

— Это — вкругаля на машине, — электрик твердо держался своего, — а пешком до ближайшей деревни тут километров двенадцать...

— И что ж, здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?

— Ну а коли ближе нет? Бабы, они за клюквой хошь куда двинут, известно.

И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область — стоит на обочине грузовик, рядом шофер-парнишечка, машет рукою. Притормозили: поломался, просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен.

— Выручили, — говорит. — Утром вагон с металлоломом уходит, надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы.

Оказалось, парнишечка этот — директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер, и везет он на школьной машине лом цветного металла — алюминия...

— Ракета, — говорит, — у нас на делянке три года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут объявление в газете: скупка металлолома. Чего, думаю, добру пропадать? Учеников собрал: пришли, раскурочили и по кусочку на себе унесли...

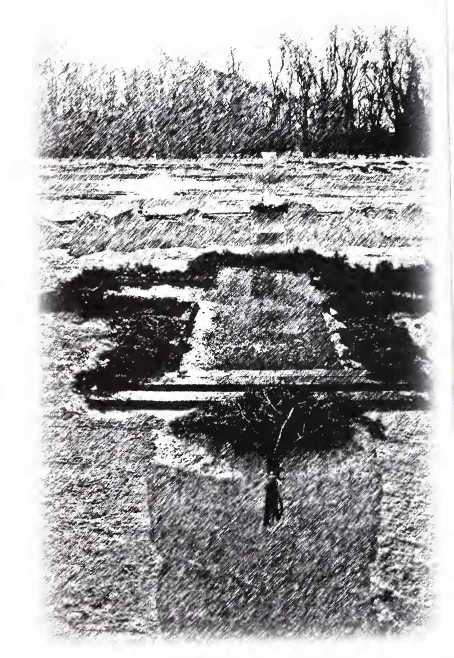
— А ты: «бабы», «клюква», — передразнил газовик.

— А что? — упирался электрик. — Бабы, они такой народ: клюкву где хошь отыщут.

— Жаль, — говорю, — конечно, ребята, но не праздновать нам девятнадцатого ноября День артиллерии и ракетных войск.

— Ничего, еще что-нибудь придумаем, — пообещал газовик.

Я не усомнился.



Иордань



Крещение. Служу молебен на реке. Над прорубью — иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом: женщины в ярких платках, детишки. Все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое мужичков с огромной молочной флягой — последние в очереди. Старушенции, толкущиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к иордани:

— По те года после молебна всегда солнышко сказывалось.

— Ноне уж больно туча страшна!

— Даром что страшна: и сёдни посветит.

— Отойдите, — говорю, — лед тонкий.

Не слушаются. Погружаю в иордань крест, и народ замолкает.

— Батюшка, батюшка, — шепчут старухи.

Поднимаю голову — посреди тучи солнце... Потом начинается галдеж, давка, как в магазине.

— Поодинке подходите, без толкотни: всем хватит, — успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби.

Когда запираю церковь, народа уже не видать — все понабрали святой водицы и разбрелись. А мужички еще раньше исчезли.

Ночью приезжает какая-то заполошная тетка:

— Я — из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили, пятидесятилитровую флягу дали, они вернулись пьянехонькие, говорят: воды не хватило, батюшка остатки с собой унес...

— Это как, — спрашиваю,— «не хватило»? Река-то, наверное, бежит?

— А им — не хватило. Водки — хватило, а воды — нет.

— Так набрала бы сама.

— Я и набрала — для всего поселка, а мать просила с иордани, с-под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит... Не откажите — машину второй раз за тридцать километров гоняли...

Пришлось поделиться.

— Интересные, — говорю, — у вас мужики: «воды не хватило».

— Что уж тут интересного: бутылка вместо иконы — и все.

Лесная пустынь



Местность, в которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний, ниспосылавшихся русской деревне. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некоего укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали.

Сохранился в селе и храм. Каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь: искали место для уединения — для скита то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом: две бутылки — тому, четыре — этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный «Урал». Дело было весной, но поздней: снег сошел, и даже в лесу зеленела первая травка.

Тяжелый грузовик медленно полз по давно не езженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев, и тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров десять-двенадцать и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку вроде охотничьей, сложенную, однако, не охотниками, а пастухами: вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится и ночевать придется именно здесь.

К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердое ложе целительно для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе.

До чего же вольно, до чего хорошо нам было! Никуда не надо спешить, никаких сроков пред нами — времени словно и вообще нет. А уютно — как бывает лишь детям «в домике», где-нибудь под столом.

Поразмыслив, придумали обустройство постелей: наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться.

Был прекрасный весенний вечер — тихий, теплый, искрилась мелкая, некусачая мошкара, тянули вальдшнепы. Я рассказал отцу Дионисию — так звали иеромонаха — об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое, грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом.

— Это что — языческая примета? — спросил он.

— Да какое уж тут язычество, — говорю, — просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может понять как вызов. Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите! — Я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели.

Отец Дионисий не понимал.

— Встал, — говорю, — на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой.

— Так это он до такой высоты дотянулся?

— Ну да, — говорю.

И мой напарник запросился домой.

В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев.

— Как паровоз, — сказал отец Дионисий, — и, помоему, паровоз этот приближается... Он избушку-то не сломает?

— Не должен.

— Что же он так ревет?

— Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный.

— А теперь ворчит.

— Это по-стариковски, по-доброму.

— Вы меня все успокаиваете и успокаиваете, а я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто общаться с медведем. — И начал шептать молитву.

Я, конечно, тоже ничего не достиг и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки: если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее. Судя по следам, зверь был непомерный какой-то и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Оставалось надеяться лишь на его рассудительность да на молитвы иеромонаха.

Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли — переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно — лет пять, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо.

— Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики?

— Не обязательно, — отвечает отец Дионисий, — я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их и, если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика невероятно гармонична, она — от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию — пианист, много играл, много слушал... Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей: скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти. Не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда

что-то вызывает сомнение, приходится уточнять, но нечасто.

— А двадцатый век?

— Первая половина — потруднее, там еще только все разваливалось, все перемешано — приходится сверять, а потом гармония совершенно исчезла и пошли диссонансы — чем страшнее, тем лучше, редактор может пропустить любую чушь — автор все равно не заметит. Большинство произведений и исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца двадцатого века есть несколько ритуальных имен. Их, как пароль, то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господню не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы три мелодии из сочинений ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: вы мне — три мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ — тридцать мелодий Чайковского, или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха... Сразу начинается: это совершенно иная музыка, концептуальная... Она действительно концептуальная — в плане идеологическом или даже духовном: гармония — от Бога, а разрушение гармонии — от... сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся «концептуальность».

Он помолчал, а потом осторожно спросил:

— А медведь больше не придет?

— Не должен.

— Да кому он вообще чего должен? — И мы рассмеялись.

— Куда все исчезло? — вздохнул отец Дионисий.

— Что — все?

— Да все... Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград

на Мравинского… Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно… Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер явится.

Утром шофер не появился. Мы доели остатки хлеба и ждем: он, между прочим, должен был принести провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке — получился обед. Пошли гулять: обнаружили развороченный муравейник, и я рассказал отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся



и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались с треском, словно от взрыва.

— Что это? — растерянно спросил отец Дионисий.

— Испугался. — Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался.

Других приключений в этот день не случилось, вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем.

Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз «паровоз» удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем.

— Куда это он? — спросил батюшка. — Неужели мы его так напугали?

— Не похоже.

— А обидеться он не мог?

— Не должен. — И мы опять рассмеялись.

Утром пришел шофер. Повинился, что опоздал на сутки — искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружились следы двух медведей: огромные — нашего и поменьше — какого-то незнакомого, чужого. Стало быть, прогонял чужака.

— Тогда ладно, — успокоился отец Дионисий, — а то я уж думал, что мы его чем-то обидели.

— Бо-ольшой, — покачал головой шофер, — но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он — там, спит. Вместо берлоги.

— И что? — взволновался батюшка.

— Что — «что»? Подстрелили... Вторая шкура в стране...

— А первая где?

— Первая... где-то... не помню.

Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся.

К полудню добрались. Осмотрели храм — довольно обычную постройку конца девятнадцатого века. Стены внутри были закопченными, как после пожара.

— Отчего это? — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата.

— Да тут году, наверное, в семидесятом художник с писателем ездили — иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось.

Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так два дня потерял — некогда. Я спросил его о впечатлении.

— Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло и ни одного строения не осталось — даже переночевать негде. Пусть начальство решает: настоятель наш — дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная, особенно — жизнь в избушке. Настоящая пустынька, я бы и поселился в ней.

— А как же, — спрашиваю, — медведь? Вдруг завалится вместо берлоги?

— Не должен, — смеется отец Дионисий, и мы прощаемся.

Новая Москва



Зимой приезжаю по делам в столицу, ищу знакомого батюшку, а он в этот день требничает на погосте: его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже «ритуальный павильон», где можно совершить отпевание, но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития — краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают и панихиды — богослужения более продолжительные, но для народа безрелигиозного и пятиминутная лития — тягота невыносимая, потому что невтерпеж выпить.

С приятелем мы встречаемся только к полудню — в самое напряженное время: катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но тем не менее мы едва успеваем от могилы к могиле.

— Тунеядец! — ругается он, когда я отстаю на заснеженных аллеях. — Привык в деревне к спокойной жизни...

Я начинаю оправдываться, говоря, что и у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным

похоронам, причем теперь уже не только отпеваю — недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать: последнего мужика хоронили...

— Все равно тунеядец! — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. — У тебя народ мрет?..

— Конечно, — отвечаю я, не вполне понимая смысл вопроса, — мрет, да еще как!

— Это правильно... От этой правильности ты и обленился... А здесь все неправильно — здесь народ гибнет... В иные дни, случается, одних убиенных и хороним... Сегодня вот: первым с утра был мальчишка. Убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп, другой спорил, что это можно сделать только ногой... Тут как раз ребятишки из школы шли: и маленькие, и постарше... В общем, тот, который... рукой — убил, но череп не раскололся, а второй — ногой расколоть сумел... Ребятишки разбежались, а эти... ушли себе, и с концами... Потом старика хоронил — придушили за пенсию... Наркоманы, наверное... Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь, — видеть надо. Ты сейчас и увидишь...

Мы встретили очередную процессию и с пением «Святый Боже» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорщицки сообщил мужичок и исчез. Так же заговорщицки, шепотом, я спросил приятеля, кто это.

— Распорядитель.

— Распорядитель чего?

— Похорон.

— А что он все время бегает?

— Распоряжается, наверное.

«Начальство потребовало, чтобы он поделился», — и снова мы теряли его из виду и продолжали: «Святый Крепкий...» «А он сказал, что не может грабить шоферов, за это его и грохнули». «...Святый Безсмертный, помилуй нас», — допевали мы. «А похороны-то эти сами заказчики и устроили — на всю катушку!»

— Так он — распорядитель этот — их человек или ваш, кладбищенский?

— Их, конечно.

— И так здорово шустрит.

— Из бывших общественных работников, наверное...

Я понял, что это — в точности как у меня: там тоже бывшие парторги — главные закопёрщики на похоронах: и вокруг машины с гробом полосу на земле топором нарисуют, и когда в могилу монеты бросать скомандуют...

— А это еще зачем? — полюбопытствовал приятель.

— Монеты — чтоб, значит, «землю выкупить», а вот насчет топора — даже и не помню: кажется, чтобы смерть от живых отгородить...

— Бред какой-то...

— А ты говоришь: «тунеядец»... Подбежит такой вот «оргмассовый сектор» с топором: «Товарищ поп! Как там в соответствии с церковными постановлениями: машину обводить по часовой стрелке или против?» И можешь кол ему на голове тесать, но хоть тайком, а процарапает — после чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен... А с монетами: «Не беспокойтесь, — говорю, — не надо ничего выкупать: в земле места всем хватит». Но только

отвернешься — как начнут швырять пригоршнями... «Что ж вы, — говоришь, — делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарство, человека, глядишь, сегодня и хоронить бы не пришлось!»

— Сумасшедший дом...

Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, стал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово.

Он проникновенно вещал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный, о новой Москве, для которой покойный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось «некоторым из прежних»...

— Заказчик, — почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами.

— Похорон или... — тем же манером спросил приятель.

— И того и другого. Как только он закончит — начинайте: гражданская панихида была на работе, — и исчез.

Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы: еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег и стало ясно, что играют Шопена, — оркестр замерзал где-то впереди: в березняке, между могилами...

Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство лужёных труб, и хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился: инструменты стали

поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо: сначала исчезла всякая мелюзга вроде флейт, потом затихли кларнеты с фаготами, наконец умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан...

И напрасно. Потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой: хватит орать, мол... И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись.

— Недостреляли, что ли? — спросил я приятеля.

— Может, и недостреляли, — спокойно сказал он, осматриваясь. — Но вообще-то там стоит почетный караул... Только почему — одиночный выстрел, они же должны залпом?..

— Покойник что, был военным? — не понял я.

— Да он и в армии никогда не служил, — шепнул возникший распорядитель, — я ж говорю: на всю катушку похороны заказали: с оркестром, священником, караулом...

— А что за выстрел? — поинтересовался приятель.

— Да солдатик один, новобранец, перепутал: вояка какой-то рукой замахал, он и шарахнул... Начинайте, отцы... Только, по возможности, рук не подымайте... И какой придурок скомандовал оркестрантам?..

Кадило я раздувал не поднимая руки, согнувшись.

Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе: столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты со впечатляющей щедростью.

— Теперь бы смыться, — сказал приятель, — а то от ледяной водки голос подсесть может, а мне еще завтра — отпевать и отпевать... Прямиком не пройти — там, видишь, главный стол и поставлен...

Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими, а потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы кружным путем миновать пиршество.

И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках.

— Возможно, и вправду недостреляли, как ты говоришь... И чего тебя угораздило: сидел бы на своем курорте — у тебя там сейчас, поди, северные сияния... В баньке попаришься — бух в сугроб, а над головою — северное сияние... В избе печь топится, на столе — водочка, запотевшая, из сеней... Возле нее тарелочка с рыжичками и другая тарелочка — с беленькими...

— Рыжиков нынче не было, — вздохнул я, — только волнушки и грузди. Ну, белые — само собой, как обычно...

— Значит, одна тарелочка с беленькими, другая — с волнушечками, а третья — с груздочками... Хорошо!..

— Отцы, — сказал человек в маске, — выпить нету? А то околел от холода...

— А ты кто будешь? — спросил приятель.

— Вас охраняю.

— Нас?

— Ну да — вот эти похороны. А то — мало ли?..

Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть. Он же предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет:

— Мой участок — вдоль забора: от черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет — предупредительный в воздух, а дальше — на поражение. Вы не бойтесь, тут кругом наши ребята стоят — если что, сразу придут на подмогу...

Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надобно очень долго и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем.

— Ну, чего молчите, отцы? Неужели в вас понимания нету? Продрог ведь. — Он протянул автомат: — Вот предохранитель, вот спуск. Это — одиночные выстрелы, это — очередями. Лучше всего, отцы, короткими очередями: и шороху больше, и попасть полегче, а то вы все же люди нетренированные...

— Повесь на оградку, — сказал приятель, — да маску-то хоть сними — вдруг кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее: если через пять минут не вернешься — уйдем.

— Я мигом, — обрадовался он, — а маску снимать мне не положено. И не переживайте: во-первых, я в бронежилете, а во-вторых, — не успеют пальнуть, кулаком зашибу, — и, тяжело топая шнурованными ботинками, побежал по аллее.

Минуло пять минут, десять, пятнадцать... Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего

стрелка, потом — до памятника с голой теткой: и там бродил караульщик.

— Смотри, как здорово, — сказал приятель, — кругом наши люди.

Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом... И тут примчался сменщик: из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом к голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на вверенном нам участке никаких недоразумений не произошло, сдали автомат и отправились восвояси.

— Даже не знаю, как и благодарить вас, — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидали.

Благополучно добравшись до «ритуального павильона», погрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку, как вдруг дверь распахнулась от удара ногой и вошел человек в маске.

— Отцы! — победно воскликнул он, и мы поняли, что это наш друг, и никто иначе. — Нашел подарок для вас, — покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты. — Держите, отцы, пригодится... Ну, чего молчите? От души ведь!..

Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал. А когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не «Апофеоз войны» с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов.

Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся в Москву».

Счет



Брату было шесть, сестре — двенадцать. В конце лета их вывезли из Москвы.

Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неотапливаемые — чтобы не было искр над крышей — вагоны. Ни матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота валетом по двое, на верхних — старшие по одному. Наглухо зашторены окна, но свет все равно не зажигают — фонари только у проводников.

Полустанки, разъезды, станции. На станциях — кипяток. Воспитатели заваривают в бидонах чай — морковный, фруктовый, выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, мосты, у мостов охрана, зенитки.

Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные поля, среди полей — деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец двухэтажное здание бывшего дома отдыха.

Среди ночи подъем — «тревога». Директор интерната — лихой, веселый мужчина в морской фуражке

и летчицкой куртке, с кобурой на боку — выстраивает в коридоре старших, сообщает, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, которого надо обезвредить, и приказывает: «Вперед! Стране нужны только сильные и смелые люди!»

Гонит их на погост, заставляет ползать между могилами, дает «отбой». Одних благодарит «за смелость и мужество», другим выносит взыскания «за предательское малодушие». «Тревоги» отныне следуют через ночь, по ночам же устраиваются пионерские сборы и заседания совета дружины.

Однажды на легковой машине прибывает начальство — гражданское и военное. Осматривают противопожарный инвентарь, заглядывают в продовольственную кладовку, дровяной сарай, проверяют документы у взрослых, и, к всеобщей неожиданности, интернат оказывается без директора.

— Это недоразумение, — успокаивает он растерявшихся подчиненных, — кое-каких записей не хватает.

— На фронте добавят, — мрачно шутит военный и протягивает руку: — Оружие...

Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыдливо опускает глаза: «Ненастоящий».

За неимением выбора новым руководителем назначается доставленный из ближайшей деревни бывший конюх.

— Титов? Иван Валерианович? — спрашивает военный, разглядывая конюхову справку.

— В точности так, Аверьяныч я.

— Действуйте.

С тем и уехали.

Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, как часто будут теперь устраиваться «тревоги». Аверьяныч, не успевший еще, кажется, осознать,

что сталось, обвел всех рассеянным взглядом и тихо сказал: «Пошто зря ребятишек мучить? Да и покойников тревожить грешно...»

Собрали во дворе детей, представили им нового директора.

— Вот что, — проговорил он, когда толпа, обсудив случившееся событие, попритихла. Откашлялся и повторил: — Вот что... Война, по всему видать, к зиме не кончится, стало быть, про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших... наших то есть... надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас с вами пойдет такая: которые еще совсем малые — не ученики, — тех за ворота не выпускать, не потерялись чтобы. Остальные — и вы, гражданки учителки, тож, извиняйте, конечно, — разделимся на бригады, работать будем: дрова заготовлять, грибы, ягоды...

— Урра-ааа! — закричали дети.

— Поголовье сохранить надобно, — сказал еще он, но этих слов никто уже не услышал.

«Здорово-то как! — подумала сестра. — Жаль, что война скоро кончится». Предыдущим вечером она по просьбе старухи-нянечки читала вслух письмо из Ленинграда. Письмо было июльское, читанное не единожды, старуха знала его наизусть и, одобрительно кивая, повторяла шепотом: «Дедушка ваш задерживается... по причине военных действий... дороги закрыты... временно... до октября... от Коли весточки нет... Алеша уехал... учиться на танкиста... Маруся». «Маруся — это невестка моя, — объясняла старуха, — Алеша — внучек, Коля — сынок, он моряк у меня, в плавании, а дедушко, вишь, попроведать внучека поехал, всего на неделю-то и собирался, да вот — по причине, до октября».

Шел сентябрь.

Аверьяныч спешил. Грибов запасли быстро: насолили, насушили, должны были вот-вот управиться и с ягодой: клюквой, брусникой. С дровами дело обстояло куда хуже: работники годились лишь чтоб собирать хворост. Конечно, начальство обещало прислать на несколько дней пару-тройку леспромхозовских вальщиков, но Аверьяныч, как всякий бывалый человек, следовал принципу «На Бога надейся, а сам не плошай». Когда они смогут выбраться, лесорубы-то, да и достанет ли им времени заготовить дров на всю зиму — как-никак плита и четыре печки... Каждое утро, затемно еще, уходил Аверьяныч в лес, валил тонкомерные сухостоины, обрубал сучья, а хлысты выволакивал на просеку, с тем чтобы вывезти их потом на санях. Пока топили остатками прежних запасов.

Дни становились короткими, темными, снег шел, дождь моросил. Детей теперь не выпускали из дома. Болезни начались. Карантин отделил первый этаж от второго, и сестра, жившая со старшими на втором этаже, скопив косточек от компота, заворачивала их в бумажный фантик и опускала на нитке к форточке первого этажа — брату, гостинец.

Нянечка получила новое письмо: «Зачем вы только старика своего прислали? И так есть нечего, а тут еще он. Работать, видите ли, не может, только лежит да за сердце держится, а чем я его кормить буду? Знали, что больной, так и не присылали бы на мою шею нахлебника. Будьте вы прокляты!»

— Фашистка! — возмущенно воскликнула читавшая письмо сестра.

— Не знала я ничего, — качала головою старуха, — здоров ведь был, не хворал ведь... Да и войны тогда не было... Дедушко ты мой, дедушко, прости... — Она

стянула с головы платок и долго сидела так, в неподвижности, не утирая слез.

Карантин вскоре пришлось отменить — чихали и кашляли сплошняком все. Докторша не успевала ставить банки. Запасы лекарств, и без того ограниченные, иссякли.

— Что у тебя осталось? — спросил Аверьяныч.

— Канистра спирта, литр йода, бинты, — отвечала докторша.

За полканистры спирта он выменял где-то мешок горчичного порошка, за пузырек йода — корзину сушеной малины. Можно было лечить.

Весь вечер жарко топилась плита, пар из кухни валил, точно из бани; с ведрами, полотенцами бегали нянечки, воспитательницы, учителя, директор: понаставили всем самодельных горчичников, понапарили ноги, а потом еще напоили всех чаем с малиной и до утра меняли простыни у малышей. Утром интернат начал выздоравливать.

Но Аверьяныч попросил еще один пузырек йода — на обмен: «Ослабли ребятишки, мясцом бы их подкормить». Однако мяса, против ожидания докторши, он не принес, зато принес дроби, пороху, и со следующего дня самым хилым да хворым стало перепадать по кусочку зайчатины или другой дичины. Потом навалило снегу, и старик охотиться перестал. Однажды еще он сменял двести пятьдесят граммов спирта на раздавленную лошадью курицу, но потом уже и менять нечего стало.

Поехал Аверьяныч в райцентр. Дали ему мешок овсяной муки, подводу картофеля, подводу моркови, бочку керосина, соль, спички, мыло.

Под Новый год Аверьяныч взял на берлоге медведя. Как это было — никто не видел, никто не знал.

Когда директор вернулся, руки у него тряслись — не то от усталости, не то от пережитого. Но отдыхать было некогда, следовало поскорей вывезти тушу, чтоб волкам не досталась. И тут же, потемну, взяв с собой самых крепких теток из интернатского персонала, отправился он на санях в лес. Дорогой заставлял напарниц петь погромче, и они усердно блажили, а на обратном пути Аверьяныч, шедший за санями, то и дело поджигал в руках пучки сухих еловых веточек и, дав разгореться, бросал в снег. И уж неподалеку от дома, услыхав вой, он разочек бабахнул для острастки из двух стволов, так и добрались.

Медвежатины хватило надолго, но вот дрова скоро кончились: и прежние запасы, и заготовленные хлысты сушняка. Аверьяныч перевез в интернат собственные — все до полешка. «Январь протянем, — прикидывал он, — там штакетник начнем палить, а потом?» Снова собрался в город, но тут наконец нагрянули лесорубы. Не вальщики, правда, а вальщицы — мужиков и в леспромхозе не оставалось. Зато целая бригада: со своими харчами, своими лошадьми и даже с сеном для лошадей, а главное — с бензиновой циркуляркой, которой можно было кряжевать бревна.

Женщины разместились было в интернате, но уже вечером стало ясно, что это ошибка: дети плакали, кричали наперебой: «Это моя мама», «Нет, моя», — просились на руки... Измученные вальщицы провели полночи в слезах и рыданиях. Пришлось переселить их в деревню, в пустующую Аверьянычеву избу. Отработали они неделю без продыху и уехали. Глядя на заваленный чурками двор, директор объявил: «Теперь не замерзнем».

Вскоре после Нового года нянечка получила очередное письмо: «Дедушка умер. Похоронила я его хорошо. В Колину рубашку одела. Помните, ту, с украинской вышивкой, почти не ношенную. На кладбище свезла и даже колышек с дощечкой в землю заколотила, чтобы знать место, а то хоронят там всех вперемешку. Пишу я из Вологды. Меня эвакуировали сюда как тяжелораненую. Во время бомбежки завалило меня и перебило обе ноги. Хоть нынче я и без ног, но все плачу от счастья, что живая. Мама, страшнее того, что я видела и перенесла в Ленинграде, быть ничего не может. После блокады и ад раем покажется. От Коли так весточки и не было, и про их корабль ничего узнать мне не удалось. Да теперь я Коле такая и не нужна. Лешенька писал шесть раз из Москвы, потом там наступление началось и что-то нет писем. Простите меня, мама, за все и прощайте. Адрес свой я вам сообщать не буду».

В конце января докторша ездила на станцию, получила медикаменты, и у Аверьяныча вновь появился обменный фонд, с помощью которого он сумел полностью укомплектовать интернат теплой одеждой и валенками. Не все, конечно, было новым, не все — нужных размеров, и взрослые теперь по ночам шили, кроили, штопали. «Покрепче, главное, — наставлял директор. — Пусть не так баско, но покрепче — нам долго еще тут куковать». Сам он подшивал валенки.

Брат писать еще не умел, он нарисовал отцу поздравительную открытку: танк со звездой. На обороте сестра написала: «Дорогой папочка! Поздравляем тебя с Днем Красной Армии! Желаем перебить всех фашистов! Я сочинила стихотворение: “Жду тебя, и ты вернись, только очень жду...”» Заканчивалось

стихотворение словами: «Просто я умела ждать, как никто другой». Спустя время пришел ответ: «Хорошие вы мои, дорогие! За поздравление спасибо. За "стих", если вернусь, выпорю» – вот и все, что было в конверте со штемпелем «просмотрено военной цензурой».

Немного совсем оставалось уже до весны: «Скорее бы таять начало, – вздыхал Аверьяныч. – Тетеревов, глухарей добудем, соку березового попьем, а там, глядишь, утки поприлетят, гуси – все перепадет хоть что-нибудь. Чахнут ребятишки-то... Дотянуть бы до Егорьева дня, дальше легче: хвощи-пестыши повылазят, другая травка – подлечимся. Бывало, на Егория скотину выгонишь, побродит она по отмерзшей земле под солнышком, подышит ветерком, чего-ничего пощиплет и – где хворь, где худоба?»

Не дотянули: корь, коклюш, скарлатина. Три палаты пришлось превратить в изоляторы, власть взяла докторша: «Полная дезинфекция, марлевые повязки, проветривание помещений...» «Усиленное питание», – чуть было не скомандовала она машинально, но спохватилась и промолчала.

Брат заболел скарлатиной. В палате рядом с ним лежала дочь докторши. Остальные скарлатинники выкарабкались кое-как, а этим становилось все хуже и хуже – не повезло, тяжелая форма.

Наступила ночь, которая должна была стать для них последней. «Сорок и восемь, сорок один и две», – записав показания градусников, докторша вдруг спросила нянечку:

– От вашего сына... ничего нового нет?

– Нет, – отвечала старуха. – Ни от сына, ни от внучека. – И вдруг заплакала. – Невестка писала, что...

Но докторша перебила ее:

— А кто родители этого мальчика... не знаете?

— Этого? Как не знать — знаю, сестра евонная мне рассказывала. Отец воюет у них — командир, а мать... запамятовала, кем она... Одним словом, в Москве, в столице самой... Там рядом и Алешенька в наступлении...

— А мне муж писал, что должен вот-вот отпуск получить, — задумчиво проговорила докторша. — Навестить меня собирается.

— Дак вы уже сказывали мне... Это, конечно, дело хорошее.

— Идите, отдохните немного, скоро светать начнет.

— А вы управитесь?

— Чего ж теперь не управиться? — докторша холодно улыбнулась.

Старуха пошла будить Аверьяныча:

— Желанный, ты уж подымайся: надобно два домика сострогать, кончаются ребятишки-то...

— Дура! — он свесил с кровати босые ноги, протер глаза. — Городишь незнамо что! Кто ж живым людям гробы робит? Кикимора! Для себя самого еще — куда ни шло, а для других... Да не реви ты, буде, наголосимся еще.

К рассвету девочка умерла. Мальчик же стал поправляться и вскорости совершенно выздоровел.

А муж к докторше так и не приехал — никакого отпуска он получить не успел.

После войны сестра окончила педагогический институт, получила распределение в Ленинград и до пенсии преподавала литературу в детских домах.

Брат стал крупным физиком. Он то ездит по заграницам, выступая на симпозиумах и конгрессах,

то катается на лыжах с каких-нибудь солнечных гор. В редкие дни, когда он дома, собираются у него гости — такие же, как он, ученые люди. Они любят петь под гитару о дождях, комарах, кострах и разлуке, поют отрешенно, самозабвенно. Любят беседовать о «безграничных возможностях человеческого мозга», о «величии силы познания», о том, что «умение считать только и может спасти человечество от катаклизмов». «Главное — счет», — частенько повторяют они.

Давным-давно нет Аверьяныча, старухи-нянечки, нет и докторши. Тяжкий ей выпал жребий: в ту далекую зимнюю ночь у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина — чудо-лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одного...

Уездный чудотворец



Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядною мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал «аз, буки, веди, глаголь, добро», — памяти об этом на земле не осталось.

Потом наступил двадцатый век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе — на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это — государственной важности».

Остался Иван караулить — начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор. «А может, сам господин генерал пожалует», — обронил между прочим полковник.

Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на

шаг — исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили — прямо над головой просвистела.

Потом вдруг — поздно ночью уже — послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит — человек идет.

— Стой!

— Это я, — говорит, — Нюра. Баба, стало быть.

— А кто еще с тобой?

— Никого, одна я.

Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»

— А с кем это ты разговаривала?

— Ах, это вам приблазнилось.

— Дак вроде разговаривала.

— Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну проводите же, а то я в омморок упаду или совсем умру, — и падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:

— Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлучаться — государственной важности...

— Ну хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бессердечный: я ведь совершенно умереть могу.

Повел он ее, а самому все чудится: шебаршит за спиной кто-то... Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю», — хвать его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла.

— Благодарствую, — говорит. — Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела.

Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его — без сапог. Вот те и Нюра. Стало быть, не одна она шла, а в компании... Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору бо-ольших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое отчаянье, что другой кто не выдержал бы и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости, он полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера — в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил:

— Грамотен?

— Так точно. Читать и писать умею.

— Будешь учиться на фельдшера... Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-людски — что еще надо?

Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла донельзя споро. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак: ампутированные руки и ноги летели — знай успевай выносить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердела.

С войны Иван Фомич возвратился фельдшером. Военным фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом — на курсы дантистов и наконец на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж не задерживались.

Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил... Но дело, строго говоря, не в этом — не в общественной полезности его труда; полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно — как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия: в любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному.

Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая — шестеро детей. То есть всего — девятеро, но трое умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг, однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации: она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность.

А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, кому-то недостает.

Каким образом шло развитие этой натуры — неведомо. Одно точно: душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием.

Женился он романтически — невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма-тьмущая, а тогда — воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, высоченным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях, — а от Трескова езды верст десять, — волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам — отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту — все ж не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако, дня через два-три, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности — привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней: Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тысяча девятьсот сорок шестом году, женился же фельдшер в тысяча девятьсот шестом, то есть впереди еще оставалось сорок лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну — империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах двух фронтов: сначала — отступавшего Северо-Западного, затем — блистательно наступавшего Юго-Западного. Домой

попал в самом конце семнадцатого года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали и на порог ввалился мужик:

— Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дите помирает!..

— Иду, голубчик, иду. Сейчас... Только вот саквояжик возьму...

С саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку — всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал — через плечо, вместо ягдташа; бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке — погреться, чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит — рябчиков, тетерочку: даже пустячной прибыли не сносил.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару — они сохранились в городе и поныне, — навстречу священник. Остановится Иван Фомич:

— Эх, батюшка, грешен я, грешен — воскресную службу пропустил.

Тот ему:

— Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так в этом мой грех — мало, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся. — Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением.

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим

рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение они восприняли как знак барского недовольства: начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был образцом не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собою пример охотничьей безграничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой — охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались прасольством, то есть закупкой и перепродажей скота. А когда из Москвы приезжал барин... нет, не так... Когда барин, скакавший, словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «ур-ра!». Начиналась охота: гончие, борзые — праздник! Интересно, что угодья его резко отличались от окружения: просторнейшие луга с оврагами и островками леса — чистая полустепь, тогда как на много верст кругом — буреломы, и всё предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конечно.

Как-то гоняли лису — не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять

зверя, баба-дура возникла: как получилось — никто не видел. Подскакал барин к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся да и назад. Вечером сказали ему, что баба преставилась: по горлу он ей попал...

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами «Нет мне прощения и не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным — и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономическою наукой и попал в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после японской войны пребывала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь...

Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина, однажды он выдергивал зуб самому помещику, но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но — чахотка... Разве ее одолеешь?

Отступила, однако. Почему? Фельдшер не знал — лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором.

Если барин был молчалив, то уж кучер — напротив: и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов.

— Как же так? — не понял Иван Фомич. — Он ведь вроде за мужика, за Россию...

— В точности, — согласился старик. — За Россию, за мужика, оттого и враги.

— Да кто же они?

— Книжники и фарисеи, — удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной, — кто ж еще? Враги у нас одни и те же аж до самого Второго Пришествия.

А затем сообщил и главный секрет:

— Скоро развалюция будет.

Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать.

В ноябре сорок первого фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой.

Дело было в больнице. Хворый народ рядил, гадал, и все упирались в двадцать первое декабря — в день рождения вождя нашего.

— Устрашительно, — согласился фельдшер. — Очень даже. Но сподручнее все-таки шестого — в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще шестого начать.

Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько: мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский! Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях — одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных — через посредничество воюющего на фронте сына — связях со ставкой. А он лишь недоумевал: когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Чего же тут непонятного?

В конце сорок четвертого он предсказал еще, что окончится война «на Егория», потому как и «главный полководец у нас Егорий», да и вообще — «так сподручнее». То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в сорок первом году — несдобровать бы ему, а тут — простили. Правда, пожурили для строгости: «Жаль, не слышит тебя теперь товарищ Емельян Ярославский», — но простили. Хотя к «Егорию» война фактически и закончилась, так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный.

Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь. И фельдшер, по обыкновению безропотно, отправлялся, куда вызывали.

На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.

Великая тайна войны



Давно это было. Работал я учителем в школе. Однажды зимними каникулами выпало мне дежурить по учебному заведению. А у нас тогда гостили ребятишки откуда-то из провинции. И как раз в день моего дежурства они встречались с двумя земляками: оба — полковники, оба — герои. Прежде никогда друг друга не видели — познакомились здесь, в школе.

Ребятишки расспрашивали их о войне, полковники вспоминали, и неожиданно из частных воспоминаний сложилась картина грандиознейшего, даже по меркам той войны, события... Надо заметить, что событие это как блистательная военная операция описано в учебниках истории, в энциклопедиях. Однако всем описаниям присуща странная закономерность: если о развитии наступления рассказывается более или менее подробно и обстоятельно — то есть вполне в традициях военной историографии, то победное завершение операции излагается с неожиданной лапидарностью: «К утру 17 февраля окруженная группировка была ликвидирована, противник потерял

55 тысяч убитыми». Думается, и не самому великому полководцу понятно: уничтожение пятидесяти пяти тысяч хорошо вооруженных солдат, поддерживаемых танками и артиллерией, — дело хотя и выполнимое, но далеко не простое. Естественно возникает мысль о необходимости затяжных, упорных боев на весьма обширной территории: артподготовка, авианалеты, танковые атаки, захват передовых рубежей... Но ничего подобного в описаниях мы не найдем — победа словно падает с неба. Об этом загадочном разгроме и вспоминали фронтовики, пришедшие на встречу со школьниками. Однако по порядку.

Сначала требовалось рассказать, за что получена Золотая Звезда.

Танкист в дни Курской битвы пригнал с поля боя целехонький «Тигр», который долго и безуспешно расстреливали на полигоне, после чего решили оснастить наш танк Т-34 более мощными пушками. Вероятно, на полигоне побывал не один «Тигр», но то ли этот был первым, то ли дерзость разведывательного экипажа восхитила военачальников... По дну оврага они проникли в расположение противника, заглушили мотор, вскарабкались наверх, обнаружили несколько бочек с горючим — полевую заправочную станцию, дождались, когда подойдет вражеский танк, захватили его и погнали к своим.

— И вот гоним обратно, — рассказывает полковник, — впереди Т-34, следом «Тигр», на башнях — красные флажки, то есть: танки на марше. Я сижу в «Тигре», вдруг — ба-бах! Что-то в нас попадает. Молнии по всей башне! Гоним дальше. Опять: ба-бах! Опять молнии! Смотрю в прицел — а там прекрасная цейсовская оптика, — вижу: на опушке рощицы молоденький сержантик суетится возле сорокапятки. Заряжает:

ба-бах! Снова попал, снова молнии! Пушчонка слабенькая, броню не пробьет, но искры-молнии по всей башне летают — страшно. Зарядили орудие, взял я повыше — по деревьям, выстрелил — всю рощу щепками завалило. Гляжу — сержантик потащил пушку в сторону — меняет позицию... грамотный! Я потом сходил к нему, познакомился. Похвалил за меткость, за выучку. Говорю: тебе бы, брат, не сорок пять миллиметров, а восемьдесят пять — ты бы с твоими талантами столько техники покрошил бы... Растолковал насчет красных флажков на броне, а то у него упущение в образовании было... Вот за этого «Тигра» мне и присвоили...

Второй полковник во время войны служил минометчиком. Он скупо сказал, что в феврале 1944 года его дивизионные минометы вступили в бой с превосходящими силами противника и бились до подхода крупных соединений нашей армии.

Школьники ничего не поняли, пришлось объяснять...

— Была такая Корсунь-Шевченковская операция, — начал герой-минометчик.

Герой-танкист с пристальным вниманием посмотрел на него.

...В детстве и отрочестве мне довелось переслушать великое множество фронтовых историй: война завершилась недавно и полностью владела памятью общества, а большинство взрослых мужчин были фронтовиками, и потому их знакомство друг с другом начиналось со слов: «А вы на каком фронте?..» Так бывало и в ресторанах, и возле пивных, в купе дальних поездов и в тамбурах электричек... Слушая эти разговоры, я всякий раз терпеливо ожидал момента, когда выяснится, что собеседники хотя бы раз

за время войны оказывались рядом. Таковое почему-то случалось всегда: один, скажем, воевал на Волховском, другой — на Воронежском, но потом по каким-то причинам одного куда-то перебросили, и выясняется, что второй в то самое время тоже был в том самом месте. Эти совпадения представлялись мне настолько обязательным моментом всякого взрослого разговора, что их отсутствие вызывало подобие беспокойства. Впрочем, я знал одно место, куда, как мне казалось, попадали почти все: Секешфехервар. На моей памяти ни один человек не сумел произнести это слово правильно, однако стоило мне для подсказки прошептать пару любых слогов этого слова, как обнаруживалось, что оба фронтовика там бывали. Так вот: слушая героев-полковников, я тоже ждал своего момента. И дождался. Причем шептать ничего не пришлось.

— Наши войска тогда окружили огромную группировку противника, — продолжал минометчик, — даже не окружили, а скорее — обошли ее: фронт переместился далеко на запад, а около семидесяти пяти тысяч немцев остались у нас в тылу. Командование как-то не обращало на них особого внимания: готовилось стратегическое наступление, а эти — ну и пусть себе бродят по степи: подвоза боеприпасов и продовольствия нет, побродят-побродят, да и сдадутся в плен. Тысяч, если не ошибаюсь, восемнадцать действительно сдались. Остальные, не сумев пробиться к своим напрямую, решились на сложный маневр: объединив все войска, пошли вглубь нашей территории, чтобы затем развернуться и выйти к линии фронта в каком-то другом месте, более подходящем для прорыва. Похоже, этот маневр оказался для нашего командования полной неожиданностью. Говорилось о возможном перемещении небольших разрозненных групп противника — на

этот случай и оставили кое-где у дорог артиллерийские и минометные батареи, пулеметные гнезда. Окопались мы посреди степи на холмушке, живем день, два, три, ждем, когда вражеская группировка сложит оружие и можно будет догонять своих — отправляться на передовую. И вот как-то утром слышим с запада гул. Пригляделись в бинокль — немцы: впереди — бронетехника, а следом — пехота и пехота, до горизонта. У нас тягачи были, мы могли уйти вместе с орудиями, и нас бы за это, наверное, даже не наказали — больно уж несоизмеримы силы: несколько человек против огромной армии. Но это я сейчас понимаю, задним числом, что называется, а тогда мысль такая никому в голову прийти не могла: только бой... Открываем огонь, они — из танков и самоходок по нам. А миномет, он ведь — для навесной стрельбы, можно и по закрытым целям, но никак не для артиллерийских дуэлей в чистом поле. Да еще и дивизионный — самый большой: его, если взрывной волной с места своротит, назад сразу не возвернешь. Зато уж мина — диаметром с трехлитровую банку, убойная сила — страшенная. Ей хоть куда попади: по живой силе, по технике — жуть, что творит! А торопимся — мажем, мажем, и все равно спешим: хочется побольше успеть, пока минометы не покорежило да нас не поубивало. И тут вдруг грохот с другой стороны — с востока. Глядим: танки, самоходки... наши! Мы сразу попадать стали... А танков — десятки, сотни...

И наступил момент:

— Вот! — подхватил полковник-танкист. — В одном из них был и я. Нашу танковую армию перебрасывали тогда к линии фронта для подготовки стратегического наступления. Сначала шли рассредоточенно, а в этом месте начинались овраги, и мы должны были пройти

между ними по старому шляху: у каждого на карте он был отмечен особой стрелочкой. Выкатываемся к нему, а тут какая-то куча бронетехники и по ней миномет бьет. У нас приказ был: в боестолкновения не вступать, да и вообще не задерживаться, но мы, конечно, по паре снарядов высадили... не задерживаясь... Ну и все, костер...

— Точно, — подтвердил минометчик. — Вся их техника враз полыхнула. И башня! Башня от какого-то танка летит над огнем, как картонка, и вращается... Жуть!..

— Да, помню, — кивнул танкист, — самоходка слева от меня шла, после ее попадания башня и улетела...

У этих ребятишек был в их далекой провинции школьный музей. Для музея они собирали материал. Записав ответы героев, школьники, похоже, весь материал собрали. И посему перешли к чаепитию. Минометчик, у которого в далекой провинции еще оставалась родня, вел земляческие разговоры, а танкист, давно утерявший связи с теми краями, продолжал вспоминать войну и тихонько рассказывал:

— Приходим в пункт назначения — небольшое село. Спим кое-как, кто где. Утром надо гнать дальше — нет горючего... Ждем. Самолет разбрасывает листовки. Мой заряжающий читает вслух: «Корсунь-Шевченковская группировка противника уничтожена, немцы потеряли пятьдесят пять тысяч убитыми». И позавидовал: «Везет же, — говорит, — соседям: награды получат, а то, может, и отпуска». Я ему, мол, при таком сражении и у соседей небось потери немалые... А он: «Слышь, — говорит, — командир, тут написано, что главную роль в разгроме сыграли мы — наша танковая армия то есть». Решили, что политотдел, как обычно, напутал. К полудню подвозят горючее, заправляемся.

Вызывают к начальству. Приказ: двадцать машин — обратно в степь. Цепляем бульдозерные ножи и начинаем утюжить шлях — тот самый, по которому вчера прошли сотни танков. Там — месиво: глина, трупы, стрелковое оружие... «Похоже, — думаю, — листовка была правильной и в политотделе на сей раз ничего не перепутали». Мы ведь на этом марш-броске не могли оценить происходившее: пехоты, конечно, было много, но она разбежалась, все попадали, паника... Знаете, киношники любят: пехотинец пропускает над собой танк и вслед ему бросает гранату... Это нормально, этому всех пехотинцев учат... Но когда на тебя идут сотни — сотни! — танков, когда земля ходит ходуном, а голова лопается от рева моторов, психика не выдерживает... Из-за распутицы мы старались идти не колонной, использовали всю ширину шляха... Получается, что ни у них вариантов не было, ни у нас... Такой марш-бросок получился... Ну, растолкали месиво по оврагам, возвратились в село.

На другой день прибывают англичане — военный атташе и еще несколько человек из посольства: заграница не верит сообщению о ликвидации вражеской группировки. Действительно: позавчера было огромадное войско, а вчера его нет — так не бывает. Начальство приказывает мне везти англичан. Дело в том, что я до войны еще окончил технический вуз и знал английский. А во время войны бывал в Америке: принимал «Шерманы», так что разговаривал свободно. «Шерман» — неинтересный танк, кстати... Ну да ладно: приказывают везти союзников. Атташе залезает вместо заряжающего, еще один англичанин — с фотоаппаратом — сверху, на броне. Приезжаем к битой бронетехнике. Фотограф в восторге — знай себе щелкает. А атташе высунулся из люка: «Где

уничтоженный противник?» Веду к оврагу. Он подошел, глянул и сразу же — наизнанку. Отдышался, попил из фляжки крепкого чаю и: «Где линия обороны?.. Где позиции артиллерии?.. Где воронки от авиабомб?.. Предъявите мне след хотя бы одного автомобиля, конной повозки, хотя бы одного сапога!» Ну где же я ему все это найду? «Здесь, — показывает, — следы только от танков». «Так уж, — объясняю, — получилось». Он постоял и говорит: «Любит Бог вас, русских». «При чем, — спрашиваю, — тут Бог?» — «А при том, — отвечает, — что, кроме Бога, в разработке уничтожения никто не участвовал: вашему командованию вложил в голову мысль о переброске танковой армии по этой дороге на запад, немецкому командованию — о выходе из окружения по этой же дороге на восток, потом двинул вас навстречу друг другу — гениально... А Генштаб ваш, — говорит, — к разгрому никакого отношения не имеет: там и сейчас толком не знают о происшедшем».

Допили мы с полковниками школьный чаек да и разошлись. Вот и все, что запомнилось. Давно это было...

«Ехал я из Берлина...»



Когда началась война, Борьку пристроили денщиком к важному командиру. Сашку пока не надо было пристраивать — годов не хватало. А он взял да и убежал. В местечке говорили, что во всем виноват священник, с сыном которого Сашка был дружен. Дескать, ходил к ним в дом, портился, портился и со временем испортился до того, что выкинул этот неумный фортель и воюет теперь на передовой.

Был он балагуром, шутником, слегка разгильдяем, а такие в окопах ценятся. Правда, за достоинства он однажды и пострадал. Прибыв как-то с донесением в штаб, Сашка решил перед обратной дорогой слегка вздремнуть — день выдался жарким, и бойца разморило. Только устроился в тенечке под деревом, подходит офицер: «Ты, брат, с передовой?.. Чего там у вас нового?.. Совсем ничего?.. Жаль... Да мы тут, корреспонденты, сидим, и который день никаких новостей — ничего передать не можем, начальство ругается». А по всему фронту тогда действительно было затишье. Уснул Сашка, но его опять разбудили: пришел

другой корреспондент. Потом — третий. Разговаривать с ними доблестному воину надоело, и он брякнул: «Фон Бока в плен взяли». Третий убежал. Потом приходили еще какие-то, может, даже первый и второй, переспрашивали, и Сашка не открывая глаз сквозь сон отвечал: «Взяли, взяли... Фон Бока... да». А корреспонденты бросились на узел связи, созвонились с Москвой, там проверили, сказали: дезинформация. И тут Сашку разбудили всерьез — двое автоматчиков. Объясняться пришлось в особом отделе. А он только и мог сказать: «Они спать не давали». «Что мне с тобой делать?» — спросил особист. «Отправьте домой, товарищ майор, в смысле на передовую», — попросил Сашка. «Опять шуточки? Отправлю, но сначала сортир вымоешь до полного блеска, а то эти корреспонденты все загадили». — «Разрешите выполнять, товарищ майор?» — «Выполняй. Потом доложишь мне — я проверю».

Война Сашкина протекала, на его взгляд, великолепно: всего три ранения, и те легкие, он даже в тыловые госпиталя не попадал. И с перевязанной грудью, и с подвешенной на шею рукой, и с костылем дальше медсанбата не отлучался. Заслужил две «Отваги», «За освобождение» и «За взятие» городов и вывел название своей части непосредственно на рейхстаге.

У Бориса баталия оказалась совсем иной: всегда при генерале, при теплых штабах, а уж наград — без счету. Но и Борис получил ранение. Обидное — в самом конце войны. Когда их танковая колонна вошла в очередной чешский город и Борис, сидя на броне рядом со своим генералом, готовился ловить букеты цветов, как это было доселе, кто-то открыл огонь. Командующий спрятался в люк, Борис вниз головой нырнул следом, однако карманы галифе у него были

набиты всякими боевыми трофеями, и он застрял, так что нижняя половина туловища с дрыгающими ногами осталась над танковой башней. Вражеская пуля попала в такое место, что ранение сделалось вдвойне обидным. Бориса наградили орденом, какового у него еще не было, и отпустили домой. Пользуясь штабной связью, он разыскал младшего брата, и они договорились возвращаться на Родину вместе.

Ехали в литерном поезде, в прекрасном вагоне, отдельном купе. Сашка пригласил офицеров и пировал, рассказывая без умолку байки и анекдоты, а Борис ничком покоился на верхней полке, с трудом опрокидывая подносимые стопари. Когда все разошлись и Сашка рухнул, чтобы уснуть, Борис похвастался, что везет с собой целый вагон добра. Свесив голову, он говорил про дворцы и замки, где размещался на постой генерал, про музейные ценности, антикварное оружие, напольные часы, обещал поделиться... Младшему брату это было совершенно не интересно, и он захрапел.

На другой день празднование победы продолжилось: всё так же сидели за столом офицеры, всё так же лежал на верхней полке Борис. Он никак не возражал против гостей — гости помогали ему спуститься, когда настигала надобность. И вот в какой-то момент, когда Сашка из купе отлучился, офицеры стали обсуждать слух о проверке, которая будто бы ожидает всех то ли в Бресте, то ли где-то еще. Дескать, энкавэдэшники устраивают жестокий шмон, и один генерал уже лишился звезд всего за пульман трофеев.

Борис попросил снять его и потихоньку ушел в направлении хвостового вагона. Отсутствовал долго — часа два, так что о нем уже все забыли. Вернулся измочаленный, с двумя сабельками в руках. Сабли

затолкали под стол, раненого подняли на полку, и всё продолжилось своим чередом. Ночью голова, свесившаяся с полки, заплакала: целый вагон антиквариата пришлось опростать — всех здешних стрелочников до конца дней процветанием обеспечил! Младший брат, не выразив нисколько сочувствия, опять захрапел.

А в Бресте никакой проверки и не случилось.

Борис хотел застрелиться. Офицеры успели отнять наградной пистолет и спрятали его внизу — благо раненый самостоятельно не умел спуститься.

В общем, доехали сабельки да напольные часы, которые не удалось вытолкнуть из вагона по причине болезненности задних мышц.

После войны братья оказались в Москве: Сашка стал водителем автобуса, а Борис — хозяйственником в министерстве. На семидесятилетии старшего брата, когда вспоминали о войне и дошли до возвращения в литерном поезде, Сашка между прочим обмолвился, что это он и пустил слух про шмон. Борис долго смотрел на него с недоумением, а потом произнес:

— Зачем?

— Ты ж мне спать не давал: только глаза закрою, а ты про всякую ерунду.

— Ничего себе ерунда — целое состояние!

— Да пропади оно пропадом, — и зевнул.

И полились на него яростные стенания. Но Сашка недолго слушал, он сказал: «Спать охота», — и уехал домой.

Лестница



Году в пятьдесят четвертом или в пятьдесят пятом отец ездил по службе в Калининградскую область и, вернувшись, рассказывал матери о поездке. Рассказывал при мне, справедливо полагая, что некоторые подробности не будут поняты мною по малолетству. Я и не понял тогда. Но память, оказывается, запечатлела. Для чего-то понадобилось...

Легковую машину, в которой отец ехал по шоссейке, остановил человек с красной книжечкой и попросил подвезти до какого-то населенного пункта. Дорогой разговорились, человек выяснил все, что его интересовало (люди с красными книжечками имели тогда на это полное право), а потом рассказал, что и сам он — москвич, но с тридцатого года в столице не бывал... Дальнейшие его откровения представляются мне труднообъяснимыми: то ли обида его была столь велика, что пересиливала и страх, то ли наступившее время казалось совсем безмятежным, то ли они с отцом крепко выпили, то ли — все это вместе, однако чекист сообщил, что из Москвы его убрали «за лестницу».

В день гибели Маяковского он — в ту пору молодой солдатик или курсант — дежурил на Лубянке и в числе первых прибежал к месту трагедии — квартира поэта была рядышком, по соседству. И видел лестницу, приставленную к окну с торца дома. Потом, когда он вернулся из квартиры на улицу, лестницы уже не было. Между тем окно располагалось очень высоко, и стремянка была столь длинной, что одному человеку ее уж точно было не унести. В тот же день он написал отчет, в котором высказал предположение, что неизвестные могли проникнуть в дом по этой стремянке, причем их должно быть трое, а то и четверо, — и очень сильных физически, иначе эту стремянку не принести и тем более — не поставить к стене, и куда она делась потом — непонятно... И вправду, эти трое или четверо физически сильных должны были куда-то оттащить ее — куда-то совсем недалеко и там спрятать... Назавтра проницательный молодой службист был высочайшим указом отправлен в далекое Забайкалье.

Однажды, встретившись в провинциальной командировке с бывшим сослуживцем, понял, что разбросали их по стране за злополучную лестницу. Впрочем, им еще повезло: кто-то из более опытных чекистов вообще исчез — вероятно, обнаружил нечто непредусмотренное в самой квартире.

Завершая свои краткие откровения, он сказал, что дом этот скоро взорвут или перестроят, чтобы начисто исключить возможность следственных действий.

Действительно, скоро не скоро, а в свой час и этот дом, и «Англетер» перестроили, а дом Ипатьевых — тот взорвали.

Западная окраина



Весной ночная смена кончается уже засветло. Пока руки в керосине отмоешь да пока переоденешься, солнце успевает подняться над Ваганьковской рощей. Теплый свет его падает сначала на некрашеный дощатый забор, потом на стоящие у забора автомобили и наконец на утоптанную до каменной твердости землю ремонтного двора.

Горько пахнет тополиной листвой, пылью железнодорожных откосов, желтыми цветочками мать-и-мачехи.

Сереге спешить некуда, да если б и было куда — сил нет. Забравшись на крышу «эмки», он засыпает. На широкой крыше соседнего «хорьха» спать, конечно, удобнее — можно вытянуться, с боку на бок перевернуться, но «хорьх» — розовый, а «эмка» — черная: быстрее нагревается.

За забором, рядом совсем, громыхают составы, паровозы ревут и свистят, но Серега не слышит — не может слышать: устал.

Просыпается он в полуденный час от негромкого, но неожиданного здесь, в мастерских, пиликанья

гармошки: привалясь к бамперу «студебеккера», сторож Ландин рассеянно наигрывает вальс «Амурские волны». Серега по багажнику сползает на землю:

— А где народ-то?

Ландин перестает играть.

— На митинг ушли, к железнодорожникам, — отвечает он, глядя вдаль.

— А что такое?

— Война кончилась, — объясняет Ландин, удивленно посмотрев на Серегу.

— Совсем, что ли?

— Совсем.

— Везде?

— Вроде, — пожимает плечами сторож.

Серега трет спросонок глаза, зевает и задумывается.

— Знаешь чего, — просит Ландин, — не в службу, а в дружбу: сколоти мне какой-никакой костылик, а то, вишь, с места сдвинуться не могу.

— У тебя ж был?

— Психанул сегодня на радостях, об железину обломал...

В углу двора, возле «Тигра» без башни, валяются обломки ландинского костыля. «Тигр» этот попал сюда с нашей техникой еще в те времена, когда мастерские занимались ремонтом танков. Теперь на плоскостях его корпуса рихтовали жесть, а в катках гнули прутки и трубы.

Померились ростом, получилось, что костыль надобно делать чуть выше Сереги. Сходив в столярку, он скоро принес не очень красивую, но достаточно прочную опору для Ландина:

— Углы ножичком подстрогаешь.

— Какой разговор! — Ландин обрадованно подхватил костыль. — Самое то, что надо!

Остался б Серега — все равно опять в ночь, — да голодно, вот и приходится идти домой.

На Хорошевке военнопленные разворачивают строительство: роют под фундаменты котлованы, пилят доски, выгружают из машин кирпичи.

— Эй! — окликает знакомый немец, который как-то попадал на работу в Серегины мастерские.

Несколько человек подходят, сдержанно здороваются, выясняют, слыхал ли Серега об окончании войны, после чего с явной радостью сообщают, что нашли наконец одного, который воевал под Москвой, и указывают на пожилого офицера.

— Наро-Фоминск, — говорит Серега, вопросительно глядя в глаза военнопленного.

— Я, я! — немец кивает.

— Каменка, — уточняет Сергей и повторяет: — Деревня Каменка, река Нара.

— Я, я! — Присев на корточки, он начинает щепкою чертить на земле схему. Показывает, где стояла их часть, где была артиллерия, где танки.

Серега со всем соглашается и, сев напротив, показывает, каким путем водил он разведчиков в немецкий тыл. Офицер, тыча пальцем то в схему, то в Серегину грудь, сбивчиво и — странно — с очевидною радостью, словно однополчанина встретил, все рассказывает и рассказывает что-то своим по-немецки.

Подошел молодой, не видавший войны конвоир. Немцы извинились за приостановку работы, и те, кто знал по-русски, принялись разобъяснять ситуацию.

— Правда, парень? — спросил конвоир. — Сколько же тебе годов-то было?

— Червонец.

— Ну ты даешь! Покажь медальку-то хоть! Или не заслужил?

— Дома, — устало отвечает Сергей, — в другой раз как-нибудь.

Немцы интересуются, отчего Серега в такой день не веселится, не празднует, дескать, неужели ему в день, когда окончилась война, «не карашо».

— Хорошо-то хорошо, — вздыхает Серега. — Да только... — обводит их тусклым взглядом. — Лучше б ее вообще не было.

Тут, усиленный рупором, с противоположной стороны улицы доносится резкий гортанный окрик. Немцы тотчас расходятся и вновь берутся за кирки и лопаты.

— Ихний начальник, — неодобрительно усмехается конвоир. — Вредный до ужаса — людям и поговорить не дает!

На прощание он пожимает Сереге руку...

Возле бараков среди развешанного белья веселится народ: патефон на табуретке, бабы, бабы, бабы да пяток мужиков. Один летун — при наградах, руках и ногах, и где ж его только отыскали такого? Остальные — калеки: у которого рукав в кармане, у которого деревяшка из галифе торчит, а есть и вовсе безногий, на тележечке. Отталкиваясь чурками, он подпрыгивает — танцует, и с дробным лязгом ударяются оземь колеса-подшипники, а лицо уже побагровело от боли.

Приближается идущий на посадку зеленый «Дуглас». Качнувшись с крыла на крыло, машина проносится над самыми головами, отчего сохнущее белье перехлестывается через веревки. Бабы машут вслед самолету кулаками, но он уже исчезает за забором Центрального аэродрома.

Мать в комнате. Сидит за столом. На столе бутылка вина и завоеванная Серегой медаль.

— Кого ждешь? — спрашивает Серега, решив, что мать совсем сбрендила и вновь стала ждать отца, хотя в сорок четвертом они даже могилку отыскали.

— Тебя, — отвечает мать. Встает, подходит к нему. — Если б не ты, если б не ты, — начинает плакать. — Я не знаю... — Вдруг в голос кричит: — Сережа! — и судорожно прижимает его к груди.

Он терпеливо дожидается, пока схлынут рыдания, пока обессиленно опустятся руки.

— Ну ладно, мать, чего ты? Нормальный ход!

— Да-да, — кивает она, — конечно. Ты садись, садись. Сейчас я примус разожгу, кашу согрею, и пообедаем, и отпразднуем, садись... — и уходит на кухню.

Серега садится к столу. Давясь слюною, глядит на закуску: ломоть хлеба, вареную морковину, соевые батончики и горсть сухофруктов. В животе начинает скрипеть, бурчать, булькать, но все равно хорошо и клонит ко сну.

Друг Сашка стучит в окно. Приходится встать и открыть форточку.

— Чего тебе?

— Слышал?

— Да слышал, слышал, все уже знают!

— Плотва пошла!

— Чего? — ошарашенно шепчет Серега.

— На Тарakановке плотва пошла — сменщик мой тридцать штук с утра заловил, так что давай скорей. Два крючка у меня есть, нитки есть, пробки найдем где-нибудь, червей у кавалерийской школы нароем, а удочки на берегу вырежем. Половим до темноты, а там, может, и на ночь останемся, костер разведем...

— На ночь я не могу, мне в ночь работать.

— Чегой-то? — удивляется Сашка. — У нас на авиационном так всем выходной дали.

— Ладно воображать-то: «на авиационном, на авиационном». Мы всю войну танки ремонтировали — тоже не хухры-мухры. А потом... может, и у нас дали — не знаю. Я ж когда уходил, никого, кроме сторожа, не было... Да дело не в этом. Боюсь, мать не отпустит — она на кухне, мимо не проскочить...

— Через окно!

— В форточку не пролезть, а рамы заклеены.

— Открой, все равно теперь уже тепло будет!

— А и вправду!

Прислушиваясь, не идет ли мать, Серега быстро надрезает ножом полоски бумаги, отворяет окно и выпрыгивает.

— Крупная плотва-то?

— Ну! Хорошая, говорят!

И они бегом бросаются к Таракановке.

За тенью



Баба Гаша из деревни Рысово Новгородской области рассказывала мне, как вскоре после войны, году, кажется, в сорок шестом, а может, и в сорок пятом, проходили через ее деревню немцы. Несколько раз. Когда парами, а когда и поодиночке.

Она не могла точно вспомнить причину, вынуждавшую их возвращаться из плена пешим путем: не то обворованные, не то проигравшиеся, не то отставшие от эшелонов, — ну да речь о другом: шли.

Рысово было в ту пору обыкновенной разоренной мором и голодом деревенькой дворов до тридцати — малолюдной и почти без мужиков. Хотя прежде здесь насчитывалось более сотни изб, но это давно, до коллективизации. Самым дорогим достоянием послевоенных рысовских хором были скорбные фотографии погибших родственников. У бабы Гаши погиб на войне муж Николай. Строгий и ясный лик его осенял из фотографической потусторонности все остававшиеся этому дому дни и ночи.

И вот в такую деревню, в такой дом приходили немцы. За скудный харч, за ночлег в сарае они выполняли

посильный труд по двору и шли дальше. Никто их не обижал, разве только несмышленый народ — ребятишки: то освистают, то «немец-перец-колбаса», а то и камнем вдогонку запустят, — взрослые же относились к ходокам бесстрастно. По молодости я недоумевал: как так? Баба Гаша в ответ начинала смеяться — вздрагивая плечами, но совершенно молчком: у нее был только один зуб, и рта она не раскрывала — стеснялась. Я же еще более горячился, мол, как же так: может, именно они и убили вашего Николая, а вы?.. В мгновение она становилась серьезной и тихо соглашалась: да, может. Потом, жалостливо поглядев на меня, спрашивала:

— А что же оставалось делать?.. Смотреть, как они сгинут с голоду? Подкармливали... Мужики вон наши — все калеками повозвертались: у кого ноги нет, у кого — руки, кто — контуженый, в ком — дырок, как в решете, а и те — дадут работенку да и покормят...

Как-то двое немцев подрядились поправить ей загородку. Сделали. Потом, стало быть, сидят в избе за столом и лопают постные щи с ржаным хлебом. Тут заявляется бригадир — он с костылем шастал, и костыль этот самодельный сильно по полу громыхал. «О-о, — говорит, — да у тебя гости! Кто ж такие?»

Агафья — а тогда она была не бабой Гашей, а колхозницей Агафьей Орловой — и отзываться на этот пустой вопрос не стала. «Не помню, косили мы в тот день или лен теребили: еще до рассвета из дома ушла, а вернулась аж к вечеру — сил никаких нет, а он с глупостями, будто не видит сам, кто они».

А бригадир и говорит: «Форма вроде германского образца, а сами что-то на немцев и не похожи».

Агафья отвечает ему: мол, немцы, документы показывали, из плена идут. Они достают документы,

протягивают бригадиру, а тот лишь отмахивается: не верю, дескать, подделка.

Тогда один заявляет: «Я — Вебер, он — Браун», — интересно, что фамилии эти баба Гаша запомнила, но произносила на свой лад: «Вебирь и Бряун».

Бригадир им снова напоперек: «Бывают такие Вебер и Браун, что и не германцы вовсе». Они разобиделись и стоят на своем: мы не другие какие-нибудь. А он опять: «Что я, германцев не видывал? Не знаю, как они робят? У них, — говорит, — души в безнадежной трезвости пребывают, потому робят они справно. А вы понаделали — кое-как: столбы неровно стоят, жердины приколочены криво, а грязи, грязи понатоптали», — и рукою махнул.

«Ну, значит, — рассказывала мне баба Гаша, — они исть перестали, вынают из карманов нарочитые тряпочки — ложки завертывать. Сперва, конечно, вытерли ложки этими тряпочками — чисто-начисто, потом завернули, поспрятывали, поднялись — ну, как тебе по команде! — и ушли. Да: "спасибо" сказали... Мне и ладно: ушли так ушли, мне и до изгороди дела не было: лишь бы крепко, чтобы скотина не забредала. Дал бригадир наряд на завтра, вышла я за ним на крыльцо, глядь: немцы работу свою нарушают. Что ж ты, говорю, ирод хромой, натворил? Из-за тебя они теперь разорят все, бросят да и уйдут. Не бросят, говорит. И пошкандыбал себе. Ну, утром собирает он нас на работу, гляжу — все порушено: ох и посмеялись бабы-то надо мной! Зашла, правда, в сарайку— спят работнички... Что делать? Оставила на крыльце чугунок с остатками щей, сковородкой прикрыла, а на сковородку еще утюг сверху — чтобы, значит, кошки с собаками не залезли. А когда воротилась, все уже было переделано: столбушок к столбушку, жердина

к жердине, где понакопано было — дерн, дорожка песочком посыпана... Одно слово — германцы».

Приходили и еще, но тех баба Гаша перезабыла, а этот случай запомнился. Вероятно, из-за вмешательства бригадира, вмешательства, придавшего событию неожиданный поворот. Бригадир, кстати говоря, последнее свое ранение получил на одной из центральных улиц Берлина.

Ходоки эти появлялись нечасто, тем не менее встречи с ними были достаточно заурядны; в селе, где стоит церковь и где погост, на котором покоятся теперь смиренные косточки Агафьи Орловой, немцы даже захаживали в храм помолиться, и никто их не выгонял, никто не трогал, хотя знали, что веры они — иной.

Понятно, что пешком пробирались только те, у которых лучшего выбора не было. Однако сдается мне, что путешественники, отроду не полагавшиеся на авось, имели весьма точное представление о характерах и обычаях народа, через землю которого им — отвоевавшимся — предстояло проходить без оружия и без всякой еды.

Они не могли не знать, что русские после драки кулаками не машут, они должны были догадываться, что злопамятство здесь не в чести, им дано было увидеть — и в дни опьяняющего триумфа, и в дни бесславия своего, — как милосерден этот народ к убогим, нищим, к попавшим в беду.

— Вы с ними вроде бы как со странниками? — уточнял я у бабы Гаши.

— Что ты, желанный! Странников в хоромине спать укладывали, а этих — нет: в баньке там или в сарае каком, а в доме — в доме нет... Встанут утречком, выйдут на дорогу и бредут: куда тень — туда и они. Так и шли за своей тенью.

Должник



Андрей Скрябнев — добросовестный ученик новейших оракулов — был убежден, что человек не только предполагает, но и располагает, и даже война не сумела вышибить эту уверенность из его стриженой головы.

«Люба, — писал он жене летом сорок пятого года, — как я и обещал, возвертаюсь в целости и сохранности».

Тут удачливого бойца перевезли в Маньчжурию, где еще до начала боев он подорвался на мине — смерть приняла его в уготованные объятия без задержки.

— Дурак! — сказала бабка Маруся, прочитав похоронку. — Дообещался! — Она утверждала, что погиб он исключительно из-за письма. — Мыслимо ли: от гибели зарекаться?! Дурак пятилетошний.

— Поч-че-му-у «пят-ти-ле-тош-ний»? — всхлипывала Люба.

— У пятилеток выучился планы строить: столь зерна, столь картофеля, энтова числа посеем, энтова сожнем... Дурак.

— Не ду-у-рак! — обиделась Люба. — Все же у-учетчик!

— А что, учетчик не бывает дурак? Первый дурак и есть! Справный мужик каким-никаким ремеслом владеет: тот, скажем, плотник, тот — кузнец, тот — пастух... Это уж совсем напрасные, те учетчики... И чего ты в нем только нашла?

— Га-ли-фе-э-э! — заревела новоявленная вдова. — Ди-го-на-ле-вы-е-э-э...

— Ну да оно и ты дура, — вздохнула мать. — Какой с тебя спрос-то?.. Эх, Андрюша-Андрю-у-шень-ка-а!.. На кого же ты нас о-оста-а-вил?.. — И обе женщины зарыдали в голос.

Лучшее средство от скорбей — новые скорби: не успело пролиться вдоволь слез, как земля вздрогнула и гулкое эхо разнеслось по окрестным лесам — это двенадцатилетний Петька Скрябнев вышел с фугасом на голавля. Петька и прежде глушил рыбу, и Люба не сильно ругалась — есть что-то надо было... Да и хлопало тихохонько, бестревожно. Но на сей раз взрыв получился страшеннейший: он потряс — в том смысле, что тряханул — Любу, и она испугалась.

— Должно, новый склад отыскал — с большими бонбами, — определила бабка Маруся. — Сам-то не сгинул ли?..

Однако Петькин черед еще не наступил, и даже кое-какой рыбешкой перепало разжиться — ее вместе с поворотом реки забросило в поле.

— Ты вот что, — сказала бабка Маруся дочери. — Пока он не подзорвался да не отправился вослед за отцом, катись-ка к Наталье — сколь уж она тебя звала, с сорок второго, чай...

Так Петька Скрябнев попал в Москву.

Тетка Наталья, служившая в офицерской столовой кавалерийской школы, устроила Любу к себе и договорилась насчет жилья — койки в бараке.

— Утрамбуетесь: он у тебя доходяга — чисто клоп, да и ты не больно кругла. А там видно будет: может, уедет кто или помрет — коечка и освободится.

В ту пору, как, впрочем, и сегодня, необычайное распространение имели преступные нравы. Это закономерно: народные бедствия благоприятны для волков, ворон и воров.

Подростки и прочая мелюзга сбивались в кодлы, враждовавшие из-за несуразных причин, а то и беспричинно: «Сокольники» шли на «Измайлово», «Роща» на «Пресню»...

Наивные участники баталий не ведали, что в сложнейшей алхимии преступных дел им отводилась роль раствора для кристаллизации будущих душегубов.

На берегах Таракановки обреталась кодла, именовавшаяся «Хорошевкой». Атаманил в ней Валерка Бакшеев по кличке Бак. Было ему лет семнадцать: фикса, папиросочка в углу рта, надвинутая на глаза кепка, «ша, падла», «попишу-порежу» — все как положено. Хатой Валерке служила одна из землянок, вырытых в склоне оврага, по днищу которого Таракановка и текла. Землянки появились летом сорок первого года после ночной бомбежки, спалившей эту окраинную слободу. Бараки потом отстроили заново, а землянки остались вместо погребов.

Однажды Петьку силком приволокли к Баку. Расспрос был дотошным и длился долго. Выпроводив новичка, Бак приказал своим: «Не трогать».

Целый год Петьку никто «не трогал». Он ходил в школу, играл в войну, а зимой еще катался с горы на салазках: саней тогда не было, из толстого стального прута гнули салазки, на полозьях которых, друг за дружкою, устанавливалось до пяти человек.

Видел Петька и побоища: «Сокол» на «Хорошевку», «Тушино» на «Хорошевку». Собиралось человек по шестьдесят-семьдесят с каждой стороны, дрались всякий раз в овраге. Как правило, ограничивались «кровянками» — множеством разбитых носов, легкой поножовщиной, но случались и более грозные кровопролития.

Осенью с обрыва сброшен был к реке «воронок» — один милиционер погиб. Зимой проломили лбы двоим хорошевским.

Горячие эти события привораживали Петьку: всякий раз он оказывался рядом. И, не вовлеченный в общую суматоху, то и дело примечал откровения, досужему взору не предназначенные. Он знал, что неугодный милиционер был по-тихому убит участковым Аверкиным: громила Аверкин попридержал его под каким-то предлогом возле машины и свалил ударом кулака по затылку. Появился Бакшеев; труп затолкали в кабину, и Аверкин убежал к месту побоища, где прибывшая с «воронком» группа усердствовала на ниве пресечения беспорядков. Бак свистнул, хорошевские, бросая колья, побежали наверх, и, когда набралось человек двадцать, машину столкнули. Перевернувшись на дне оврага, она загорелась и взорвалась.

В другой раз Петька, наблюдая за ходом сражения с командных высот, увидел, как из находящейся неподалеку «штабной» землянки вышел Бак и… главарь вражеской кодлы. Покачиваясь, они пожали друг другу руки и разошлись.

— Из шинелки! — крикнул Бакшеев вслед.

Не останавливаясь, чужак на мгновение обернулся и успокаивающе кивнул. Тогда-то двое хорошевских и погибли: один был одет в шинельного сукна полупальтишко, другой носил шлем, сшитый из такого

же материала. Хоронили обоих на Ваганьковском кладбище, хоронили с пышностью, непривычной для тех времен: духовой оркестр, венки с живыми цветами, — а была зима... Особо тронула родственников сострадательность кладбищенского начальства, взявшего на казенный счет похороны, памятники и оградки.

Петька догадывался, что за погибельными этими случаями кроются тайные какие-то причины, смысла которых он, как ни старался, а угадать не мог.

Летом добрался Бак и до Петьки.

— Ты, кажется, говорил, что в лесу около вашей деревни... — Дело ему поручалось секретное. — Если выгорит — при деньгах будешь.

А деньги Петьке были нужны. Не для себя: матери босоножки-«танкетки» купить. А то бабы в бараке смеялись: «Любка все в кирзачах да в кирзачах — ни один кавалер танцевать не приглашает».

В назначенное утро на мосту через Таракановку приостановилась трехтонка. Быстренько — как наставлял Бак — Петька вскарабкался через борт и зарылся в солому, машина тронулась.

В Москву они привезли полный кузов взрывчатки.

Люба плакала, умоляла сына держаться подальше от греха, но червонцы взяла и босоножки купила.

Поездкой этой Петька заслужил такое доверие, что через неделю был призван в стремные и целыми днями пропадал теперь у ворот Ваганькова рядом с безногим попрошайкой. Иногда безногий отправлял его выследить какого-нибудь гражданина. Прячась за памятниками и деревьями, Петька наблюдал, а потом отчитывался перед калекой.

В те годы посреди Ваганькова стояли жилые дома: двухэтажный барак обслуги и хутор сторожа. По временам здесь собирались выдающиеся мастера

отечественного беззакония, и тогда выставлялась охрана. Вот и сейчас на кладбище пребывал фраер всесоюзной размашистости.

На переговоры с ним почти каждый день заявлялся крупный штатский начальник. Оставив черный ЗИС возле рынка, он покупал букетик цветов и спешил на кладбище. Пройдя непрямым путем в дальний угол, останавливался перед старинным памятником. Если вокруг было спокойно, рядом с ним оказывался всесоюзный пахан и начинались переговоры. Петькина задача была — крутиться в некоторой отдаленности и при первых же признаках тревоги поднимать шум. Ближние подступы охранялись скорыми на руку молодцами. Застоявшись, собеседники начинали прогуливаться по аллее туда-сюда. Петька, по случайности, однажды наткнулся на них и услыхал обрывочек разговора.

— А! Ерунда какая-то, — поделился он с безногим наставником. — Про канал какой-то да про канал...

— Под строительство канала, брат, всегда устраивается амнистия, — вздохнул калека, — а за амнистию властям надо платить, — и очень большие деньги.

Петькина благонадежность — совершенно в духе ратных традиций — была отмечена наградным оружием — пистолетом системы «Вальтер».

Дальнейшее течение его жизни делается в этот момент как будто бы предсказуемым, однако обстоятельствам вновь угодно было распорядиться посвоему: могущественный пахан внезапно скончался.

— На игле, — объяснил инвалид, многозначительно подмигивая. — Что-то не то вколол. — И пожал плечами: — Бывает...

Убрали его в свежезасыпанную могилу: разрыли, бросили на чужой гроб и вновь закопали.

Пока в коридорах двухэтажного дома утверждалась новая власть, Петька за ненадобностью отдалился. А осенью он пошел в ремеслуху, и времени на рисковое подвижничество хватать не стало.

Тут, не без содействия коварных «танкеток», охмурила мать дядю Володю — конюха из кавалерийской школы.

— Чего ты в нем нашла, Любк? — дивились бабы. — Старый и навозом воняет.

— Дак ведь блондин! — изумлялась Люба.

Этот дядя Володя, сам того не ведая, привел Петьку к краю наземного бытия.

— Ты вот что, — сказал однажды Бакшеев, — насчет завтрашнего слыхал?

Петька знал, что на завтра назначено очередное побоище.

— Пора тебе, — усмехнулся Бак. — Созрел... Ты в фуфайчонке будешь?

Петька кивнул: кроме материной телогрейки, ему и надеть-то нечего было.

— И в этих валенках?.. Заметано, — Бак направился своей дорогой.

И тут вдруг в Петькином сознании яснее ясного изобразилось: это — смерть. «Фуфайчонка» связалась с «шинелкой», появление дяди Володи — с возвращением отца одного из погибших. Предчувствия Петькины были верны — Бак не любил, когда рядом с мальцами возникали мужчины не из преступной среды: боялся, что ребятишки болтанут лишнее, заложат его, и в сомнительных ситуациях легко расходовал их. На всякий случай... Правда, второй мальчишечка прибит был тогда по ошибке: шлем у него из такого же сукна оказался.

Что было делать? Где защиты искать?.. Милиционер Аверкин — с Бакшеевым заодно, на Ваганькове

власть сменилась... Конюх дядя Володя? А что он может? Ну, завтра прикроет, оборонит, а послезавтра? А через пять, семь, десять дней? Конюх, он – то в конюшне, то в казарме, а Бак – рядом всегда. Тут уж не выкрутишься. И Петька пошел...

В минуту, когда чужаки, наведенные главарем, стали оттеснять его от хорошевских, Петька выхватил из кармана наградной «Вальтер» и пальнул прямо перед собой... Потом еще и еще. Ни в кого он не попадал – уж очень сильно подбрасывало руку при выстрелах, – но баталия сразу же завершилась: обе стороны бросились в паническое отступление. Возвращался Петька один. Бакшеев, стоявший у входа в землянку, молча провожал его взглядом: стрельба оказалась для атамана неожиданностью, и надо было установить, кто именно облагодетельствовал ребятенка пушечкой, чтобы случаем не задеть интересы каких-то больших людей.

Вскоре в барак заявилась неизвестная никому бабенка, порасцарапала Любе физиономию, и на этом роман с духовитым блондином закончился.

Минуло три года. Петька одолел курс наук и пошел в домоуправление слесарем, мать устроилась дворничихой туда же, получили они комнатушку в полуподвале, и началась новая жизнь. В пять утра – на тротуар: сметай пыль, сгребай снег, лед скалывай. Подсобит Петька матери, а потом весь день бегает: тут батарея протекла, там труба засорилась... Публика была неплохая: офицеры, генералы, тренер футбольной команды, велогонщик, министр, шофер легендарного полководца, два писателя... И ребятишки хорошие: мастерят самокаты на шарикоподшипниках, гоняют в футбол, зимой каток заливают, и никаких тебе кодл. Таракановка, Ваганьково – все это провалилось

куда-то в прошлое, хотя и оставалось рядом. По вечерам — снова тротуар, снова — лом, скребок, лопата или метла с совком. Москву тогда чистили так, что и среди зимы асфальт был словно летний.

В свой срок ушел Петька в армию, в свой срок вернулся к унитазам и стоякам. Глядь, а у матери новый хахаль — завалященький старикашка такой.

— Больно уж неказист, мам.

— Зато моряк, Петенька: китель — черный, брюки — клеш, а на боку, — Люба закатила глаза, — кинжал...

— Кортик называется... Тогда конечно.

Стал Петька замечать, что время жизни его вдруг задергалось. Если, к примеру, футбольный матч на «Динамо» тянулся, как и прежде, едва не вечность, то некоторые месяцы и даже годы проскакивали в один миг: год — и нет бараков, а на их месте возводятся железобетонные здания; другой — и на кладбище никаких следов от жилья не осталось; третий, пятый... Понеслось время безудержно.

Давно уже нет бабки, умерла мать, затерялся в бескрайних просторах отечества злоумышленный человек Бакшеев. А Петька обрел жену, детей и квартиру и с неослабевающим упорством продолжал укрощать московский водопровод.

Дело шло к пятидесяти годам, взрослели дети. Привязалось к Петру Андреевичу Скрябневу неизъяснимое чувство. Сначала маленькое, чувство это стало затем расти и увеличилось до того, что потревожило разум.

— Вот что интересно, — произнес как-то среди ночи Петр. — Это ведь сколько людей моего года поумирало уже!

— Ну и чего? — не поняла супруга.

— А я живу.

— И хорошо, — определила она.

— Хорошо-то хорошо, да вроде как должен кому-то.

— Сколько? — спросила она с настороженностью.

— Понимаешь... Вот, скажем, в детстве: бросишь гранату, осколки — жжих, жжих, а меня — обносило. Один раз такой взрыв устроил, аж река испрямилась... Камни от взрыва летели: в деревце попадет — хруп деревце, а меня опять обнесло. Потом это: в шайку угодил, как карась в бредень. И вдруг: против моего носа в сетке дыра — я и вывалился. Потом хмырь один вроде как приговорил меня — обнесло. А я сам? Из пистолета в упор стрелял — и промазал, смертоубийцей не стал... Что же это получается?

— Как «что»? Ну-у... повезло, и все тут.

— Вот именно, повезло. Но я ведь за это кому-то должен?

— Чего должен?

— Хотя б спасибо сказать.

— Кому?

— Не знаю.

Супруга принюхалась.

— Да не пил я.

— Ходишь по своим генералам, маразмом старческим заражаешься...

— Да при чем тут?! Эх!..

— Ну и не лезь с пустяками, спи давай...

— Да какие же это пустяки? Это, может, самое главное в моей жизни!

— Вот ты и думай, а мне не мешай.

— Буду думать.

— Во-во...

И Петр Андреевич начал думать.

Первые послевоенные



Было это в пятьдесят втором.

Лагерь располагался на берегу Истры: поднимающийся от реки луг, на самом верху — двухэтажное деревянное здание, жутковатое по причине черноты стен и своей одинокости. Жилые бараки стояли ниже. Они были совсем новые — их не успели ни покрасить, ни проолифить. Сильно пахло сырой древесиной, смолой, земля вдоль стен была завалена стружкой.

Должно, оттого, что воспитателей и вожатых недоставало, порядки там были вольные. Настолько вольные, что даже мы, дошкольники, состоявшие в самом младшем отряде, случалось, уходили в лес — благо забора не было, а лес начинался совсем рядышком и почему-то внушал нам куда меньше страху, чем мрачный короб, громоздившийся на вершине лысого и широченного — во весь горизонт — холма. Хотя в дом тот нас водили до четырех раз каждодневно. Вблизи, правда, он не казался таким страшенным: заметно было, что стены — не черные, а темно-темно-зеленые. К тому же нас там кормили, а иногда еще и показывали в этом доме кино; но издалека, от бараков, вид

его производил гнетущее впечатление — очень уж мрачным и безраздельным было господство этого предмета над всей видимой местностью.

Если мы — мелкота — бродили поблизости, то ребятишки постарше хаживали и в удаленные леса. Скитания их стали со временем приносить плоды, и в лагере появились патроны, снарядные гильзы, оболочки гранат. Эти вещи именовались «штуками» и в зависимости от ценности обменивались на один или два полдника.

Выменяв все свои будущие полдники на пригоршню автоматных патронов, я решил, что настала пора действовать самостоятельно, и тоже пустился в поиск. Старшие ребята рассказывали, что искать лучше всего в окопах, землянках и блиндажах. Конечно, все, что находилось в пределах моей досягаемости, было уже не раз проверено, однако перед теми, кто шустрил здесь прежде, я имел одно преимущество — то самое, благодаря которому дети находят деньги значительно чаще, чем взрослые: я был ниже любого из них, а посему — ближе к земле. Вот под ногами-то я и обнаружил однажды проросшую травой пулеметную ленту. Следующей добычей оказался ржавый винтовочный ствол. Когда, задыхаясь от восторга, я волок этот ствол к лагерю, неподалеку от меня послышались знакомые голоса — это возвращались с «охоты» старшие. Нас разделял неглубокий, прятавшийся в бузине овраг — по сторонам его мы и шли. Я остановился: во-первых, «штука» была тяжеловата и требовалось отдохнуть; во-вторых, ребятишки, попадись я им, вполне могли изъять ее у меня — ствол, конечно же, стоил не одного полдника.

Они тоже остановились и о чем-то заспорили: «Я!» — «Нет, я!» Наконец как будто поладили, и тут

же с их стороны вылетело нечто, похожее на камень, и через несколько мгновений на дне оврага так жахнуло, что я упал: это была граната — настоящая «штука», не то что моя труба.

В конце первой смены взрослые устроили праздник: приволокли из лесу огромную ель — волокли, впрочем, лошади, взятые напрокат в ближайшем колхозе, — стоймя вкопали ее посреди лагеря, накидали под нижние ветки дровишек, облили бензином и подожгли. Более выдающегося костра я с тех пор никогда не видел.

Вторая смена началась трагически: вбивая в землю штырь для растяжки флагштока, подорвался аккордеонист. На другой день в лагере появились саперы. До обеда мы вообще не выходили за дверь — еду сухим пайком доставили из черного дома солдаты, но к вечеру нас пустили погулять на волейбольную площадочку, ограниченную красными флажками. Срочно началось сооружение высокой изгороди.

Через несколько дней территория была очищена от лежавших в земле металлических предметов, а наши тумбочки, матрацы и тайники — от «штук». Каждый вечер на той стороне реки гремели взрывы.

Наконец лагерь огородили. За пределы разрешалось выбираться только в сопровождении взрослых, передвигаться — лишь по тропинкам, обозначенным саперами. Так и шастали: гуськом, шаг за шагом, а справа и слева — бечевки с тряпочками-флажками.

Пообвыкли, боязнь стала таять, а тут еще малина поспела... И вот целый отряд — двадцать четыре пионера да с ними вожатая — свернул с тропки в малинник. Что ж, им по десять-одиннадцать лет, она тоже девчонка почти — очень уж ягод захотелось, наверное. В общем, разметало — не знали потом, что хоронить.

Ночью пришла колонна крытых грузовиков: при свете фар началась эвакуация. Офицер, руководивший погрузкой, давал команды: «В Немчиновку!», «В Мытищи!», «В Подольск!» Когда привели нас, он удивился: «Уж больно малы!»

— Сорок шестой — сорок седьмой год, — отвечала воспитательница, — первые послевоенные.

Заканчивали мы вторую смену совсем в другом лагере: вместо бараков там были красивые терема, украшенные резными наличниками, перед каждым теремом — клумба, и целая бригада работниц во главе с садовником ухаживала за цветами — только поблекнут ноготки, глядь — на их местах душистый табак цветет, завянет табак — на его месте гвоздички... Были там и голубые ели, и даже свой сад — с яблоками и диковинно крупной малиной. Каждый вечер крутили кино, в каждый теплый день возили купаться. На автобусе. Дорога шла мимо песчаного карьера, в котором работали экскаваторы, и всякий раз вожатая говорила нам: «Стройка коммунизма! Смотрите и запоминайте!» — и мы смотрели и запоминали. Запоминали карьер, заливчик: справа — автомобильный мост через канал, слева — мачты высоковольтки, в небесах — самолет, а над водою скользили паруса яхт — всё как на единообразных картинках, которыми в ту пору щедро украшались обложки журналов, коробки конфет и казенные помещения вроде железнодорожных вокзалов. Иногда еще для пущей похожести на воде появлялся глиссер, речной трамвайчик, а то и сам флагман московского пароходства — белоснежный двухпалубник «Иосиф Сталин».

Нас переполняло счастье, и казалось, что так будет всегда...

Туда и обратно



В этот год Сережа Белов научился плавать. Сначала по-собачьи, потом — нельзя сказать, чтобы брассом, но — похоже, и наконец — саженками. Дело происходило в Мышкине, славном приволжском городке, хранившем следы былого провинциального величия в виде двух грандиозных соборов, торговых рядов на главной площади да еще некоторого числа кирпичных зданий старой постройки: крепких, с украшательной витиеватостью в кладке. Сережа был москвичом — родители его снимали здесь дачу.

Плавал он вдоль плотов, причаленных к берегу. Кто-то из взрослых сказал, что длина плотов — сто метров. Сумев одолеть расстояние пять раз, Сережа решил, что может теперь переплыть Волгу, и начал пристраиваться к ребячьим компаниям, которые время от времени подвигались на это предприятие. Старшие ребята его не брали — он было сунулся к ним, да не выдержал испытания: «Саженками можешь?» — «Могу». — «А по-собачьи?» — «Тоже могу». — «А топором?» — «Нет!» — радостно отвечал Сергей. «Тогда не возьмем». Такое испытание, значит.

Что же до его сверстников — все они находились под присмотром, и заплыв мог состояться лишь в случае удачного соединения обстоятельств, иначе говоря, — при одновременном отсутствии родителей, бабок, старших сестер, дядь и теть. Ведь достаточно было кому-то из них обнаружить детишек удаляющимися от плотов, тут же организовалась бы погоня. Ну и, само собой, готовиться к заплыву надлежало в строжайшей тайне.

Собралось человек пять или шесть, подготовились, то есть стащили по булавке, — знатоки утверждали, что от долгого плавания сводит мышцы и единственное спасение — укол. В назначенное время сошлись. Вчетвером: у кого-то не получилось. Поговорив о судорогах и втором дыхании, нырнули.

Похоже, второе дыхание к ним так и не пришло — уж очень долго барахтались. Конечно, боязно было — ведь они лавливали здесь рыбу — и с лодки, и с плотов — и знали, что под ними двенадцать метров воды: темной, непроглядной — лишь на длину опущенных рук просвечивали лучи солнца.

Благополучно разминувшись с караваном баржонок, преодолели фарватер. С кормы последней им что-то прокричал шкипер — Сережа не разобрал что, однако лицо шкипера было приветливым.

Затем путь пловцам пересек рыбак на весельной лодке: он смотрел на ребят пристально и серьезно, но ничего не сказал.

Одолев в последнем отчаянье заросли прибрежной травы, они выползли наконец на твердую землю и полегли неподалеку от пристани села Охотино. Отлежавшись, долго еще не решались пуститься в обратное плавание: ходили вдоль берега туда-сюда, завернули на кухню охотинского дома отдыха, где выпросили

у поварихи по куску сахара, хотели еще посмотреть кино, но без штанов не дозволялось. Тогда — на кладбище: опять же, занятие для храбрецов.

Побродили меж старыми каменными надгробьями, позаглядывали в церковные окна: внутри храма было темно — горели красные и зеленые лампадки, и более ничего не было видно. Ни один человек не встретился им — должно, службы в тот вечер не предполагалось.

Потом снова сидели у Волги, рассуждая о карах, которые могли ждать их на противоположном берегу. И тут парнишка один, его звали Юркой, сказал:

— Я нынче и без того уже мать обидел... Она с ночной пришла, поесть приготовила, а я говорю: пахнет от тебя как-то — больницей и уборной, скоро уж весь дом провоняет...

— А она чего? — спросил кто-то.

— Заплакала... «Для тебя же, — говорит, — Юрочка...» Да я и сам знаю: денег не стало хватать, вот и пошла на подработку санитаркой, а я...

— Ничего, матери — они отходчивые, — со знанием дела успокаивали его ребята. — Простит.

— Простит, — согласился он, поднимаясь. — Ладно, плыть надобно.

Далеко впереди мерцали огоньки Мышкина, и было до этих огней не пятьсот, а трижды по пятьсот метров. Очень скоро ребята поняли, что усталость не оставила их, что она лишь затаилась: течение сносило и сносило — хорошо еще сообразили перед возвращением подняться по берегу, насколько позволяла местная география — до впадения реки Юхоти. Тут еще по курсу возник колесный буксир с плотами — приближаться к ним было опасно, и мальчишки, теряя силы, выгребали против течения, чтобы не потерять

из виду огни, чтобы не отнесло в далекую неизвестность.

Но вот плоты миновали их — на оконечности пылал костер, освещавший шалаш плотогонов и лодчонку, болтавшуюся в волнах. Глухая, вязкая чернота пала на воду. Сережу охватил панический страх. Судорожно заработав руками и ногами и чувствуя, как силы покидают его, он закричал: «Ре-бя-а!» С двух сторон отозвались. И хотя голоса эти были не менее испуганными, стало спокойнее.

— Плывем! — крикнул он как можно бодрее.

— Плывем! — донеслось справа.

— Ага! — слева.

...Очнулся Сергей от всплесков за своею спиною: оказалось, выкарабкаться на сушу ему удалось только до половины — ноги оставались в воде и время от времени конвульсивно дергались. Не сразу получилось и подняться: ползает, ползает по песку, а лишь попытается встать — ноги отказывают.

Кое-как доволоклись до дома. Втроем.

А через несколько дней хоронили Юрку. Событие это представлялось несформировавшемуся сознанию Сережи Белова вовсе не тем, чем оно было на самом деле: смешанное чувство восторга и ужаса от сопричастности непостижимому таинству владело мальчиком. Увы, именно так.

Потом, когда сознание распределило все по законным местам, душа не отозвалась — слишком уж много времени прошло, слишком много. Да и бедолагу того Сережа почти не знал — дети, как известно, сходятся легко. «Как тебя зовут?» — вот и приятели. Сходятся легко, легко и расходятся... Так что история эта в целостности своей с годами только тускнела.

Сохранились разрозненные картинки: улыбающийся шкипер, рыбак в широкополой соломенной шляпе и белой полотняной рубашке с распахнутым воротником, пчела, влетающая в окно храма, вылетающая обратно и снова влетающая... Костер плотогонов, лодка в огненных отблесках бурлящей за плотами воды... Картинки запечатлелись хотя и ярко, но недвижимо: фотографии как фотографии. Между тем несколько слов, оброненных случайным прохожим и поразивших Сергея Белова очевидной, как показалось ему, бессмысленностью, облеклись со временем в суровую плоть и с годами стали все чаще, все тревожнее и требовательнее поверять устойчивость его духа: когда провожали Юрку, незнакомый старик, спешивший мимо, поинтересовался, кого хоронят, а услышав ответ, с неожиданною улыбкою заключил:

— Счастливый. Какие там у него грехи? А тут, — он махнул рукой, — живешь, живешь и только добавляешь себе провинностей...

— Ты чего, дед, рехнулся? — грубо спросили его из толпы.

— Не рехнулся, — спокойно отвечал он. — Просто устал! Устал от жизни! — и пошел своею дорогой.

Венец творенья



К концу войны приход за нерентабельностью закрыли — живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве: купила полдома в деревне Карамышево — и зажила себе ничего не делая, благо для одинокого существования сбережений хватало.

Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков — человек рукодельный, мастеровой: пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья по долгу бывшей своей службы относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы вскорости добиться ее расположения, когда б не одно обстоятельство: сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая, голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности Иван Тимофеевич

постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе — сделались параллельны плечам.

На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком.

— Небогоугодно это, — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья.

Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позарастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит — и так родит».

Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз. Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями.

— Зачем? — изумлялся сосед.

— Матерьял, — хладнокровно объясняла Лукерья. — Нельзя, чтобы исчезнул.

— Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен...

— На кой? — недоумевала Лукерья.

— Ну, вам же надобно для чего-то?

— Не надобно. Бог дал, — и показывала, к примеру, на кусок водопроводной трубы, — я подобрала. Вот и все.

— А зачем? — возвращался сосед к началу.

— Я ж говорю — матерьял! Что непонятного?

Зимой в «матерьяле» поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть

выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы.

Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну: расклеил на заборах невесть где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы «живодерку», которая, правда, из-за распутицы не добралась, стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что «прибил наконец мерзавца, который топтал морковь».

— Так это же мой Трезор! — завопила Лукерья.

— Возможно, — согласился сосед. — Но ведь он — собака, а морковь — для меня.

— Ну и чего?

— А я человек. — Видя, что ход его рассуждений Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: — Венец, значит, творенья.

У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими.

— Венец творенья? — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ вроде астматического: она даже засмеяться не могла — выла и захлебывалась в этом вое.

— Пусть — не я, пусть — вы, — недоумевал Иван Тимофеевич, — но не Трезор же?..

С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов этот приступ сменился приступом голода — так много сил потеряла Лукерья.

Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи: умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову.

Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамейке. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо, — оценивала обстановку Лукерья. — Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься — все равно холодно, а вдвоем даже на улице — и то ничего».

Вся ее «личная жизнь» сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в тысяча девятьсот восемнадцатом — муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули: сшиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись, а он по улице шел да там и остался.

Стала Лукерья что ни день в церковь ходить — молиться за упокой души убиенного. Через это усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой «личной жизнью» она не обзавелась.

Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову.

На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножела: поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться — появились на улицах машины, дворники с метлами и жестяными совками.

— Пропадет животное! — всхлипнул Иван Тимофеевич.

— Снимай сапоги! — приказала Лукерья.

— Зачем?

— Снимай да надевай ей на ноги! Мысками назад!..

В шесть утра на Большой Каменный мост взошел босой Иван Тимофеевич с развевающимися тесемками исподних штанов, за ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад. Причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркою и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго и небеспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти: «Чтоб духу вашего через минуту здесь не было!» Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог.

В те годы по Москве бродило много старьевщиков: «Старье бере-ом, старые вещи покупа-аем». В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, «ни разу не надеванные» вещи: сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки...

Лето соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома — хорошо, а дом — лучше, и также — про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала:

— Ну уж нет, это уже невозможно: и корова, и поросеночек, и пчелы. И огород, и сад — невозможно.

— Да пчел я уж как-нибудь сам, — робко отступал Иван Тимофеевич. — И огород тоже, и в общем-то поросеночка, — заканчивал он совсем шепотом.

Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел.

— Нет! — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза.

К середине лета Иван Тимофеевич сумел убедить соседку, что «матерьял» пришел в полнейший упадок и следовало бы от него как-то избавиться, не то, случись искра, вспыхнет пожар.

— Бог дал — Бог взял, — неожиданно легко согласилась Лукерья и, пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух «умельцев», которые закопали хлам прямо посреди сада.

Вернувшись домой и увидев выросший за день курган, сосед ахнул:

— Это ж земля! — имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества.

— Все из земли вышло и все туда же должно уйти, — отвечала Лукерья, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали.

Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был неурожай, одно дерево и вовсе усохло.

— Это все из-за вашего «матерьяла»! — обижался он. — Не иначе — подземными водами заразу какую-то занесло.

— Полноте! — отмахивалась соседка. — На моем-то участке ничто не гибнет. Просто вы продыху растениям своим не даете: все что-то пилите, мажете, поливаете — тьфу, право. Им ведь тоже воли охота.

Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свезти на рынок, но Лукерья не торопилась, и в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки.

— Беда-то какая! Ах, беда! — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки.

А Лукерья облегченно перекрестилась:

— И мне — польза, и ребятишкам — хорошо.

— Как же вас старостой-то держали? Вы ж растрачивались, наверное?

— Боже упаси! Там ведь добро церковное! Как можно?!

...Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом.

— Зачем? — пожала плечами соседка.

— Для тепла.

— Эх, голубчик! Не в том тепло-то! — И отказалась.

К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной.

Между тем Лукерья сумела вновь накопить горку разнообразного «матерьяла», и в этой горке поселился новый Трезор.

Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку «белой головки», закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес в подарок кагору:

— Вы дамочка церковная, божественная, так что я кагорчику, в том смысле, что и сам водки не употребляю.

Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно указала:

— Садитесь!

Выпили винца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться, и Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и наконец «Что стоишь, качаясь, то-он-кая рябина...»

Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу-дубу, Иван Тимофеевич спросил:

— А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?

— Всё кончилось, голубь мой, всё! Менять нечего, покупать не на что.

— Это нехорошо! Совсем, знаете ли, нехорошо! — И полюбопытствовал: — Огородничеством, стало быть, займетесь? А может, и поросеночка?..

— Что вы? — возразила Лукерья. — Зачем? Я устроилась охранником на строительство моста: ночь дежуришь — ночь дома.

— Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег.

— А на кой их много-то? Проживу! У меня их знаете сколько было? Мильены, наверное! Матрац был деньгами набит — подумаешь! Батюшка церковные деньги у меня хранил... Чего вы там углядели?.. Да не этот матрац — в этом солома... А нынче взяла я остатки и пошла тратить! Ведь... Ой, щеки горят. Всегда у меня так от кагорчика... Ведь пока есть деньги, их

надо тратить, потому что когда их не будет, нечего будет и тратить, вот...

— Что ж вы приобрели? — осторожно спросил Иван Тимофеевич.

— Ружье. С патронами. У охотника одного.

— Зачем?!

— Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, — улыбнулась Лукерья. — Пятьдесят лет все-таки. Попалось ружье. И хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами...

— Неправильно вы живете, — испуганно заключил Иван Тимофеевич, — очень неправильно.

Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. А Лукерья, отставив в сторону недопитый кагор, откупорила бутылку водки.

Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. «Фи-и-и...» После каждого «и» она набирала воздуху, так что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем: «Фи-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!..»

— Что с вами было? — участливо спросил ее на другой день Корзюков.

Лукерья нахмурилась:

— Это когда?

— Да ночью! Сегодня ночью! Вы не то пели, не то кричали...

— А-а, понятно. Это я напилась. Сроду не напивалась, а теперь напилась. — И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке.

— Куда же вы?

— Пойду потренируюсь: нынче ведь на охрану объекта заступать — мало ли что, а я стрелять не умею.

— Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная и насчет всего такого прочего...

Она недоверчиво посмотрела на него исподлобья:

— Да вы что, голубь? Неужели не понимаете? Это ж не огород, это же стройка — дело общественное! Я коменданта так и предупредила: ежели жулик или шпион какой сунется, я его с ходу... Прости, Господи! — и перекрестилась.

— Ну а что, — Иван Тимофеевич поперхнулся, — что комендант?

— Валяй, говорит: один раз — в воздух, а потом — валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею, так что потренироваться надобно.

Так и зажила Лукерья: днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет.

Не выдержав однажды очередного «фи-и», Иван Тимофеевич постучал в стенку.

— Войдите, — вежливо пригласила Лукерья. Никто не вошел. — Чепуха какая-то... Фи-и-и-и...

Он постучал громче. Тут наконец Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила:

— Фи-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои...

Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадованно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул.

— Все одно твоя не возьмет, — глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщила Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть

и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое. «Чем же это он так? — позавидовала Лукерья. — Громко, четко — прям молодец! — Отложила топор, внимательно огляделась и придумала: — Ну держись!» Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.

— Фи-и-и-и-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!..

На другой день пришел участковый.

— Не пущу я вас, — сказала она через дверь.

— Взломаем.

— Стрелять стану.

Он помолчал, обошел дом, переговорил с соседом и возвратился:

— Отчего ж Иван Тимофеевич вам так не нравится?

— А вам нравится?

— Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем. Контужен, инвалид...

— Жлоб он, — возразила Лукерья, — для всех — инвалид, а на себя пахать — трактор.

— А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь.

— Ну ты вот что, — притомилась Лукерья, — я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объект взрывают, а ты меня тут задерживаешь, а? Тебя, диверсанта, стрелять надо, сейчас я ружье заряжу...

Милиционер ушел.

Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором,

потом разгородил и чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стала значительно реже — с деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал — несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине.

Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние — время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий, животный страх. Она бросилась в дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил.

— Иван Тимофеевич! — закричала она.

Он не отвечал.

— Фи-и-ильдеперсовы чулочки! — и ударила в стену прикладом.

Металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер.

Хоронила его одна Лукерья — никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу: две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. «Потому как она — венец творенья, хотя и живет неправильно», — оканчивалось завещание.

— Зачем? — сказала Лукерья с горечью. — Ничего этого мне не надо.

— Какое будет ваше распоряжение в таком случае?

— Столько калек, сирот...

Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу.

И накатились на Лукерью кладбищенские заботы: то камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она

ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась: совершенно в духе домостроевского романтизма уснула однажды прямо на земле — на могилке — и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь: исповедалась, причастилась.

Потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему сколь было денег.

Наконец, покончив с делами, упросила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам «для контроля» и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла.

Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.



Ваганьковское кладбище

Царственная



Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива, и, хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили: «Сказочное дитя», в юности: «Очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли потрясающей женщиной, а в старости — очень красивой старухой. Однако кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким — исключительным, можно сказать: она была царственной.

Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно: свойство это — сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность — царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности — способ передвижения: Елена Павловна ходила не так, как другие, — она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто

лишена надменности или высокомерия, с людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы.

Елены Павловны я не застал: мне рассказывали о ней ее внучки — дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в тысяча девятисотом году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом: тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились четыре дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. Два года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка — поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам.

Младшая из внучек рассказывала, как, бывало, подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает — русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову — спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко — и спрашивает:

— Ты кто есть?

— Я – Люся.

— Люся... — бабушка задумывается. — А ты чья?

— Мамина и папина.

— Ну, это понятно. А маму твою как зовут?

— Мама Наташа.

— Так ты, наверное, Натальина младшенькая... Ну ступай, ступай...

И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними.

— Неудивительно, — отвечала бабушка, — с мужчинами интереснее: я у них всю жизнь обучаюсь.

— Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?

— Идеал не идеал, но этой самой женственности и учусь: учиться — не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое.

— А у Андрюшки ты чему учишься, ему же только пять лет?

— Вы, красавицы, в пять лет могли говорить лишь про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем. Как Жукова. Я ему все объясняю про отчества, про то, что он может быть только Николаевичем, а он послушал-послушал да и говорит: «Ну, тогда Александром Васильевичем». Как Суворова...

— Подумаешь! У нас — бантики, у них — ружья.

— Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя, и прежде всего на свою внешность. А он — только освоился печатные буквы складывать, сразу в храме записку подал: там и Александр, и Георгий, и еще два десятка имен. Спросила, кто это, он все объяснил: и Нахимов там есть, и атаман Платов — Матфеем зовут... Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить.

А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке — рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства: во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полетность...

Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой "дичи" не знаете, — говорила Елена Павловна внучкам, — а меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И все это он добывал сам». А еще они каждую неделю ходили в консерваторию. Водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано — те с отличием оканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через пять лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. Впрочем, это обычная история.

После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработницы к солисту оперы Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей — навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Его супруга охотно помогала старушке и накрывала на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку: просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали... «Царственная», — восхищался хозяин.

Когда Елена Павловна преставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека и не будет». Дочери плакали, а внучка вспоминала: «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, а она повернет голову эдак и спрашивает: “Ты кто есть?”».

Новоселки



Добираться туда легко: в девять вечера садишься на поезд, в три часа ночи слезаешь. Полтора километра по шпалам, столько же через лес — вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой некогда стоял жилой дом.

В пору молодости своей, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни — нет: что-то ели, что-то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда; однако они позволили жизни своей сделаться безобразною. Сережа уже почти не надевал протез — лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка хотя и совершала кое-что по хозяйству, но без усердия: посуду она не мыла — суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она — не знаю.

Да и все в доме у них было опустившимся: кобель — матерый гончак, — если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол; кошки бродили по столу, добирая

объедки; тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащей коростой покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял.

Электричества в доме не было — отрезала власть, керосина у стариков не водилось, так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы — только ругались, грязно и равнодушно. Сережа — кашляя, бабка — тонким гнусавеньким голоском.

Останавливаться у них не было никакой возможности, предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах брошенной деревни по соседству, но, наведываясь в те края, я всегда заходил к Сереже — оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что-нибудь по мелочам.

Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре — в деревню километров за десять. Потом сгинул кобель: самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить поезд, однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не заметил, — краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило.

Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу — люди спаслись, но изба сгорела. Был суд: два года тюрьмы и тысячи рублей компенсации. Пустился дед Сережа отбывать срок, старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму: что-то продала, сколько-то заработала на бруснике, о чем-то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся — совсем

блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги.

А еще через какое-то время оба они убрались: дед преставился здесь, и последние его слова были матерными, старуха тихохонько отошла в новой избе сестры.

Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению; печально, что не осталось от них ничего — даже тараканов с кошками не осталось. Я был там недавно — на месте дома груда печных кирпичей да несколько поблескивающих хромированным металлом протезов, о которых дед Сережа, помнится, говорил, что они — один другого нескладнее. Всем им он предпочитал деревяшку... Кто и зачем спалил их дом — неизвестно, скорее всего, кто-нибудь из местных: обычно подобное занятие — утеха молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был — новоселковский, а вот чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать. Горазды мы, как известно, родную землю поганить.

Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не без растерянности взирал на уголья: как же так — что-то было, а теперь нет... Глупая, конечно, растерянность, да разве привыкнешь — тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания кое-какие промелькнули, и вспоминалась все одна пакость. Как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу — учителку, присланную из города, — старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что «у колхозной булгахтерши трое детей, а обличием все — в гада этого». Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем,

да старуха не выпустила: «Загубишь курицу!» В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом, в мое отсутствие, извести всех остальных кур. Вспоминал сонмище кошек: Сережа держал их вроде как для промысла — шапки шил.

— Хочу черную шапку сшить, — говорил он мне при каждой встрече. — Кра-асивая будет! Видал, какая у кота шерсть? Блескучая, густая, ворсистая... Надо, чтобы он котят чернявых добавил, тогда я и его в расход пущу — старый, зажился.

Свесив с печи лобастую голову, кот устало и снисходительно щурил глаз: за многие годы он выдал лишь одного отпрыска своей масти, остальные рождались пестрыми или рыжими — из них-то дед и шил шапки, воротники, рукавицы. Однако как только Сережа помер, косяком пошли беспросветно черные.

Вспоминались и тараканы: бывало, зимой, прежде чем обуться, валенки приходилось вытаскивать в морозные сени. Тараканы из валенок ползут и ползут: до верху доползают, тут в них что-то щелкает — жизнь выключается, и они летят на пол, кошки только успевают подбирать. И что интересно: живых тараканов кошки не трогали, зато мороженых — до драки доходило. Какая тут кулинария сокрыта?..

В общем, одна дрянь вспоминалась, хорошего — ничего. Но почему не покидало и не покидает меня теплое чувство к этим прозябавшим в мерзости старикам? Что-то к ним притягивало всегда, какой-то свет от них исходил... Неяркий, может быть, но все-таки...

Не знаю, что было его источником, не знаю... Но вот ведь держались они друг друга всю жизнь! И дома своего, и своей земли... Не стало их, и место это обезжизнело. А когда-то, отстояв тягу, сходились здесь

у мосточка через ручей охотники — было нас человек пять — семь: из разных городов, в разных деревнях останавливались, а собирались — надо же — именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, узнаем, кто как провел год, — осенью и зимой редко кому доведется встретиться, это уж десятидневный весенний сезон вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, потом расходимся кто куда.

А когда дед Сережа ушел, мы и встречаться перестали. Вроде и старик этот не нужен был никому, а вот надо же! И пока еще были живы мы все, и каждый год по весне наведывались в Новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не могли. Стоишь на тяге, слышишь: за высоковольткой ба-ах! Это, стало быть, Петр Сергеевич; дочь его, помнится, рожать собиралась... теперь внук или внучка в первом классе, поди. А вот у реки зачастила пятизарядка Антона Романовича — какие-то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, дело кончилось? Хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем столкнешься с небритым мужичонкой: рюкзак у него даже на вид трудноподъемный — пара глухарей точно есть. И в вагоне уже сообразишь: Витюха — шофер из Твери. Он тебя тоже признает, поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята были, но это так, по догадкам, по слухам, а видеть он никого не видел. Вот и я никого, кроме него, не видел... И никогда больше не соберемся мы у мосточка через ручей. Впрочем, и самого мосточка давно уже не было: раньше Сережа его подновлял, хоть кое-как, но починивал, совсем нарушиться не давал, а без старика обветшал мосток, иструхлявился, и смыло его весенней водой.

Нет, теплился огонек в этой лампадке: хоть и перепачканной она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкана, а то, что не угасал, — это важно и удивительно, ведь столько невзгод было обрушено на Сережину мужицкую голову, на Сережины крестьянские плечи: «Жизнь обычная, — говорил он, — как у всякого деревенского, а ногу на войне потерял».

И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать мне не удалось, вот уже и старухино имя забылось... Однако несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет совсем, — несправедливо.

Наводнение



Переполох случился неслыханный: весь день между Нижним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сновали под дождем телеги, тележки и машины — народ развозил добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться не стал.

— Не верю, — говорит, — чтоб из нашей Ворчалки стихийное бедствие приключилось. В ранешни времена бывало такое? Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье: у меня — до бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтоб огороды позатопило, тем более дома залило — не верю. Да у нас и во всем районе воды столько не сыщешь.

— В ранешни! — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики. — В ранешни всемирного потепления не было, а теперь...

— Дело хозяйское, — отмахнулся Цапкин, — мотайте, а мы с Петровым чихать хотели.

Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение: Сашка Петров — человек серьезный, не то что балабол Цапкин. В молчании докурив цигарки, нижнеспасовцы побрели грузиться дальше.

Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого, верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело поразбежаться, лишь еноты опозорились. Ну, тем простительно, те спросонок, ведь шел декабрь: уж и снегу нападало, и Ворчалка замерзла, и вдруг — на тебе, дождь! Да еще как зарядил! Сидели теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят — зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счету перевидал, не церемонится. «А ну!» — как рявкнет! Некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений: шмякнешь его для острастки, он — брык — и вроде как околел. Бери его за шиворот, делай что хочешь.

Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на стлани, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключины скрипят — страшно енотам, не шевелятся. Если вдруг и заворочается какой, Сашка притопнет: «А ну!» — и мешок вмиг цепенеет. А тот который на стланях, знай себе мордой в шапку тычет — прячется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей — они и поплелись кто куда: искать незанятые норы, рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного — прямо баран-рекордсмен, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить.

Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без чувств.

— Вот, Татьяна Борисовна, — устало сказал Петров. — Дикий зверь, и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок столько лет жить?..

— Зачем ты его принес, Саша?

— Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел — все вода, вода, ступить некуда.

— Ну так деревню-то отыскал?

— Отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежало... Изорвали б в клочья. Пусть в сарае переночует, отнесу его завтра куда-нибудь.

— Ой, отнеси, Саша, уж больно страшный...

За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин — «полюбопытствовать, не скажут ли чего по телевизору насчет наводнения».

— Твой-то сломался, что ли? — спросил у него егерь.

— На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпримет, стало быть, действия... для спасения добра... ну, имущества... тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько и... Для порядку... Не так, как остальные, конечно... По другим деревням не повез, но на чердак... Вроде как... Ну вот! Вот оно, гляди, наводнение-то!..

— Так то ж в Америке... Понял?.. Штат Колорадо!

— Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик рассказывал?

— О чем?

— Теперь все глобально!

— Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатился?

— Ну!.. Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. В общем, ты как хочешь, а я пойду действия предпринимать. По спасению.

Выйдя в сени, он вдруг обернулся:

— Больше всего мне наша молодежь нравится! Тут такое творится, а они в клуб подались. Мой говорит: «В гробу я видал твое наводнение, у меня дискотека сегодня». Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь: «дискотека»... Вроде как чего-то серьезное, не моги помешать! Тьфу! — И ушел.

Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со стола и мыла посуду.

— А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко екает? — спросил задремывающий супруг.

— Из-за чего?

— Да из-за наводнения.

— Была нужда... Ты-то не боишься, — она перестала греметь тарелками.

— Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна, нисколечки не боюсь: дождь скоро кончится — воздух сегодня стынью пахнет.

— Ты мужикам-то говорил?

— Сказал Цапкину, да что толку? Какие-то все опасливые стали.

— Так добра-то все сколь понакопили — вот и боязно за него, — объяснила супруга, но Петров уже спал.

Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно: дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды, на белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота.

Лаврюха обыкновенный

Поздней осенью, когда выпал снег, а вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя — старый едва тарахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился к пристани — подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю. Если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача», — раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «навялил»: двух городских теток, возвращавшихся не иначе как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника — своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку да из-за того же рейсового и застрял.

Пошли. Не плаванье было — маета: моторишко тянул еле-еле, боковой ветер сносил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием.

— Ой, Валь! Палас — три на два с половиной, голубой... Эспадобна, Валь! Как у тебя... Обои — тоже голубенькие, под цвет... Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, Валь: динь-динь — эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лаврюха обнаружил, что аккумулятор чужой.

— Ну, беда! Говорил же я твоему отцу: не могу оставить аккумулятор — движок дохлый, так хоть зажигание путное... Спер-таки, не удержался...

— Он сказал: все равно ремонт, — растерянно объяснил мальчишка, — там, сказал, поменяют.

— Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь...

— А что теперь? — подхватились тетки.

— Встретим кого — отбуксируют. А не встретим — к тому мысу прибьемся, — указал он, — маячник свезет, поможет.

— Он в поселок переехал, — робко сказал мальчишка, — мотоцикл перевез, дом, моторку...

Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то, не заслуживающем внимания, заключил:

— Ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит, отдыхайте пока.

— Отдохнешь тут: болтает до невозможности, — раздраженно бросила Валя.

Волна была небольшая, но, как только суденышко потеряло ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее — на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро.

«И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх табаку...» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем — в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать по-морскому, не обратили внимания.

Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию, — те стали орать: «За все ответишь!» — оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку. Потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня:

— Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой — и по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забижать себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.

— Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом, — сказал Лаврюха, — иначе угробит на валунах! — Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни...

В озере и летом не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. «Минут пять продержусь — и кранты». Он пошуровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. «Только бы не захлебнулся!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая недавно срубленная из сосны банька — видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись, новую баньку сгоношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило... «Огонь. Или пропадем, — понял Лаврюха. — Скорее!» В сарае нашел гниловатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить — намокнет». К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла — размочаленную лопасть, дерево занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать... Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха не переставая грел его, растирал, мял. «Выживем. Теперь выживем...» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную для расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал... Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из горбыля стену. Снова поднял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул — и снова...

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды: ведерко, к счастью, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь; плескал воду на каменку и добился: ежиться парнишечка перестал, распарился, ожил. И — уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток одновременно никакой возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину...

По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко.

— Бабы! — заорал Лаврюха. — Ба-а-бы-ы!

Из-за дверцы высунулась голова.

— Давайте сюда-а!

Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал-подождал: «Убились они там, что ли?» — и шагнул в воду. «Не сдюжить. Околею от холода».

— Ба-бы-ы! — Бабы не отзывались. — А! Была не была! — И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом — не то ползком, не то вплавь.

И, уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: «Зря поперся. Случись что — парнишка один останется, застынет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук ни ног Лаврюха уже не чуял.

Бабы были в кровище — сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

— С ума сошли? — заорал Лаврюха. — Бросайте, бросайте все!

Они упорно тащили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули.

Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал: «Эти — толстые, не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка вот...»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает, — машинально отметил он. — Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.

— Сымай с себя все, не то подохнете, — сказал Лаврюха.

Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться.

— Отвернись, бесстыжая морда!

— Шли бы вы... — Склонившись к огню, он ждал, когда его одежда оттает.

Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал.

Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. Сверкая золотыми зубами, они орали про тыщи долларов: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все, — подумал он. — Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган... Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.

Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся: озаренные лунным светом, стояли на снегу голые бабы.

— Ну, чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись.

— Ты уж не бросай нас, дядечка! — попросила Валя и, должно быть, улыбнулась — в отсвете маяка блеснули ряды зубов.

— Извиняемся! — сказала другая.

— Ладно, — не удержавшись, махнул он рукой. — Шут с вами. — И пошел себе.

Но тетки догнали.

— Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый... Во дают!..

— Ну, мы поможем хоть что.

— Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай — валяйте.

Но бабы не смогли поднять камень.

— Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось:

— И занавесочки, Валь, достала — ну как у тебя, эспадобна, Валь!..

«Порядок, — оценил обстановку Лаврюха. — Стало быть, оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что двое детей-школьников. «Все, бабы, извините, я спекся», — просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал: «Я овощным заведую, а Валя — универсальным», — и далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой — в котле была ржавая, — поставил ведерко греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они так сидя и дремали, сам лег на нижнюю — шириной в одну доску — ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка: объяснили водителю ситуацию,

и он подбросил бесплатно — денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой — тот не чихал, не кашлял, — сдал матери. Потом на почте разрешили — опять же бесплатно — позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии.

— Напился! — определил директор причину аварии.

— Нет, — оправдывался Лаврюха, — не пил я, нисколько не пил.

— Справку из милиции, иначе — не рассчитаешься.

В милиции Лаврюхе поверили:

— Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.

Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет — теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно в город.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришко: «Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно».

На овсах



Впервые я попал на медвежью охоту еще в юности: как взял ружье, так и пошел на медведя — Колобан пригласил.

Ленька Колобан — светлоглазый и светловолосый — был единственным мужиком в деревне, если, конечно, не считать деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало: он хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не выходил из избы. Выходил лишь затем, чтобы, перебросив через плечо связанные веревкой валенки, отправиться босиком по пыльной дороге «на германскую» или «на японскую» — то есть был уже, как говорится, совсем плохой.

У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее было никак нельзя, потому что нужной детали в мастерских не обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан — ко мне.

— Ты когда-нибудь на овсах охотился?

— На овсах — нет, — признался я, хотя и чистосердечно, но с такою значительностью в голосе, которая могла означать лишь, что уж прочие виды охот мне совершенно знакомы. В действительности дело

обстояло иначе, и хорошо еще, что Колобан был начисто лишен лукавства, а то спросил бы меня об охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы, вполне возможно, ответил: «Как же, как же, случалось, и неоднократно». Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за тот вздор было стыдно. Но Колобан по причине своего природного простодушия в подробности вдаваться не стал.

Он привел меня на маленькое поле, отделенное от больших окружавших деревню полей неширокою лесною грядою, взобрался, как по стремянке, по ветвям старой ели на пятиметровую высоту, ладно устроился там — сел на один толстый сук, ноги поставил на другой, — а мне указал осину, стоявшую напротив:

— Не чихать, не кашлять, не шелохаться, пока я не свистну, понял?

Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел полосу и влез на осину. С того вечера я крепко запомнил, что у осины, в отличие от елки или сосны, ветви для сидения приспособлены плохо — растут под острым углом к стволу.

Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание начало помрачаться — мне показалось, что по лесу шастает дикое сборище: лошадь, собака, поросенок, утки, козел, — кто-то фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, ветки трещали...

Однако Колобан молчал, и я — не «шелохался».

Потом, в непроглядной уже темноте возвращаясь домой, мы высветили фонариком у ручья следы медведицы и двух медвежат — той самой компании, которая бродила вокруг поля и которую я на слух по неопытности своей принял за собрание домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и опасливо оглянулся.

— Сторожкая, — вздохнул Колобан, — причуяла. Теперь — далеко, увела медвежаток. А где сам-то?.. Прежде медведь ходил, у того след куда больше, а этих я и не видывал...

Он попросил меня «шибко-то» не расстраиваться и обещал, что уж завтра медведя мы непременно возьмем.

— Не иначе на чужое поле переместился, — вслух соображал Колобан. — Подманить бы его, да чем?

— Медом, — машинально предложил я, вслушиваясь в шорох листвы.

— Где ж его напасешься столько, меду-то?.. Это ж надобно, чтоб медведь километра за три дух и словил... А что еще они жалуют?

— Рыбу, — вспомнил я документальный фильм, в котором камчатский медведь промышлял горбушу.

— Ну! Это другое дело! Рыбы мы завтра сколько хочешь добудем: у меня бредень — сто метров, пошли... А чего ты хромаешь-то? — Он осветил меня фонариком. — Да ты с заду вроде как треугольный сделался — вот интересно... Я эдакого и не видывал никогда... — В голосе его не было и намека на насмешку. — Завтра дощечку с собой прихвати — какой-никакой лабаз получится.

На другой день мы добывали рыбу. Один конец бредня привязали к кусту, отплыли на плоскодонке — я греб, а Колобан аккуратно опускал в воду «пудоши» — грузильца из обожженной глины и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлестнулась. Заведя бредень, причалили к берегу и взялись тянуть — бредень не поддавался.

— Р-раз, два, взяли! — скомандовал Колобан.

Мы усердно рванули — бредень пошел легко — и вытащили одну лишь верховую веревочку с пробковыми

Ловля рыбы бреднем



поплавками. Колобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом изумился: «Мать честна-а, а где же пудоши-то?» Отчего уж так удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам стометровый бредень, — не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал:

— Тут на дне лесина лежит, еще когда-а в воду упавши...

— Тогда зачем же мы... тут?..

В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его нисколько не потускнел.

А на овсы мы с ним больше уж не попали — снова сбежал дед Семен, и сбежал впечатляюще: искали его всей деревней, искали день и другой. На третий — мы с Колобаном нашли. В старой риге километров за десять. Повели домой, и дорогою дед не переставал недоуменно бормотать:

— И чего им неймется? И чего враги все-то лезут на нас?..

— Ты про кого? — спрашивал Колобан.

— И тыщу годов назад, и пятьсот, и сто, и тридцать...

— А ты что — все помнишь? Сколь же тебе самому-то, дедушка?

Счет его годам был безвозвратно потерян.

— И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей власти... И чего им неймется, и чего они лезут на нас?..

— Да про кого ты?

— Вот! — Он достал из кармана сложенный обрывок газеты и протянул нам: — Международное положение... почитайте!..

— В нужнике, что ль, нашел? — поинтересовался Колобан, разворачивая газету.

Дед Семен обиделся, не ответил.

Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли Колобану запчасть, починили машину, и поехал напарник мой выполнять очередное задание. А вскорости пришла пора мне возвращаться в Москву.

— Ну вот, — сказал Колобан на прощание, — медвежью охоту ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками. — Был он совершенно серьезен.

Дед Семен той же осенью ушел воевать против очередного «захватчика», и более уже никто и никогда его не встречал. «Пропал без вести во время осенней кампании», — шутят и доныне его земляки.

Дядя Вася



Был у меня дядя Вася. Не родственник, а старый приятель моего отца.

Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит: «Таисья пропала». Таисья — его жена. Стало быть, тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего, — не видел я дядю Васю много лет, не видел, не слышал, и вдруг... Да и почему ко мне? У него сын есть, внуки... Насчет сына выяснилось быстро — в командировке, а со снохой дядя Вася «раздрызгался». Что же до всего прочего — обнаружилась полная неразбериха: дядя Вася сумбурно и путано громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности.

Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, сколько он был мне известен, «не любил» выпить. Впрочем, это — общее для всех дядей Васей свойство, а уж отчего так — судить не берусь.

В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением «камыша» и «рябины», дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в Перерву. Теперь это Москва, а тогда — полвека назад — там еще водились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались, так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации — ее знает всякий москвич, не имеет права не знать: отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их: «К дяде Васе»...

Тетя Тая принадлежала к известной фамилии: батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко «красила» и сама. Какой-либо оценки ее творениям — даже самой неграмотной — я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были безусловно реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как в писанные ее рукой гладиолусы бился шмель. В другой раз дяди-Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже, — пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль. Но, несомненно, лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывался: мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может,

только так — кружечку пива, ну что ты молчишь, скажи хоть что-нибудь, — пока наконец не обнаружил, что беседует с автопортретом жены.

Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как понял я с течением времени, довольно замкнутой.

Единственного сына их, а он был старше меня лет, наверное, на семь, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе, демонстрировал мне свое умение: разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу и училище, стал офицером, служил все где-то далеко и лишь выйдя в запас вернулся в Москву. Тут-то и произошел «раздрызг» со снохой — насколько мне удалось понять, причиной тому послужила неуемная захватническая страсть этой женщины: проще говоря, она попыталась выжить стариков из квартиры.

Это все — предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но безрезультатно.

...Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал: прежде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий день завершал в шашлычной, а тут вдруг мир ограничился стенами квартиры, для «выходов» же остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал — здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать, любил,

чтобы послушали и его. Дяди-Васины рассказы я помнил с детства.

Про то, как ехали на аэродром, — в Боровичи кажется. Опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов не поспели — «дуглас» взлетел у них на глазах. Дядя Вася набросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры, но в это время раздался взрыв — самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. «Полнехонькую», — подчеркивал дядя Вася.

Другой эпизод касался выхода из окружения. С одним сержантом перебирались по гати через болото — дело было под утро: сумерки, туман. Слышат — навстречу немцы идут. Ну, сползли в топь — с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибался с тех пор — крючком, сержанту же отдавили кисть — пришлось ее ампутировать, а потом он и вовсе помер от гангрены.

Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил «виллис» со спящим водителем: «Пьян мертвецки! Голова на руле, руки обвисли!» Растолкал. Объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду: «Американец! И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый! Ну, силен! Выгрузил — и опять отрубился!»

Был у дяди Васи еще сюжет — про возвращение с японской. Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена фисгармония, а на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда,

сдал дядя Вася только два — третий тетя Тая утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфисковали по закону о раскулачивании, а фисгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней «Баркаролу» Петра Ильича Чайковского.

Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествий не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд — дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала: перед третьими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся, — и ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были, в Мытищах, — супруги на месте не оказалось: «Таисья пропала!»

Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне: он пребывал уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог.

Звонили десяткам знакомых — близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морги... Наконец в одном из них нас «обнадежили»: поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по возрасту несчастная ничего общего с тетей Таей не имела.

Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу? Оказалось, могла: знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и чего-то еще, но тетя Тая пожимала плечами — у нее не болело ну совсем ничего.

Отыскали больницу, тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено

было немедленно возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, виновато давал «отбой», а дядя Вася возбужденно и весело мешал мне.

— Представляешь, — рассказывал он, едва сдерживая радостный смех, — она говорит: «Ты все-таки поехал к Пучкову?» Я говорю: «Поехал». А она: «И Валентина там была?» Я говорю: «А как же!» Она тогда: «Ну и как она?» Я говорю: «Почти не изменилась». Таисья аж чуть не взвыла. «Ты, — говорит, — и прежде ей шоколадки покупал, а мне — ландрин»... Ну, ничего, обошлось...

— Какая Валентина?

— Не помнишь, что ли? А! Это до тебя было. Когда мы в Москву приехали, у Таисьи подруга завелась, Валентина, ну она и давай меня к этой подруге ревновать — та уж и замуж вышла, а эта всё... Ландрин какой-то...

— Когда ж это было?

— Это?.. Году, наверное, в двадцать восьмом.

— И что, с тех пор так и тянется?

— Ну да: то к Валентине, то еще к кому. Валентины-то я лет пятьдесят не видел — она теперь согнутая вся, с клюшкой, а тогда — ничего была.

— И не тяжело, дядя Вась?

— Чего?

— Ну, терпеть все это?

— А чего тут тяжелого: жена — она и есть жена, мы с ней уже седьмой десяток вместе живем... С ней-то легко, а вот со мною... Я же одно время знаешь до чего допился?.. А-а, то-то же. В общем, стали ко мне являться лукашки да окаяшки. Как надерусь, они и являются.

— Что, с копытами и рогами?

— Насчет этого не скажу: на ногах — штиблеты, а волос у них кучерявый, так что не разглядел, да и хвостов не видал — при костюмах ведь, но в остальном — носатые и серой воняют, вот, брат!.. Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисья картины сдавала. Он всё пейзажи не любил, заводы всё требовал, фабрики... да. Ну, это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них, а они народ такой, всё, бывало, посмеиваются да ухмыляются, — ну, психанул, стало быть: схватил топор и ка-ак хрястну! Что тут бы-ло!.. Искры, огонь, дым... Оказалось, по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор. И этих, знаешь, сразу же поубавилось. Сильно поубавилось... Вот, брат... Так что несладко ей со мною пришлось, несладко. Однако шестьдесят лет прожили. Это вы, нынешние: чуть что не так — побоку, разошлись, как в море корабли. А чего расходиться-то? Это ж — крест: взвалил на себя — и неси, до упора неси, до конца. Чего его сбрасывать-то? Увидишь какой поменьше, думаешь: о, возьму его! Сбросишь свой, новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом глядь — еще меньше: цап его — а он вовсе свинцовый. Сменяешь на пенопластовый, а тот — орясина — за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь — ан весь в занозах... Так что тащи, что дали, и не рыпайся: браки совершаются на небесах — это мне Таисья сказала, когда я начал ее... это... уговаривать... Мы ж с ней на дороге лесной сошлись: я из дома сбежал, учиться двинул, а у нее родителей шлепнули, вот и шастала, неприкаянная... Было нам тогда по пятнадцать лет. Ну на небесах, говорю, так на небесах: зашли в церковь, обвенчались, вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов вроде

больницы этой — ерунда, на ход поршней не влияет. Как наставлял меня тот священник — ну, который венчал нас: «Женщина — сосуд слабый, немощный, ты уж побереги ее». Так что извини и спасибо.

Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что «по своей бабьей глупости» — ее слова — доставила столько хлопот мне и Василию — «человеку великодушному и благородному». «Вы знаете, — сказала она, — кроме меня, никто и не ведает, как он прекрасен и чист, — я ведь и мизинца его недостойна...»

Так что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок?.. Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной и жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет своею едва ли не фатальной надежностью.

Дело тут, думается, вот в чем: они верили, что браки совершаются на небесах, потому их брак на небе и совершился.

Шел третий день...

Маленький этот институт занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием.

Человек, впервые попавший сюда, — скажем, новый курьер из министерства или провинциальный командированный, — распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры: цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов.

Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда, еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шесть женщин, которых он поперву в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся.

Гостя усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснять, зачем он здесь, но на него махали руками: потом, потом!

Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь... И скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в двенадцатую квартиру «на собственную наливочку», в двадцать восьмую — «принять под грибки», а пудель с четвертого этажа уже плясал на задних лапах лезгинку... Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему.

Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу: сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор: прокуренный и неимоверно голый.

Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина лет сорока пяти — Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался.

Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом: начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, «посидеть в кресле». Карцев проработал два года, проработал третий — замены не находилось. Он жаловался, ругался — его просили, умоляли «ну хоть чуточку, хоть немного совсем», устанавливали «крайний» срок, потом «последний», потом «окончательный». Так время и шло. И всё дальше за спиной оставалась не доведенная «до ума» докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах.

Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации: то, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то наоборот — возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось.

Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических: за три года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника, что уж тут говорить о закрытии целой конторы — так, грезы... Словом, служилось ему безрадостно.

Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают:

дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей.

И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте; случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды — Карцев начинал подумывать об инсульте; бывало, что и голова и сердце болели сразу. «Интересно, — гадал он, — от чего же все-таки помру — от инфаркта или от инсульта?»

Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю.

Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на «Птичке» мотылем и в яростной, угрюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед, случалось, и не выдерживал.

Как-то среди зимы, в глухую, по рыбацким понятиям, пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за триста от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь: с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной — вероятно, еще в годы войны — водокачкой, с железным, вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с ненынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек.

Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал

порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег — поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона и стихла поднятая составом метель, прошел на лед и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился.

Время от времени проползали вверх по реке грузовики-лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где — пологие, заснеженные, где — обрывистые, с частоколом сосен.

Рассвело. Поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки: светлые, темные, тяжелые, легкие, «капелькой», «дробинкой» — весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями — безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем — знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Унынию не поддался — свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом — а у быков давление обычно повыше, — из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку, благо не было рядом жены, которая враз бы: «Не свисти! Денег не будет!»

«Ну и шут с ней, с рыбой, — думал Карцев, — пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду». А пока была лишь только пятница.

Сорок девять дыр насверлил Карцев: на глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из пятидесятой — «юбилейной» — извлек меленького прозрачного ерша. Подержал на ладони: «Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то, чтобы на

ушицу, — коловорот до рукоятки сточится», — и отпустил рыбешку.

Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающие объяснения и узнал, что «рыбы ноне совсем в реке нет, совсем: летось электроудочками повыбили».

— Теперь весны ждать надо! — заключил мужичок. — Как новая вверх пойдет.

— Понятно. — Карцев огорчился всерьез, и вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный браконьерскими электроудочками.

— А ты сходил бы на озеро, — предложил мужик.

— Так это опять возвращаться, поезда ждать...

— Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж сорок километров будет, а прямиком, — махнул он рукой, указывая направление, — километров семь-восемь.

— А там есть где переночевать?

— Поселок там, я и сам там живу. Ты вот что: как дойдешь, попадется тебе завод спервоначалу — забор, проходная, ветка железнодорожная — увидишь. Балки там делают, ну... вагончики блескучие для лесорубов. В четыре часа рабочие домой пойдут, ты поспрошай, пустит кто-нибудь, народ у нас добрый, приимчивый. Я бы тебя к себе пригласил, да в деревню иду за лошадью, в деревне, видать, и переночую...

К четырем часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил:

— Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать!

Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась.

— Да я серьезно, — сказал Карцев, сердясь на самого себя. — Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу́.

— Дело не в этом, — снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. — Семья большая, детей полон дом... Валь! — остановила она проходившую мимо женщину. — Кто у нас рыбаков пускает?

— Максютиха, — ответила Валя, — Татьяна Фролова, кто еще? Зойка Пальникова... Во, Зойк! Поди сюда!

Подошла еще одна женщина.

— Зойк! Возьми рыбака, — попросила ее симпатичная, — а то у меня, сама знаешь, детский сад целый, да у Колюшки еще и ухо болит — настыл где-то...

— Да где ж? — возразила Валя. — Говорю тебе, в хоккей гоняли, он шапку сбросил — запарился, видать, — а на озере ветер... Я уж кричала, кричала ему, а он — ноль внимания.

— Приду сейчас, устрою ему «ноль внимания»!

Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал.

— Идемте, — хрипловатым голосом сказала она.

Сначала шли вчетвером: женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках, Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались.

Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью — в маленькой комнате, вы — в большой: хоть на кровати, хоть на

тахте», — повесила пальто и пошла растапливать печь.

Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем в общем-то небольшой, и обнаружил порядок невероятный: занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное...

— Мне б лучше всего на пол, — рассудил он, — у меня вот и тулуп есть...

— На пол — это когда много народу, — все тем же усталым голосом сказала хозяйка, — а один — чего же?

— А дочка у вас взрослая? — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней. Да что вы там стоите? Проходите, садитесь — небось намаялись. Чайку сейчас вскипятим — на газу быстро. Печку — это я для тепла.

Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню:

— Я вот тут... — он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно твердую колбасу, сыр, консервы.

— Да пригодится вам еще, — мельком глянув на стол, сказала хозяйка.

— Тут хватит. К тому же ледяное все.

— Ну, пускай остается, — согласилась она.

Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля: чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные и мотыля не тронут.

Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку.

— Жена небось положила?

— Нет, — возразил Карцев, — сам. — Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке:

— Она фигуру мою бережет, — неуверенно улыбнулся, — так что это я сам себя побаловал... Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста, — тут он смутился совсем, — я ведь терпеть не могу сладкого, это — так... подвернулось перед отъездом — взял. Девочку угостите, — и отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола.

Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил: «Мужика, пожалуй, и не было — некрасивая. И девочку, наверное, так прижила, без мужа... Девочка в детском саду, хозяйке — за сорок, родила она, значит, лет в тридцать восемь — тридцать девять... Последний, можно сказать, шанс использовала... Какая-то уж совсем неухоженная: волосы патлами, нерасчесанные, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так: почти не шепелявит — приноровилась... Какой уж тут муж?.. Живет теперь для дочери — в доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего, аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе...»

Чай, тепло, телевизор разморили его, он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда, когда все передачи кончились: хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся: «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише, Карцев сообразил, что уже поздно, что девочка спит.

— Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю.

Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды.

Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду, — слушал, задремывал, но не засыпал: «А что если она, домыв посуду, разденется, да и ко мне, а?.. Не красавица, конечно, но вообще-то бабешка спокойная, добродушная... Душевность какая-то в ней, конечно же, есть, так что... И потом: что я — не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?..»

Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина — не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в людном месте на домогательства чужого мужчины. «Как не стыдно?!» — восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти «бабешку», но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там! На рыбалку бы раз в год попасть! И вот попал: и рыбалка тебе, и женщина...

В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо, в свою комнату, и прикрыла дверь. Карцев подождал,

подождал и вдруг, к стыду собственному, обнаружил, что раздосадован...

Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал: все двери настежь. Оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что стало худо старухе соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи — присмотреть. Вид у нее был безжизненный.

Явилась заспанная фельдшерица, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, ни к кому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было — три дня. День —в девчонках побегала, день — в девушках погуляла, день — все остальное: работала, растила детей...» Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление: он давно уже — лет в тридцать — понял, что жизнь коротка необычайно; частенько словно из-за угла подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице; потому, что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших двадцать пять, тридцать, а теперь уж и сорок лет назад; но более всего изумляли Карцева старые стенные часы: в детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко, теперь же они били почти без перерыва. Да, но чтобы всего три дня?..

— Я ведь уже оттуда гляжу, — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит.

— Позавчера — девчонка малая, — продолжала старуха, — вчера — с Колюшкой своим миловалась... Колюшка, он уж сколь годов в земле лежит, меня дожидаючись... А потом — сёнешний день — и все, — закрыла глаза. — И все...

Между тем приближалось утро, Карцев отправился на озеро.

Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой — здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля; прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе как возле прикормленных с вечера лунок, прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился: «Нет, я все понимаю, — поставил ящик, снял с коловорота чехол, — но чтоб три дня...» — и начал сверлить.

Вяло поклевывали мелкие окуньки — «матросики», изредка брала небольшая плотва — Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет, к Карцеву стали сползаться рыбаки, его «обсверлили», засветили воду через множество лунок, и сторожкая рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера.

Погода стояла тихая, пасмурная, клева не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее от недосыпа лицо. «Тьфу, рожа!» — плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном.

Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее, мутное безразличие: «А ну их всех...» Никого не было рядом, никого — вокруг: «И хорошо,

здесь и останусь. Вот он, мой третий день... Какая разница — длиннее он или короче будет, важно, что старуха права: всего три дня, третий — последний... Никого... А никого мне и не надо...»

Приподнял голову — собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. «У меня и угостить-то их нечем. Небось на гулянку... или с гулянки...» И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть и не сумел — горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках: «Вол-ки, вол-ки, вол-ки...» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию.

Звери стояли неподвижно: спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился — это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак, — но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев нескольких шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного: он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил... Потом он понял, что зверей не напугал, — они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление: отвернувшись, они легкой рысцой — шаг в шаг, след в след — направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигать в поселок, но

именно туда пошли и волки... Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть, отдышаться и услышал вдруг:

— Тпрру! Здоров, рыбак! Дня не хватило? — Подъехали сани, в санях — вчерашний мужик.

Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать.

— Да знаю я! — отвечал мужик. — За собаками ходят. У меня и ружье всегда с собой взято, — он откинул рогожу, показывая ружье, — да вот не попадаются, разбойники! Залезай, вместе поедем... Прямо на мешок и садись — в нем рыба мороженая, не раздавишь.

— Откуда столько рыбы?

— Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь — покупай: сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?

Поехали. Карцев не переставая рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. «Ну совсем не испугались: отвалили в сторонку, и хоть бы что...»

— Чего им бояться? Хозяева! На ферме сколь телят порезали, сколь собак — всем кранты вышли! Одна Буська их не боится — кошка, стало быть. На ферме она живет. Сама черная — жуть! А башка белесая, вроде как седая. Ну вот... Волки придут, а она по крыше носится, воет: дразнит, значит, их, бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит да трансформатор, что для электродойки, как включит! А он ревет, будто много бомб сразу падают... Ты под бомбежку не попадал? Не?.. Ну да, малой еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло... А волки,

значит, и утекают. Такая Буська... Случалось, с крыши слетала — по нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась, а как — кто ж ее знает.

— Вы бы покараулили волков, — предложил Карцев.

— Караулили, — махнул рукою мужик. — Пока караулишь — их нет, только уйдешь — тут как тут...

Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил пять килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться, — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. — А то обычно: пустым приедешь — жена спрашивает, где был; мелочи привезешь — говорит: "Возись сам"». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «ах», «ох», да «где ж это вы пропали», да «мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал.

Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех: не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, любил спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, любил местных рыбаков... Он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно.

Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение: глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. «Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка!» — выключил свет, лег и в темноте: «Особенно если с волками и если идет третий день», — не удержался от соблазна осадить самого себя.

И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь», — с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.

Охотники



В молодости, когда я много охотился, были у меня в районном городе С. два компаньона: дядя Миша и Николай. Друг на друга совсем не похожие — и внешне, и по своему внутреннему укладу, и по восприятию предмета нашего интереса. То есть любили они охоту одинаково горячо, но при этом подход к ней был у каждого неповторимо своеобразен.

Надо признать, что пары совершенно разнородных охотников, относящихся друг к другу уважительно и пребывающих при этом в постоянном соперничестве, встречались мне неоднократно. Как правило, их состязательность начисто лишена перспектив, поскольку каждый усердствует на своем обособленном поприще, и сравнивать их достижения нет возможности. Вероятно, так случается потому, что охота во всей ее полноте — понятие сверхобширнейшее и в одного человека никак не вместимое. Вот люди и преуспевают лишь в отдельных частях всего состава: один увлечен меткой стрельбой, другой — натуралист-созерцатель, третий влюблен в старые ружья, четвертому веселую компанию подавай, пятый — добытчик

и всегда рассчитывает на прибыль, шестой любит путешествия с приключениями, седьмой — собачник... можно продолжать и продолжать...

Дядя Миша был стар и глух. Но что самое примечательное — невероятно суеверен. Ни до, ни после я никогда не встречал человека, в котором суеверие было бы доведено до такой высокой степени совершенства. Впрочем, обо всем этом я узнаю несколько позже, а предстал он предо мной в ореоле самого многоопытного охотника всего здешнего края.

Утром, еще затемно, мы выходили из дома и направлялись к окраине — тогда по улицам этого города можно было свободно ходить с расчехленным ружьем. Тут из каких-либо ворот выходила баба с метелкой, чтобы подмести перед своими окнами земляной или деревянный тротуар, дядя Миша испуганно вздрагивал, и мы, развернувшись на месте, поворачивали в обратную сторону. Потом нам попадалась баба с пустым ведром, потом — с распущенными волосами, наконец, черная кошка, подбитая ворона, хромой щенок... Все это могло иметь исключительно неблагожелательный смысл, и мы метались по городу взад-вперед, влево-вправо, пока не оказывались на аэродроме или на кладбище.

Кладбище там старинное, сплошь заросшее березами, черемухой и бузиной, так что однажды я заплутал и начал аукаться, но дядя Миша, который тоже запутался в лабиринте оград и кустов, по глухоте своей меня не услышал. Зато услышал священник, вывел из дебрей и для отыскания моего напарника помолился Иоанну Воину и мученику Трифону. Дядя Миша скоро нашелся, но время близилось к часу обеденному, и батюшка пригласил нас к себе домой. Погостили мы замечательно — до позднего вечера. Во время обеда

дядя Миша много и с мечтательностью рассказывал о настоящей охоте, какая случалась в старые времена.

— Как же ты сквозь баб за околицу выбирался — или их тогда меньше было? — спросил священник.

— Нет, просто я примет меньше знал.

— Потому и охота у тебя складывалась. А теперь дребедени набрался и пугаешь ружьем покойников. Первый устав российского флота повелевал за суеверие — в мешок и за борт. Понял, безбожник?.. Вот Николай, твой бывший приятель, человек несуеверный, на праздники в храм ходит, исповедуется, причащается, так к нему зайцы сами под ноги бегут...

Впрочем, несколько раз нам удавалось вырываться из города, и мы охотились на опушках вокруг деревень: один из нас шел полями вдоль леса, другой — чуть в глубине, среди деревьев, мы нагоняли друг на друга тетеревов, рябчиков, глухарей. Дядя Миша хорошо знал угодья, и охота была фартовой, но без манер, беспородной какой-то.

Однажды, не помню уже при каких обстоятельствах, познакомился я с Николаем, которому дядя Миша по причинам, мне непонятным, определенно завидовал, и с тех пор я ездил уже к нему. Николай тоже был весьма великовозрастным, но моложе приметливого суевера. К дяде Мише он относился вполне добродушно, жалел его и молился за него. Николай во всем любил обстоятельность, ценил традицию и уклад. Он держал гончих, и мы удачливо охотились по чернотропу.

Рано утром, еще в темноте, с ружьями и собаками мы пешком уходили за городские окраины, весь день бродили по окрестным полям, вечером так же пешком возвращались домой. Измотанные собаки устало брели по деревянным тротуарам, уступая дорогу редким

встречным прохожим, которые приветствовали нас и весело поздравляли «с полем».

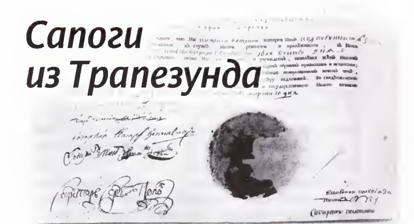
Николай кормил собак, хозяйка кормила нас, наконец мы усаживались на диван под картиной с подписью Юлия Юльевича Клевера, изображавшей весенний лесной пейзаж с тянущим вальдшнепом, и отдыхали. Николай уверял, что полотно действительно принадлежит кисти дореволюционного академика и висело раньше в какой-то дворянской усадьбе. Вот по этому полотну и воздыхал дядя Миша, утверждавший, что в прежние времена у каждого настоящего охотника была картина художника Клевера. Мне, правда, казалось, что краска как-то уж слишком свежа для девятнадцатого столетия, клюв у вальдшнепа великоват, да и сам он несоразмерен, но все равно радостно было сидеть под такой картиной.

Приходил кот — черный, большой, с истрепанными в битвах ушами: садился на полу против нас и слушал наши беседы. Поначалу — внимательно, то переводя взгляд с одного на другого, то задумчиво опуская его долу, словно участвовал в разговоре. Потом зажмуривался, начинал урчать и перебирать когтями льняную дорожку. Наконец неопределенность положения надоедала ему, он вспрыгивал на диван, устраивался между нами и засыпал.

Первым ушел Николай, успевший перед кончиной подарить дяде Мише завидную собственность. Однако тот недолго любовался художественным творением...

Батюшка отпел их обоих, и они упокоились рядышком на дремучем погосте, где так славно было плутать с ружьем.

Сапоги из Трапезунда



Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все — негодные для ночлега, так что рассчитывать на мелкопоместность не приходилось. Хотя в иных случаях мне доводилось коротать время не только в совершенно справных, разве что опустевших, деревнях, но даже и в натуральных селах: с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенного, так и частного предназначения.

На другой день погода выправилась: стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше, но тут я познакомился с прежним хозяином дома, Павлом Степановичем Мешалкиным, и лишний раз убедился, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение цели.

Я прожил в этой деревне неделю. Неделю — разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами за ненадобностью. Меня ждали некоторые дела, и следовало

поскорее отправиться дальше, но Павел Степанович не отпускал.

Сначала он показался мне обыкновенным занудою: в ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда — «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих «жалоб» и «прошений» не столь уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров: перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некоему совершенству. Так, датированный 1923 годом, текст «Прошения о перестании полагать товарища П. С. Мешалкина недоимщиком по уплате сельхозналога» имел четырнадцать вариантов, а отдельные страницы преобширнейшей «Жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога В. Лепетяевой» переписывались до тридцати раз, и оттого вполне позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти самого графа Толстого.

Следующее наблюдение и вовсе смутило меня: в то время как Мешалкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала арифметические задачи про жнейки, стога и пуды на страницах печатной продукции. Были тут брошюры с таблицами займов, с постановлением «О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах» от 1924 года, «Законодательство о трестах» 1925 года, «Выращивание сои на севере СССР», «Как устранить яловость животных?» и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш «Крестьянской газеты» и цветастых плакатов, объявлявших «волостные торги недвижимостью»

и «сдачу лесов в аренду». Такая, между прочим, была жизнь в нэпманские времена.

То есть определенно писание жалоб являлось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности.

Узнал я еще, что в годы Гражданской войны Мешалкин служил делопроизводителем 29-го красноармейского этапного батальона, и счел было свое исследование завершенным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, разобранных кросен, мятых чайников, кастрюль, самоваров нашелся странный предмет — долбленый деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича.

Документ с сургучной печатью оказался послужным списком «чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления П. С. Мешалкина». Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910-м был зачислен в писарской класс при Управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера.

За четыре года бравый воитель успел наградиться тремя медалями, к этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича. Чего стоит хотя бы его докладная о прапорщике 296-го пехотного полка Борисове, который при обстоятельствах, изображенных не очень внятно, назвал Мешалкина «драным (на литеру "с") кавалером и дураком». «Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю Управления Карского

крепостного интенданта», Мешалкин просил «ходатайствовать перед господином полковником Карским крепостным интендантом о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления».

Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанное карандашом, дошел лишь до фразы: «Прапорщик Борисов спросил меня: “Ты знаешь, кто ты есть?”». Не ознакомившись с доходчивыми разъяснениями прапорщика насчет мешалкинского кавалерства, делопроизводитель перескочил к концовке и, подчеркнув несколько строчек, оставил следующую резолюцию: «Некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые и без того чрезмерны ввиду малости штата».

Господин полковник, просматривавший резолюцию делопроизводителя, подчеркнул в свою очередь лишь слова «штат» и «нетактично» и препроводил бумагу в 296-й пехотный полк с требованием «провести тактические учения, так как офицеры полка имеют столь слабую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно штатские». То есть из-за устойчивой невнимательности отцов-командиров докладная в итоге попала к тем, против кого и была направлена, — к офицерам 296-го пехотного полка, и они не замедлили рассчитаться с виновником неурочных учений: спустя несколько дней Мешалкин жаловался на офицеров, которые, посетив канцелярию, передвинули табурет, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутыль свежеразведенных чернил, сел мимо.

Получив, однако, серебряную медаль на Аннинской ленте с надписью «За усердие», писарь прекратил битву.

Но все это дело оказывалось совершеннейшим пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах.

В мае 1917 года некий титулярный советник господин Лукьянов докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писарей, пропало пять пар сапог. Павел Сергеевич отписал: «Куда девались пять пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои, писаря Голик, Гладский, Марющенко, Хряк». Стало быть, на пять пар пропавших сапог — пятеро свидетелей...

Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете три пары сапог, но вместо того чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие «началом раскаяния неизвестных злоумышленников» и сдает сапоги на склад. Лукьянов, выполнявший, по-видимому, ревизионную миссию, был человеком, без сомнения, деликатным: уповая на совесть, имен прохиндейских не называл. Однако раскаяния не случилось. Более того, Голик, Гладский и Хряк избили Марющенко и Мешалкина и отобрали у них две пары будто бы «законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года». Запутанная эта математика весьма прозрачна: писаря сговорились вернуть Лукьянову все пять уворованных пар, а Мешалкин с Марющенко сотоварищей своих надули, через что и телесное наказание понесли, и с добычей расстались.

Бухгалтер управления — «зауряд-военный чиновник» по фамилии Неборачко, — стремясь угасить раздор, добивается награждения каждого из пятерых серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и переводит Голика, Гладского и... мешалкинского друга Марющенко в Трапезунд, иначе говоря, разрушает и перемешивает начавшие враждовать группировки.

Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Мешалкину с Хряком, оставшимся в Карсе, недостает сапог. На официальный запрос писарей Неборачко официально же и отвечает, что их «сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд». В том, что это случилось не по злому умыслу, а от обыкновенного разгильдяйства, убеждает ответ Марющенко, у которого Павел Степанович попросил дружеского содействия: «С обувачкою здесь слободно, но с портками зато полное безобразие, так что Гладскому с Голиком не хватило». В обмен на две пары форменных брюк прибывают из Трапезунда даже не две пары, а одиннадцать штук сапог, но все — левые. Мешалкин в следующей докладной грозится пожаловаться аж самому государю и требует командировки в Трапезунд, чтобы «на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог». И хотя государь вот уже год как находился вдалеке от престола, зауряд-военный чиновник Неборачко все равно дрогнул: спроворил Мешалкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и дал разрешение «посетить Трапезунд по служебной необходимости».

В это время Марющенко присылает другу очередное письмо: «Я с удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укус ихний для человека смертелен. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе и с малярией, говорят, у нас неплохо, но в городе нанизу летом страшная малярия». И Мешалкин, испугавшись гибели от пауков, остался. А вскоре весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис.

Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды молодости своей. Лишь в 1945 году, разрабатывая

прошение о награждении медалью «За победу над Германией», он назвал себя во едину строку «участником Гражданской войны и героической обороны осажденного Карса». Он правильно рассуждал: историю свою мы знаем куда как плохо, и к сорок пятому году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил. Да и вообще не до того было.

Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Мешалкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой же населенной деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому лет эдак двадцать назад, в один голос твердили, что он был печником. «Может, когда чего и случалось, — говорили они, — но если только давно. А после войны, все знают, Павел Степанович ложил печи, причем от денег отказывался — задарма ложил».

Я вспомнил, что последнее найденное мною «прошение» относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз «биографию жизни» Мешалкина, датированную 1925 годом, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год.

Все кругом дружно хвалили мешалкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», «Карс», «Трапезунд». Составленное мной представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучно соседствовало с другим, никак не хотелось: вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это — безусловная несуразность.

Прояснили картину родственники Мешалкина: его внук — колхозный бухгалтер и жена внука — завскладом.

По их утверждению, «дед когда-то был ничего — копейку имел, но потом — не враз, конечно, а постепенно — свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги на церкву порастратил — церкву восстанавливал, а в наследство одну-единственную бумажоночку только и оставил — перед соседями срам».

Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком, — уж не гусиным ли он пользовался пером?

«Единственное достояние людей на Земле — ушедшее время, — начал я разбирать вслух. — Будущего нет...»

— Точно, — подтвердила внукова жена. — Эти ученые доведут Землю до края. Не войной, так химией.

Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, осуществляясь, оно уже становится настоящим, а осознанное настоящее — собственно прошлое и есть. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно с нами всегда: «в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях, в нераскаянных наших грехах».

Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с «хождением в неведомое», Павел Степанович настоятельно советовал для определения курса оглядываться назад, на «вешки прошлого», и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер.

Наконец он признавал, что лишь к закату «начал понимать в жизни», но тем не менее решился круто переменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. «Хотя слишком

поздно, а потому навряд», — прозорливо завершал Павел Степанович.

Я хотел было отдать документы, обнаруженные на чердаке, но родственники замахали руками: «Вы что?!» И поинтересовались, мне-то для чего понадобился «этот мусор»? Я не знал, как объяснить.

Никому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые «не враз, конечно, а постепенно» изменили внутренний облик Мешалкина, превратив кляузного писаря в бессребреника-печника. Так преобразить человека может только раскаяние. Однако с чего все началось? Что пробудило в нем покаянные устремления? Никто теперь не расскажет. Философские заветы самого Павла Степановича тоже не касаются трепетных движений его души. Но при всем том именно сокровенная жизнь души оказалась в этой «заурядвоенной» истории самым большим богатством.

Ведь нельзя же всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять сегодня хоть какойнибудь интерес? Тем более что все они на одну ногу.

Краузе



В конце марта 197... года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залило водой. Кое-где потоки перехлестывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и «уазик» преодолевал их без затруднений. «Это — несерьезно, — говорил Саушкин, сбрасывая газ. — Это нам... по колено», — и снова можно было придавливать акселератор.

По радио объявили полдень.

— Пять часов пилим, — подсчитал Саушкин.

— Четыре пятьдесят две, — уточнил с заднего сиденья Краузе.

— Мы ведь выехали ровно в семь, — Саушкин вопросительно посмотрел на меня, я только пожал плечами.

— Ровно в семь ты включил двигатель, а потом начал искать права. В семь ноль восемь ты нашел их.

— А-а, правильно, правильно, было.

— Сколько до моста? — спросил я.

— Немного осталось, — отвечал Саушкин. — Вон за тем поворотом... Или за следующим...

— До моста семь с половиною километров, — сказал Краузе.

— Семь так семь, — согласился Саушкин. — В прошлом году там такая беда... А кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?

— В прошлом? — взялся я напрягать память...

— Он ездил в командировку на Дальний Восток, — объяснил Краузе, — и на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске.

— Точно, — вспомнил я, — в Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил!

— А-а, да-да-да, — припомнил и Саушкин, — звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали было... Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось и здесь автобус перевернулся: и шофер вроде опытный, а вот... Шел посередке, да глубоко и тачка-то длинная — корму с насыпи и снесло. Народу человек тридцать погибло — беда-а...

— Двадцать семь, — сказал Краузе.

Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река: мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку:

— Ширина разлива — сто двадцать — сто тридцать метров, глубина над мостом через ручей — один метр, справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина достигает... может достигать четырех метров.

В эту минуту трактор буксировал «Запорожца». Дойдя до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону.

— Вот там, где сейчас находится «Запорожец», глубина и может достигать четырех метров, — заметил Краузе.

— Туда автобус и завалился, — Саушкин не отрывал взгляда от «Запорожца». — Тонет...

Машина действительно начала погружаться в волны.

— Давай! Скорее! Давай! — закричали с берега трактористу.

Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело: оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки — легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место.

— У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях — потонем, — и Саушкин покачал головой.

— Можно ехать так, — заявил Краузе.

— Как «так»?

— Так. У тебя есть кусок шланга?

— Ну, есть... наверное.

Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши «уазика». Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец сел на свое место:

— Можно.

— А ты уверен?

— Вполне. Скорость — первая, обороты — предельные, поехали.

— Поехали так поехали, — и Саушкин нажал на стартер.

— Только, пожалуйста, педаль не отпускай, — попросил Краузе, — ни на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел: совмести щетку дворника с автокраном — вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри: дороги не видно.

Мы уходили все глубже и глубже, в какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота — начинался подъем. Мотор натужно ревел, и Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали...

— Теперь машине надо полчаса отдохнуть, — сказал Краузе. — Потом трогаемся: через двадцать семь километров заправка, возьмем сорок литров бензина.

Насчет километров Краузе не соврал — в точности так и оказалось, однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось: мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.

— Фантастика, — растерялся Краузе.

— Да брось ты, старичок, — тягостно вздохнул Саушкин. — В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика — детский лепет... Ну, что будем делать?

— Я не знаю, — спокойно признался Краузе.

— То-то же... Это тебе не километры считать... Есть тут председатель один — Перебейнос, я про него писал как-то... Может быть, помнит...

Отыскали грязное степное сельцо. Перебейнос помнил:

— А як же?! Товарищ Саушкин в нашей областной газете таку гарну статью про меня написал, что ой-ой-ой — разве можно забыть?.. Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь... Горпина Нечипоровна!.. Горпиночка! Це друззя мои, так ты того... сама знаешь... и сала...

С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся Перебейнос кричал:

— Та вы шо?! Яка така охота?! Яки таки гуси?! Таки гарны хлопчики, та шоб я отпустил вас? Ни!

Горпиночка, скажи там внукам или еще кому, шоб навертели гусакам шеи... Скилько? Ну скилько вам надо тих гусей? По три штуки хватит?.. Хватит?.. Горпиночка! Нехай они десять гусей тащат... Кушайте сало, хлопчики.

— Три на три — девять, — исчислил Краузе.

— Ну, девьять. Та еще и по курке в придачу, а? На кой оно вам сдалось: тащиться куда незнамо, там, мабуть, и хаты неякой немае?.. Берить сало, закусуйте...

Хорошо еще, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался и до него:

— А ты чего не пьешь, хлопчик? Я ведь тоби все равно бензину не дам, так что пей, корреспондент, пей... А вы угощайтесь... О так и живем — товарищ Саушкин знает: я уже семнадцать рокив район вытягиваю.

— Это точно, — подтвердил Саушкин. — Иногда даже и область...

— Та-а! По зерну план заваливается — к Перебейносу, молока недобор — опьять, кормов нема — сюда же... Та вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь... Горпиночка, принеси еще сала. А Горпина Нечипоровна у меня заслуженная учительша — працюе директором...

— А учить женщине не позволяю, — отчеканил вдруг Краузе.

От неожиданности все замерли.

— Дюже мудро, — восхитился Перебейнос. — Дюже! С них таки ж учителя, як с мене балерина.

Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из Перебейноса — никудышная. На всякий случай поинтересовался:

— А сколько вы весите?

— Та-а... пудов девьять, мабуть... чи десять.

— А рост?

— Кто его знает? В армию призывался — сто шестьдесят пьять було, так то ж когда...

— Когда?

— Та уж с полвеку, мабуть.

— Не получится балерина, — признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил: — А учить женщине не позволяю.

— Дюже умно! — Перебейнос был потрясен. — Який добрый хлопчик.

— Это не мои слова, — сознался Краузе, — это сказал апостол Павел.

— Дюже умно. Горпина Нечипоровна, слыхала такого?.. Ни?.. О то ж! Они такого не проходют. Слухай, корреспондент, товарищ Саушкин: оставь мне цього хлопчика, а? Бензину дам — хоть залейся. Такий добрый хлопчик!.. Ты чего умеешь робить?..

— Лесничий он, — отвечал Саушкин, пока Краузе собирался с мыслями.

— Лесничий? В степу?

— Лесопосадки, вдоль дорог, — объяснил Саушкин.

— Ну шо ты там маешь?.. — полюбопытствовал Перебейнос. — Я буду платить тебе против того вдвое, ты мне тильки мораль читай.

— Под моим руководством высажено шестьсот сорок четыре тысячи различных деревьев и кустарников, — сообщил Краузе.

— Да хай вони, ти кусточки, цветуть и пахнуть! — хозяин решительно отмахнулся. — Кусточки и Горпина Нечипоровна нам посадит. Кто б взял на себя усю эту мораль, усю... як ее... нравственность. Словом, душевность...

— У меня специального образования нет, — скорбно произнес Краузе.

— Ой-ой-ой, делов-то! Учиться пошлем! Где цьому учат?

— Этому, пожалуй, в семинарии, — предположил Саушкин.

— А нам шо? — вскинулся Перебейнос. — Пошлем и в семинарию. Пока я, — он ткнул себя пальцем в грудь, — кормлю область, а не область меня... Эх! Та шо область? Перебейнос усю Европу бы накормил, он бы вам о тут бананы вырастил, тильки бы кто-нибудь прийшел людям на пидмогу, тильки бы кто взявсь отвечать им на их душевни потребы... Кто б растолкував, як надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал... А то... возьмем, к примеру, колхозы... Слухай, хлопчик, а шо ты можешь сказать насчет колхозов?

— Насчет колхозов? — вяло переспросил Краузе.

— От именно: насчет колхозов.

— А! Вздор! Не может худое дерево принести доброго плода.

— Та-ак, а насчет Госплана?

— Если слепой ведет слепого — оба упадут в яму, — влепил Краузе не задумываясь.

— Так-так-так... А насчет... — он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел — грянул ответ:

— Если это дело от человеков, оно разрушится.

— О то ж и я думаю, — горестно кивнул Перебейнос, — но в чем же тогда шукать опору?

Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как взревет:

— Победы на супротивныя даруя-а-а-а!..

— А-а-а! — могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу.

Как ни умолял, ни упрашивал нас плачущий Перебейнос, Краузе мы ему не оставили.

— Он нам самим нужен, — завершил разговор Саушкин.

— Понимаю, — легко согласился хозяин. — Як не понять?.. Но — жалко. Я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было — у меня тут и немчики е... Кого тильки у меня нет — всякие нации. — Он вытер слезы. — Есть еще така нация, у которой и названия нема — один матерный язык понимают. От через нихто, скоришь всего, я ридну мову и подзабув: добри слова десь хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет. — И, внезапно озаботившись, поинтересовался: — Не видели по дороге — боронуют гденибудь?

— Не обратил внимания, — отвечал Саушкин.

Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил:

— Два трактора вели боронование на сто двенадцатом километре справа от шоссе...

— Колхоз «Заря», — определил хозяин.

— И один — на триста тридцать девятом, тоже справа.

— Это — «Восход», та-ак, — он задумался было о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул: — Это ж надо!.. Углядел, запомнил — такий хлопчик... Та шо ж вы сало не кушаете?

— Кушаемо, — возразил Краузе.

Потом мы долго тряслись по проселку. Так долго, что почти весь хмель из нас выбило.

— Куда это тебя занесло? — спросил Саушкин.

— Не занесло, — сказал Краузе. — Просто мне хотелось сказать о самом важном, — и замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем

еще сохранялись — недолго помолчав, он приступил к разъяснению:

— Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли, — это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже двести четырнадцать лет. Отец мой отдал меня в Лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода.

— Он был прав, — оценил Саушкин. — Экология сегодня...

— Он был не прав, — перебил Краузе, — он ошибся: самые важные проблемы сегодня — другие, те, о которых говорил Перебейнос..

— Что ты имеешь в виду? — обернулся Саушкин.

— Через тридцать метров канава... — И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек.

— А это еще зачем? — прошептал Саушкин в бессильном недоумении.

— Раньше дорогу тут размывало — помнишь, какая грязь была? — спросил Краузе.

— Ну и что, что грязь? Проползали ведь?

— А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее — и всё: целесообразно.

— Так ведь проехать нельзя!

— Нельзя, — заключил Краузе. — Ширина — два метра, глубина — тоже два метра, причем один метр — вода.

— Ну уж нет, — рассердился Саушкин, — так дело не пойдет, — и задумался. — Погодите-ка! Где-то нам щиты попадались? Которые для снегозадержания...

— Километрах в трех. Нет, в четырех отсюда. Но из них ничего не сделаешь, да потом — скоро уж темно станет.

— Попробуем...

Мы привезли два щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен:

— Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля.

— Я и сам знаю, — сказал Саушкин.

— Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий.

— Я тоже никаких гарантий дать не могу.

— Зачем же ты собираешься ехать?

— А что мне, — взорвался Саушкин, — у канавы и куковать? Я сюда чего ради за четыреста километров тащился?..

— Четыреста тридцать два.

— Гуси будут где-то, а я буду здесь? Или обратно поедем, к Перебейносу? За домашними гусаками и курками?! Тоже мне, «добрый хлопчик»... Зря тебя не оставили... Рассчитана — не рассчитана... Что с того, что не рассчитана? Ехать надо? Надо! Ну вот...

— Одно условие: дай мне аптечку.

— Возьми... погоди, а где она есть-то? Может, у меня ее и нету?.. А! Вот она, держи! — Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.

— Сколько осталось? — осведомился Саушкин.

— Шесть с половиной километров.

Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без

дороги, наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил:

— Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну — так и буду руками дергать да ногами на педали давить.

Потом мы расстелили палатку, бросили сверху спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули.

— Три часа четыре минуты, — разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме.

— Так мы — чего, — не разобрал Саушкин, — ложимся или встаем?

— Конечно, встаем! — удивился Краузе. — Ложились мы в ноль часов четыре минуты.

— Обалдеть можно, сколько спали, — вздохнул Саушкин. — Всё спим, спим... Эх, Краузе, ошибся в тебе товарищ Перебейнос, ох как ошибся! — Саушкин протяжно зевнул. — Ну какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только «на кочерге». А закалки у тебя под это дело соответствующей нет...

— Тсс...

— Что тсс?

— Тсс...

— Да что тсс?!

— Гуси...

Я затаил дыхание: донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.

— Так ничего же не видно, — изумился Саушкин, повертев головой. — На кой ты нас разбудил-то?

— Через восемь минут начнет светать, — сказал Краузе, — как раз подойдут гуси.

И мы выскочили из спальных мешков.

В пустыне, на берегу озера



Было это в далекие времена. Одноклассник мой стал к сорока годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня поохотиться — сам-то он не охотился, у него такого интереса вообще не было: он гонял вдоль трубы на машине или на вертолете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем.

Должен признаться, что никогда более не доводилось мне промышлять в столь обширных угодьях — от Саратова до Хивы. Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охота в трехстах километрах от места ее начала.

Напарники мне попадались самые разнообразные: и местные жители, и строители-сибиряки, и генерал из заядлых московских стрелков; генерал, кстати, вполне демократичный — через час мы с ним на «ты» сделались. Осязательнее прочих запомнился мне компаньон по фамилии Пучкин: и фамилия вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер занимательный, да к тому же мы в приключение с ним попали.

Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место: пустыня не пустыня, скорее — степь, вагончики стоят, за вагончиками — тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, вновь останавливается, а подождав несколько, бежит на прежнее место — какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело гоняет его, однако через кусты плохо видно.

Приятель зашел в вагончик и быстро договорился: на крыльцо вышел человек в черной спецовке.

— Пучкин! — крикнул он в направлении скачущего верблюда. — Оставь в покое животное! Никуда оно не денется! Иди сюда!

Мальчишка вышел.

— Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон, — указал в мою сторону, — земляка, понял?.. И чтобы три дня — до выходного — духу твоего здесь не было, понял?.. На выходной понадобишься. Все. Здравствуйте, — сказал он еще мне на прощание и скрылся в вагончике.

Пошли грузиться. Мальчишка по рассмотрении оказался мужичком лет пятидесяти — пятидесяти пяти. Только что очень меленьким. Зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал: Пучкин и Пучкин.

Моторка стояла неподалеку — в коллекторе, по которому могуче неслись ядовитые стоки с полей. Мутный стрежень привел нас в конце концов к заросшему тростником озеру. Мы то скреблись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрачные туннели — неба сквозь высоченные заросли не было видно. Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очистилась до совершенной прозрачности — на трех метрах глубины всякая водорослинка различалась.

Тут и тростник поредел. Пучкин добавил оборотов винту, и вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до этого момента лодка вспугнула лишь с десяток лысух да одну длинноносую чомгу — товар, не заслуживающий внимания серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные стайки утей, и большие гусиные стаи, кроме того, кружили в воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохотничий вздор. Внезапно выключив двигатель, Пучкин хрипло сказал:

— Бесчинство водоплавающих.

Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пучкин принялся заводить мотор снова — вероятно, разговор был исчерпан. Дергал, дергал он за стартер, и что-то у него не получалось, а я тем временем прикидывал, как бы да в каком месте устроиться перед вечерней зарей, а то ведь это только издалека их — тьма, а встанешь неудачно — и либо вообще ни одной уточки не увидишь, либо так и будут они над тобою по поднебесью свистать. Наконец поехали.

В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать:

— А дело к вечеру. — Теперь движок не заводился куда дольше прежнего.

Ну а потом он заглох сам по себе, и, поклацав инструментами, Пучкин сообщил:

— Заправиться-то мы забыли...

Вечерняя охота не удалась: в слишком уж неприглядном месте прервалось плавание — на открытой воде. Ночь мы провели не на острове у костра, специально для которого везли саксауловые дровишки, а прямо в лодке, на стланях. В лодке вообще-то спать хорошо — вода покачивает, убаюкивает, однако больно уж холодно было, так что мы почти и не спали

и, едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. Я — греб, Пучкин занимал пост штурмана.

— Так держать, — направлял он. — Если будем держать вот так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не проскрестись, а в другие стороны — твердых берегов и вовсе нет: пески да болота — заболоченные пески. И жилья нет — пустыня...

Грести было неудобно: борта высокие, алюминиевые весла коротки и легки — кое-как цепляешь поверхность воды, суденышко туда-сюда рыскает...

— Левее, правее, так держать! — командует Пучкин и тут же: — Левее, правее, опять левее...

А я уж давно и сам знаю: я взял лысину сидящего на корме штурмана в створ с одиноким тростниковым колком и стараюсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает место короны, Пучкин и орет: «Так держать!» При этом голова его дергается от напряжения, корона спадает, тут еще и катерок наш уныривает куда-нибудь в сторону, и снова начинается: «Правее, левее, правее...»

Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вскоре от занятия отказались: очень уж много времени уходило на судоводительские маневры к подбитой дичи — то в сторону, то вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно было.

Взошло солнце.

— Вон, видишь, плато?! — воскликнул Пучкин.

Я обернулся. Впереди, за тростниковыми островами, казавшимися отсюда сплошною стеной, виднелась тянущаяся вдоль горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке отчерченным верхом.

Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по солнцу. Несколько раз попадались

рыбацкие сети. «Во! — приободрялся Пучкин. — Уже близко!» Но час проходил за часом, а тверди не было.

Озеро стало мелеть, наконец лодка и вовсе увязла — я вылез и поволок ее за собой. Пучкина пассажирская роль заметно смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не мог: мне самому едва не захлестывало за отвороты бродней. Дно делалось все более илистым, и тут Пучкин не выдержал: скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь чуть ли не с головою. Потащили вдвоем.

— Ил — из-за того, что ветром пыль с плато надувает, — изрек Пучкин.

Он был прав — теперь уже оставалось немного. Сначала мы увидели знак — тур, сложенный из плитняка на вершине утеса. «Держать туда», — указал штурман. Потом разглядели и постройки. «Я же говорил! — обрадовался он. — Люди!»

Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по грязи, потом — по белому, словно снег, соляному налету, и у подножия плато нам открылась езженая дорога. «Спасены», — заявил Пучкин, и мы попадали в иссеченную протекторами дорожную пыль...

Поселок, расположившийся на склоне, был мертв. Переходя от строения к строению, мы обнаруживали всюду следы разрушения и тлена: осколки стекла, ржавые кровати с матрацами, рассыпавшимися в прах от одного прикосновения, ветхую выгоревшую одежонку. Стемнело. «И переночевать негде», — вздохнул Пучкин. Переночевать, хотя бы прилечь, действительно было негде.

Мы прошли поселок насквозь до того места, где с плато спускалась к нему дорога. Фонарики наши высветили колеи, поросшие жухлой травою, закрытый шлагбаум и рядом со шлагбаумом — столбушок с жестяным

щитом. Обойдя столбушок, Пучкин посветил на щит и вслух прочитал: «Лепра»... «Слышь, — спросил он меня, — а что это такое?» Я начал было объяснять, но Пучкин перебил: «А! Знаю, это — "больной поселок", он брошен, где-то рядом должен быть "здоровый поселок", и там кто-то живет: не то рыбаки, не то пастухи — не помню, но кто-то есть, мне рассказывали».

Пройдя вдоль берега, нашли мы и «здоровый поселок», тоже, впрочем, разрушенный, но одно саманное строеньице сохраняло вполне жилой вид и оказалось населенным: только торкнулись, только отворилась нам дверь, как начались приготовления к праздничному ужину. Мы, кажется, и познакомиться с хозяином не успели, а он уж спросил:

— Барашка? Индюшка?

— Верблюд, — отвечал Пучкин, располагаясь на кошме.

— Нет верблюд, — повинился хозяин.

— Тогда уйду, — пригрозил Пучкин, но смилостивился: — Так и быть, валяй индюка.

— Зачем? — спросил я его, когда хозяин ушел. — Мы же не голодны, не съедим, да потом — столько ждать, уснем ведь.

— Уснем так уснем, — сказал Пучкин. — Если бы мы отказались, он бы до утра не отставал, все уговаривал бы.

Сделав необходимые распоряжения, хозяин вернулся с чайником и пиалами — началось... Мне уж доводилось попадать на дастархан, и я знал, что это не столько принятие пищи, сколько вожделенное времяпрепровождение уважающих себя восточных мужчин: «Рай — это вечный дастархан», — объяснял как-то прежний напарник мой, профессор тутошнего университета.

Керосиновая лампа, стоявшая на полу, едва светила — друг друга-то мы, конечно, видели, но разглядеть лицо хозяйки, возникавшей время от времени из кромешной тьмы, долго не удавалось.

Выяснилось, что хозяина зовут Ложка.

— Лешка? — переспросил я.

— Нет, — и отрицательно покачал головой, — Ложка.

Было у него и другое имя — настоящее, но очень уж труднопроизносимое даже по восточным понятиям. Родители явно перестарались: в одно имя собрали все свои мечтания и надежды — натуральнейший манифест. Нынешнее же имя было по сути прозвищем. В молодости, браконьеря с приятелем, они додумались окликать друг дружку не по имени, а, чтобы запутать инспектора, «секретными словами»: приятель законспирировался кличкой Вилка, а хозяин наш обозначился, соответственно, Ложкою, да так на всю жизнь Ложкою и остался.

— Мой жена зовут Анна Ивановна, — гордо сказал хозяин. — Он — русский.

Мы, понятное дело, «как» да «что»?.. Тут наступил черед водки, следом вроде бы пошел арбуз... или сначала индюшка, а потом арбуз... или все вместе... Ну да неважно, важно то, что мы разговорились с доверительностью наипервейших друзей. И Ложка поведал нам, что и Анна Ивановна, и он сам — дети прокаженных, родившиеся без признаков неисцелимой болезни. Когда здешний лепрозорий закрыли, — а закрыли его из-за того, что озеро засолилось и пресной воды не стало, — родителей перевели в другой, там они и поумирали. Ложка с Анной Ивановной, попытав счастья на строительстве трубопровода и прокладке каналов, не

приросли ни к какому месту и возвратились назад. Малая артелька долавливала здесь остатки рыбы, которой суждено было сгинуть в отраве, приносимой с полей. Супруги содержали и обихаживали базу этой артельки: строеньица, лодочки, сети, погреб-ледник... Раз в неделю приезжала машина, снабжала продовольствием, водой и забирала рыбу. На зиму они перебирались к дочери — она жила с мужем в поселке газовиков.

Явились сазаны, жаренные в хлопковом масле. После сазанов Пучкин заснул: приносят суп в огромнейших пиалах, а он спит... Мы с Ложкой продолжаем возлежать, бодрствуя, хотя сознание мое уже угасает, а на пищу я даже и смотреть не могу. Помню еще фотоальбом: юный Ложка стоит возле механизма дизельной электростанции («Моторист работал»), Ложка в солдатской гимнастерке («Москва служил: метро "Краснопресненская", потом туда, где солнышко садится»), дальше шли цветные пейзажи, вырезанные из журналов («Новгородская область — родина Анна Ивановна предки»), фотография Богородичной иконы («Анна Ивановна мама»). Я поинтересовался, кто же у нее на руках?

— Анна Ивановна брат, — спокойно отвечал Ложка. — Старший брат. Он был очень хороший и умер давно-давно. Там в комнате есть еще такие картинки: и мама, и брат...

Тут и я уснул. Среди ночи проснулся. Свет не горел, Пучкин тихо рассказывал:

— Трезвый-то он у меня — ничего, а вот как выпьет...

— А он ростом-то невысок? — спросила откуда-то Анна Ивановна.

— Очень невысок, — признал Пучкин.

— Тогда конечно, — и Анна Ивановна вздохнула. — Мелкие мужички, они завсегда гоношливые.

— Да-а, — неуверенно согласился Пучкин. — Но так-то он — ничего, а вот как выпьет... Да в общем-то тоже ничего, только что выражается питиевато.

— Как? — не разобрала Анна Ивановна.

— Питиевато, — повторил Пучкин. — В том смысле, что не всякий его выпившего поймет... Например, бутылку ставит на стол и говорит: «Момент — и постамент», а разольет по стаканам, уберет пустую под стол и всегда скажет: «Момент — и монумент».

— Ну и что? — спросила хозяйка.

— А то, что не все это понять могут, иной возьмет и подумает, что здесь какая-то каверза... В общем, выпивали они да разодрались. Да друга своего он ножом и зарезал... Потом, конечно, когда протрезвел уже: мол, как я мог такое совершить?.. Плакал, винился, нет мне прощения, говорил... Восемь лет дали. Ну, я не смог в поселке-то оставаться: мы ж с отцом этого парня — зарезанного-то — вместе в депо работали. Он, правда, электрик, а я слесарь... Подался на газопровод. С тех пор здесь и болтаюсь. В отпуск к нему езжу — он в Коми республике отбывает. Не слыхали про Коми республику?.. Это на Севере — очень уж там комаров много... Ложка, не спишь?

— Нет, — отозвался Ложка. Он, оказывается, находился на кошме рядом с нами, тоже полег, где ел.

— А как тебе с русской женой-то живется?

— Хорошо живется, — удивленно отвечал Ложка. — Русский жена — хороший жена, умный жена, научил меня не жить так, как другие жили...

— Это в каком смысле?

— А у нас, знаешь, приписки был, взятки был, воровать был... Анна Ивановна не разрешил мне.

Теперь, знаешь, всех жуликов – суд... Вот директор совхоза здесь – хороший человек был: Золотая Звезда, депутат – недавно повесился... Много миллионов было – милиционеры целый день в саду банки выкапывал.

– Какие банки? – не понял Пучкин.

– Трехлитровый, с деньгами. А жена, Анна Ивановна, научил меня не делать так: мы, конечно, бедно живем, зато честные.

– Поня-атно, – задумчиво протянул Пучкин.

И тут прямо под окном завыл волк. Пока в темноте искали ружья да выбирались из дома, волк ушел. Недалеко, правда, но уже не достать было: мы сделали по удаляющемуся вою несколько выстрелов, с тем и вернулись.

– Много волк есть, много шакал, лисица, кот дикий, хищный птица орел, – перечислял Ложка.

– Они у тебя скотину-то не крадут? – спросил Пучкин.

– Какой скотина?

– Ну, барашков, индюшек, чего там у тебя еще есть?

– Остался один барашка, – сказал хозяин, – индюшка мы уже съели.

– Так у тебя по штуке всего, что ли?

– Да, по одна штук – для дорогой гости. Теперь попрошу машина еще индюшка привезти...

За краткое время нашего отсутствия Анна Ивановна успела расстелить на полу матрацы с одеялами, а сама снова исчезла: похоже, за занавесочкой был ход в маленькую комнатенку, вроде чуланчика, там хозяйка и обитала.

– Анна Ивановна! – изумился Пучкин. – Ну ты даешь! Настоящая восточная женщина:

шуруешь-шуруешь, а на глаза не показываешься — это Ложка тебя так приучил?

— Привыкла, — донеслось из-за занавески, — да и правильно это: зачем бабе в мужскую компанию лезть? Обязательно встренешь с разговором и обязательно — невпопад, только рассердишь.

— Здорово вы устроились, — позавидовал Пучкин. — Ему — русская жена нравится, ей, понимаешь, восточный муж.

На этом, кажется, все уснули.

Утром приехали рыбаки.

— А где же они живут? — спросил я Ложку.

— Земля-земля, кругом вода, — отвечал он.

— На острове, — перевела Анна Ивановна. — Там будка есть, газовая плита, баллоны завезены... Отсюда уж больно далеко до глубоких мест, так что они живут на острове, а два-три раза в неделю, по улову смотря, привозят рыбу.

Ложка долго беседовал с рыбаками; их было двое — приветливые, улыбчивые, они наговорили нам много слов, но кроме «салам алейкум» мы ничего не поняли.

Горючего у рыбаков не оказалось — они гоняли лодку шестом, на глубине — веслами. Машина ожидалась лишь в понедельник — это Ложка сказал нам еще вчера. Оставалось надеяться на случай — вдруг заедут какие-нибудь охотники. Однако Пучкину велено было сегодня попасть домой, кроме того, с завтрашнего дня непременно начнется розыск — сколько же напрасных тревог принесем мы и пучкинскому начальнику, и приятелю моему.

— Пойдем пешком, — сказал я Пучкину. — Как-нибудь за день доберемся. Потом приедете на машине, заправите лодку, и отгонишь ее назад.

Он кивнул. И вдруг вершители наших судеб засуетились — над озером появился самолет.

— Пиши! — закричал Ложка, указывая на дорогу. — Пиши! Пиши, что случилось!

Мы оцепенели от недоумения.

— Какой у тебя участок? — спросила Пучкина Анна Ивановна.

— Сто двадцать четвертый, а что?

Схватив стоявшее у стены весло, она подбежала к дороге и принялась выводить в пыли саженные буквы: «сооб»...

Самолет кружил над озером и почти не приближался.

— Может, это нас и разыскивают? — предположил я.

— Нет, — отвечал Ложка. — Зачем вас? Птица смотрит: утка разная, гусь — кто-то охотиться будет: обком, райком, исполком — начальство...

«Сообщите 124», — написала Анна Ивановна.

Самолет пошел прямо на нас. Летел он низко, и мы видели склонившееся к стеклу лицо летчика. Развернувшись, Ан-2 сделал еще один заход со стороны озера.

«Сообщите 124 лодка полом...»

Сделав успокаивающий жест рукой, пилот повернул машину вдоль берега и над тем местом, где сидела в грязи моторка, покачал крыльями.

— Пешком не надо, — сказал нам Ложка. — Отдыхать надо, чай пить надо, дастархан надо.

Подошла хозяйка, поставила на место весло.

— Спасибо, — поблагодарили ее мы с Пучкиным.

— Чего там, — отмахнулась она, — велика радость — пятьдесят километров по пыли топать.

Пока хозяева принимали рыбу, мы сходили к моторке и нагрузили по рюкзаку — у нас все ж и утки

были, и кое-какие харчи, так что мы вполне могли сделать достойный вклад в очередное пиршество. На соляном насте прочитали следы недавней охоты. Подкараулив в камышах возвращавшегося с водопоя сайгака, волк выскочил из укрытия и обежал сайгака кругом, чтобы не позволить ему прыгнуть в сторону, а то ведь раз прыгнет — и уже не догнать. Задавил и, взвалив тушу на спину, уволок — рядом со следом волка тянулись две полосы от задних копытец козлика.

В этот раз Анна Ивановна делила трапезу с мужской компанией: мы пригласили. Ложка не возражал. И даже вполне по-российски опрокинула стопочку.

Потом примчалась машина. Лодку заправили, и Пучкин, приняв в подарок мешок свежей рыбы, благополучно отбыл. Мне же велено было дожидаться другого транспорта: приятель дела свои завершил, и следовало возвращаться в столицу.

Ну а пока я опять уснул. Произошло это точно после жареной утки, после шашлыка из змееголова — диковинной местной рыбины, обличием своим напоминающей налима, но, думается, перед ухой...

Ложка осторожненько разбудил меня:

— Эй!

— Что случилось?

— Возьми Анна Ивановна Россия.

— Как это?

— Он никогда не видел Новгородская область, грустный из-за этого, хочет посмотреть.

Анна Ивановна, нарядно одетая, стояла в дверях.

— Потеплее бы надо, — посоветовал я. — В Новгородской-то, поди, уже снег.

— Все взяла, — с покорностью отвечала хозяйка.

У дверей лежали сумки, узлы — ничего этого прежде здесь не было. Договорились, что в Москве я

посажу Анну Ивановну на поезд, а дальше уж она поедет сама. Нужную станцию она знала, название деревни помнила. Неизвестно было, сохранилась ли сама деревня, а если и сохранилась, есть ли там кто-нибудь хоть из самой отдаленной родни: последние письма приходили давным-давно.

— А если никого нет?

— Неважно: посмотрю — и назад, мне бы только увидеть, — смущенно сказала Анна Ивановна и спряталась за занавесочку.

— Родной земля постоять, — вздохнул Ложка. — Надо.

Вечером на «уазике» приехал приятель мой. Хозяин начал настаивать на барашке, но ценой невероятного труда удалось ограничить ужин зеленым чаем. Когда стали грузиться в машину, Анна Ивановна отозвала меня и тихо сказала:

— Такое дело, что... боюсь: вдруг да останусь там, в России.

— Может, вам и оставаться не у кого?

— Все равно: приеду да в чистом поле так и останусь... Либо в лесу... Она мне всю жизнь снится, земля эта, хоть и не видала ее никогда... Нет, нельзя. Нельзя Ложку обижать — он добрый. Мы ведь с самого детства рука об руку: и в лепрозории, и на воле... Нельзя. Да и осталось-то всего ничего, — и Анна Ивановна улыбнулась. — Теперь если уж начудишь, так на исправление и времени не хватит. Простите меня... Христа ради...

Выезжали мы поздней ночью. Когда взобрались на плато, приятель мой попросил шофера остановиться и выключить фары. Мы вылезли из «уазика» и подошли к краю обрыва — жуткая, зачаровывающая картина открылась нам: внизу, освещенное холодным светом луны, расстилалось бескрайнее озеро. Где-то

под нами, в непроглядной ночной черноте, ютились Ложка и Анна Ивановна.

— Не видать ничего, — пожалел я. — Как будто и нет их.

— Наверное, спать легли, — предположил приятель.

— Огонь! — воскликнул шофер.

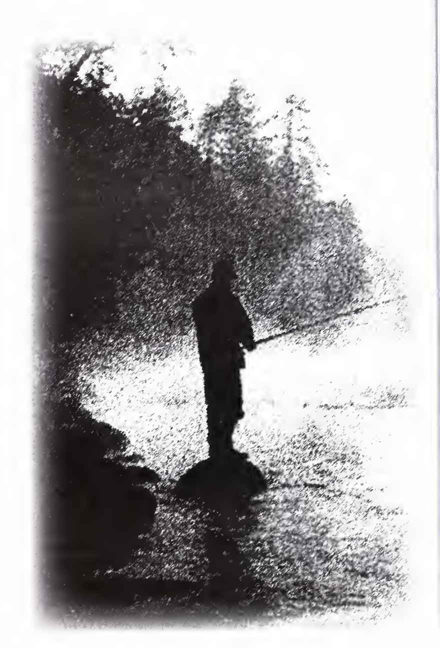
Там, далеко внизу, вспыхнул огонек керосиновой лампы и, покачиваясь, поплыл — хозяева вышли проводить нас.

— Ур-ра-а! — закричали мы в три глотки. — Ур-ра-а!

Чего уж мы так обрадовались?

— Возьми ружье, — попросил приятель, — устрой салют — хоть волков распугаешь!

Сколько высадил я патронов — не помню, я и не считал: заряжал да лепил в небо. И все смотрел на крестообразно плавающий огонек, которым осеняла нас благословляющая рука.



Рыбалка в Финляндии



Известно, что и самые близкие родственники подчас столь разительно отличаются друг от друга: и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, — что сам факт их родства — очевидно неоспоримый — представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится.

Те же закономерности распространяются и на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических, давних соседей: Китай, Японию, Турцию — совсем другая культура, другие традиции. Не случайно русская эмиграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась: кто в Австралию, кто в Америку, кто в Париж.

Рассуждения можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности — нашего ближайшего родственника, однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело Финляндия. Государственности — почти сто лет, народ живет в покое, равновесии и достатке.

И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболовов, может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными, штрихами.

Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом, на нашей территории, финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся.

Пропускной пункт прошли легко, но на лесосеках поплутали: то к харчевне заехали, то контору начальника приняли за финский пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением четырех джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками и что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только два слова: «даалекоо» и «аасфаальт».

Сообразили пристроиться за гружеными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали-подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы — за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникли было некоторые подозрения, но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать «даалекоо» — километр по бездорожью до «аасфаальт», где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту, и поехали далеко.

Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью сто шестьдесят километров в час. Знак

с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре двух женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга.

Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода — ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качении на роликах, при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы. «А откуда и куда они собираются падать»? — растерянно вопрошал он. Кто ж ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали. Однако надо было возвращаться к границе.

На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит.

Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт, где нарушившие границу четыре джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями — тот все зафиксировал радаром. «Если они будут так гонять, — поняли рыболовы, — ждать

придется часа четыре. А то и все шесть». И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, а один, открыв дверцу, боком присел на сиденье, грыз воблу и запивал ее пивом из баночки.

То и дело подходили груженые лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию.

Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они и в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь и вовсе поднакопили могущества. И когда пятый или шестой из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой. А когда вышел следующий, он выставил перед собой и вторую руку.

После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили и он пропустил бы машины без всякой задержки, но теперь надо платить штраф за превышение скорости. «Какие проблемы, командир», — и рыбаки привычно полезли за деньгами. Но оказалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствовавших запредельного умственного напряжения.

Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Обнаружилось, что шкала заканчивалась двукратным превышением скорости. А для населенного пункта это было сто двадцать километров в час. «Штрафуй за сто двадцать», — просили страдальцы. «Но вы ехали сто шестьдесят», — сообщал офицер. «Бери за сто шестьдесят», — легко

соглашались они. «Но за сто шестьдесят нельзя, можно только за сто двадцать». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за двести, и за пятьсот, но он хотел за сто шестьдесят, а такой цифры в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда, — вздыхал сидящий с пивом и воблой, — на последнем озере хорошая рыбалка была».

Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «Семьдесят», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоите эту скорость, мы ведь и по трассе с превышением ехали? И оштрафуете нас не за превышение скорости в населенном пункте, а за превышение скорости на трассе — оно ведь произошло еще раньше?» — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес: «Да». Вот так на ста сорока сторговались. Почему — наши так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней.

Тут подъехал автомобиль с таможенником и переводчицей — поселковый полицейский не дремал и продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, таможенник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть в багажники он не стал, а девушка заявила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла, то есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку и хотел уже бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик.

Наконец мытарства закончились, пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу шли под сто восемьдесят, перед населенным пунктом сбавили до пятидесяти пяти.

На другой день осваивали рыбалку по-фински: в придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и «коски» — речного порога, на котором им разрешалось ловить рыбу длиною не менее сорока сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что «коски» находится именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли две автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок, над ними висела лучковая пила. На берегу, в бетонном кольце, какие используются для облицовки колодцев, горел костер. У воды — разделочный столик, обитый поверху нержавейкой.

Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс в воду и нахлыстовыми удилищами метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости недорогого автомобиля.

Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье: то ли поехать к следующему «коски», то ли — в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предложение: возвращаться обратно, к последнему озеру, где брал окунь да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек

переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели: они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместиться, следующая подойдет не скоро, и сложил удочку.

Лосось вселил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющий стол и дрова под навесом отчего-то тяготили их. А дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами и есть «коски», и вовсе не поддавался осмыслению. Один из рыбаков вновь предложил возвращаться на Кольский, и получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили, — заключил он, — порыбачили».

Между тем двое местных умельцев так и стояли не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие, да лень было идти в машину за гидрокостюмом, надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать...

После недолгих терзаний повернули домой — к тому самому, последнему, озеру, где хорошо брал окунь да и щучка ловилась.

Первая молитва

Тот, кто никогда не бывал в дельте Волги, в самых низовьях, едва ли может представить себе своеобразие здешнего ландшафта. Ведь если поехать из Астрахани по любой из дорог, ведущих в сторону Каспия, то примерно через час земля кончится. Далее начинается царство проток. Берегов, в привычном понимании, вы здесь уже и не встретите: стена тростниковых зарослей, но ступить, как правило, некуда — нет тверди. Лишь кое-где клонятся к воде деревья — там можно найти клочочки земли. Чем ближе к морю, тем больше проток: они разливаются, раскатываются. Это уже не реки, но еще и не море, это — раскаты: обширнейшее прикаспийское мелководье, с полями лотоса и беспорядочно разбросанными камышовыми островами. Раньше, лет тридцать назад, в здешние угодья попадали только рыбаки да охотники, а теперь сюда возят и досужих гуляк, и любознательных дамочек, и даже целые группы духовно помраченных людей, поклоняющихся лотосу.

Между тем угодья эти вовсе не так гостеприимны, как может показаться неопытному наблюдателю.

Заросли водной растительности непроходимы, и человек, потерпевший кораблекрушение, оказывается перед простым выбором: либо весело мчаться с быстрой водой в открытое море, либо пробиваться к деревьям — в половодье можно обсохнуть на их ветвях, а по малой воде под ними можно найти настоящую землю. Ну а потом, если дело случилось летом, надобно ждать приезда гуляк, рыболовов, дамочек или даже духовно помраченных людей, если осенью — охотников и опять рыболовов, поздней осенью — не ждать никого.

Мне довелось оказаться в этих безблагодатных обстоятельствах как раз поздней осенью. Правда, лодка у нас сохранилась, но мотор молчал. Мы сплавлялись вдоль тростника к деревьям, рассчитывая найти там хоть малую твердь. Похоже, что деревья эти были нашей последней надеждой — за ними до горизонта открывался Каспий: мрачное море и мрачное небо. Хорошо еще, что ветер был несильный, да и дождь едва моросил.

Причина, из-за которой мы попали в бедственный дрейф, именовалась беспечностью, проще говоря — разгильдяйством. Тем самым, которое знакомо каждому русскому человеку, потому как переполняет наше богохранимое Отечество, даруя скорби (впрочем, иногда странным образом оно же дарует и утешение в этих скорбях).

Дело в том, что егерь, отправившийся со мной на рыбалку, применял вместо бензобака обычную пластиковую канистру, в горловину которой и вставлял шланг. Куда подевался бак, прилагавшийся к лодочному мотору, я и не интересовался: очевидно, что он был либо украден, либо пропит. И вот, когда мы крутились, переходя из протоки в протоку, нас подбросило на своей же волне, канистра упала, и весь бензин вылился

в лодку. Егерь, к счастью, был человеком немолодым и многоопытным, иначе говоря, научившимся переносить удары собственного разгильдяйства. Он не сильно впечатлился от происшествия: взяв тряпочку и стеклянную банку, занялся извлечением топлива из мутной жидкости, плескавшейся у нас под ногами, — через тряпочку отфильтровывал грязь, в банке отстаивал воду и сливал добытое вещество в канистру. Процесс был правильный, но шел очень медленно, а тут еще к дождику прибавился мокрый снег — ноябрь все-таки...

И вот егерь мой пытается заполучить высокооктановое горючее, а я с помощью шеста направляю лодку к деревьям: веслами здесь не пользуются — все равно не выгребешь против течения, а шестом можно и рулить, и грести, и отталкиваться. В конце концов прибились мы к берегу — полоске песка. Я вылез, подтянул лодку и направился было наломать веток для костра... В глубине островка под деревьями стоял человек... Невысокий, неказистый, небритый...

— Пашка! — крикнул из-за моей спины егерь.

— Я, — ответил человек, улыбнувшись.

— Ты что здесь делаешь?

— Рыбу ловлю.

Мы осмотрелись: не было ни лодки, ни каких-либо снастей, да и вообще никаких следов пребывания человека на песке не было.

— А я с Валеркой, — добавил он.

— А где Валерка? — поинтересовался егерь.

— Уехал за сигаретами.

Еще раз осмотревшись, егерь спросил:

— И давно?

— Четвертый день, — улыбнулся Пашка.

— Он что, в Казань поехал? Или в Саратов?..

Потом, вспоминая первые мгновения встречи, мы будем смеяться натурально до слез, а тогда абсурдность происходящего почти парализовала нас. Ну действительно: ноябрь, снег с дождем, последний клочок земли перед Каспием, двое приятелей приехали на рыбалку, забыли курево, один отправился обратно в поселок, до которого полтора часа ходу, и отсутствует уже четыре дня... Сюда же прибилась аварийная лодка с прилетевшим из Москвы рыболовом и егерем, который фильтрует бензин...

Тут с дерева грохнулась кошка.

— Мурка, — представил ее хозяин и пояснил: — Она здешняя.

Это было уже через край: способность удивляться мы потеряли.

И тогда жизнь помалу стала возвращаться к реальности. Сначала завелся мотор. Работал он с перебоями, кашлял, чихал, глохнул, а егерь сладострастно кричал на него:

— Что, самурай, не нравится?

Мотор был японский.

— Привык к девяносто пятому?! На хорошем бензине всякий поедет! А ты попробуй-ка с глиной да с водой!

Мотор смиренно попробовал, вытерпел все, и — поехали. Сначала проверять сети: Пашка с Валеркой успели поставить их неподалеку от острова. Привезли пару ведер подлещика — негусто, а главное — для ухи рыба неподходящая, одни кости. Тогда я на спиннинг поймал несколько окуней, уха вскоре была готова, и мы устроились возле Пашкиного жилища.

Хоромами ему служило некое подобие палаточки, сделанной из куска полиэтиленовой пленки, а ложем — вытертая овечья шкурка.

— Не холодно? — спросил я его.

— Нормально, — отвечал он, — Мурка со спины греет.

Была у них и настоящая палатка, но ее не выгрузили, и она тоже уехала. Хорошо еще, что выгрузили провиант: соль, картошку, лук, чай, макароны. Касательно своего напарника Пашка предполагал, что тот сначала угодил на поминки к соседу, потом лечился, потом — день рождения тещи и опять приходит в себя. Получалось как раз четыре дня.

— У вас поселок большой, — сказал егерь, — все время чего-нибудь отмечают, ты можешь и не дождаться его. Давай-ка мы тебя домой отвезем. А то здесь теперь никто, наверное, и не ходит?

— За четыре дня вы — первые, — признал Пашка и, помолчав, возразил: — Приедет. На зиму никакой рыбы не запасли — хоть мелочевки навялить...

Они стали обсуждать хозяйственные вопросы, и я понял из разговора, что Пашка в прежние времена тоже работал егерем на рыболовно-охотничьей базе, но потерял место из-за какого-то знаменитого случая. Тут же мне про этот случай и рассказали.

Дело было так. Приехал на рыбалку один известный певец, и принимало его начальство. Запросили они егеря: опытного и чтобы приличного поведения. Астраханские егеря в подавляющем большинстве своем таковые и есть, но на сей раз выпало Пашке. И вот на красивом кораблике отправился он вместе с начальниками и певцом ловить рыбу. Пашка их по самым лучшим ямкам провез, поймали они и сомов, и судаков, и жерехов, и сазанов, и щук, и огромаднейших окуней, какие только в здешних краях и водятся. Вперемежку с рыбалкой — застолье: на палубе, под навесом. То есть удовольствие все

получили самое наивысшее. И Пашка тоже — оттого, что удачно так поработал и любителям-рыболовам угодил. А они — на рыбалке все же — не отделяют его от себя, а наоборот, за стол сажают. Он, как и положено человеку приличного поведения, пьет мало, говорит кратко, вежливо и только тогда, когда спросят о чем-нибудь.

Под вечер благодарный певец дал концерт: это уже в салоне, чтобы мошка не кусала. Там было приготовлено электрическое пианино, он сам себе аккомпанировал и пел все, что народу хотелось. Сначала Пашке понравилось «Утро туманное», и он попросил исполнить романс еще раз, полагая, что таковая просьба вполне в рамках приличного поведения. Певец спел на бис. Потом Пашку потрясла песня «Прощай, радость, жизнь моя» — певец повторил и ее. Но знаменитый случай произошел после «Варяга»: Пашка бисировал без конца, певец вдохновился, кричал: «С Богом!.. Ур-ра-а-а-а!», начальство не могло их угомонить, махнуло рукой и отправилось на палубу. Спустя время двери салона распахнулись: певец шел в обнимку с Пашкой, и пели они «По диким степям Забайкалья».

На другой день певец улетел в столицу, а Пашку уволили.

— Хороший был вечер, — заключил он воспоминания...

Мурка сидела чуть в стороне и деликатно, без жадности, потребляла рыбьи головы и хребтинки, которые мы ей подбрасывали.

— Чем она у тебя питается? — спросил егерь. — И вообще, откуда она тут взялась?

— Летом кто-нибудь завез да и оставил... А чем питается?.. Раньше, наверное, питалась мышами

и птичками, сейчас ни тех ни других нет, ест со мной картошку и макароны.

— Так вы все продукты можете извести, — сказал егерь, — а Валерка неизвестно когда вернется... Хорошо бы натаскать ее на крупную дичь: на гуся, лебедя или на баклана — тогда, глядишь, и перезимовать сможете.

— Приедет, — повторил Пашка, — куда он денется?.. Хотя, конечно, в палатке было бы потеплее. Да и сети надобно переставить — бросили абы куда. Из-за курева все, будь оно трижды неладно...

— Ты бы, Паш, поинтересовался, — егерь вздохнул и кивнул в мою сторону, — как дело твое ускорить...

— Да я и сам уж думал... как это... попросить, — он указал глазами на небо, — да слов не знаю.

Мне подумалось, что молитва этого искреннего и простодушного человека не останется без ответа:

— А ты — своими словами...

Он встал, направился к берегу, мы допили чай, поднялись следом, и егерь вдруг остановил меня: Пашка стоял у воды и временами жестикулировал — должно быть, говорил что-то. Наконец закончил, хотел было поворотиться, но, словно опомнившись, задрал голову и осенил себя крестным знамением.

— Во дает! — прошептал егерь.

Когда садились в лодку, я сказал Пашке:

— Значит, четыре дня назад уехал за сигаретами? — и мы рассмеялись.

— Если не выкарабкаемся, — сказал на прощание егерь, — жди нас еще раз: будем тут с тобой куковать. Плащи у нас с собой есть, соорудим какую-нибудь палаточку...

— Приезжайте, — Пашка кивнул, — я сейчас дровишек заготовлю побольше — переночуем...



Добрались мы благополучно. По пути нам встретилась только одна моторка: кто-то, несмотря на сумеречный час, спешил в низовья. Егерь изумленно покачал головой, и я понял, что первая Пашкина молитва услышана.

Драма



Идем на катере по широкой протоке. Путь пересекают четверо диких утят-пуховичков. Останавливаемся, чтобы не утопить их волной.

— Куда ж вы плывете, ребята? — спрашиваю.

— На ту сторону, — отвечает за них капитан катера.

— Без мамки, — говорю.

— Мамку съели, — капитан невесело вздыхает.

— Кто это постарался? — Я смотрю на остров, который они оставили, — обыкновенный маленький остров в зарослях тростника.

— Птица, — уверенно говорит капитан. — Охотилась за ними, а мама-утка бросилась их защищать и погибла.

Я тоже думаю, что дело было именно так: протоки здесь широки, течение быстрое, и ни один четвероногий хищник попасть на остров не сможет. А если бы вдруг какую-нибудь лисичку и занесло, то в подтопленном тростнике она — не охотник. Это, без сомнения, хищник пернатый: подкараулил выводок на открытой воде и упал с неба.

— Интересно, — говорю, — как они потом обсуждали, что предпринять?

— Собрались в кружочек, — предположил капитан, — погоревали, и один убедил всех плыть на ту сторону — в дальние края. Вон он — флагман, впереди всех шпарит.

Но тут мы решили, что в малых головках, которыми утята непрестанно вертели, не могло помещаться столько слов, сколько нужно для подобного рода переговоров и обсуждений. Вероятнее всего, флагман был просто чуть-чуть постарше — раньше вылупился из яйца, и остальные, появившись на свет, видели его пред собою. Он и за матерью, наверное, плавал первым, и теперь эта череда сохранилась: бросился с испугу незнамо куда, а остальные — за ним, не отставая.

— Ну и что ж вы там, ребята, хотите найти? — спрашиваю.

— Там тот же самый орлан-белохвост, та же скопа, а соколов — еще и побольше будет, — обреченно рассказывает капитан. — Остров огромный, на нем и лисицы есть, и еноты, и кабаны. Так что несладко вам придется, ребята.

Прикрывая от воздушного нападения, мы сопроводили птенцов до берега и ничем более помочь не могли.

— Ты, батюшка, помолись за них, если можно, — попросил капитан, — совсем уж существа отчаянные, беззащитные.

И катер начал набирать ход.

Пеликан



В дельте Волги, где нет уже почти никакой тверди, только тростник да камыш, встречаются иногда весьма загадочные персонажи, род отшельников. Судьбы их, вероятно, различаются степенью витиеватости, однако объединяет всех этих людей способность обходиться без человеческого общения, что, согласитесь, не может не вызывать определенного интереса. Ведь если внимательно присмотреться, человеческое общение и составляет самое дорогое удовольствие на земле. Впрочем, платить за него приходится и самыми большими скорбями.

Лишь прямое, непосредственное общение с Господом не приносит скорбей, но для обретения такой благодати нужна вера, не колеблемая никакими ветрами. Благословенна участь подвижников, достигавших таких высот: им открывалось счастье полного, безграничного всепонимания. Скорбеть при этом оставалось разве что о своей неизбывной греховности.

Однако среди местных пустынножителей едва ли случился хотя бы один, подвизавшийся на ниве духовного делания. Обычно они попадали сюда

не от возвышенности интересов, а из-за чрезмерной горемычности жизненного пути и, как правило, вопреки собственным устремлениям.

Люди, живущие там, где уже и земли-то нет, не могут — осмелюсь повториться — не вызывать любопытства. Впрочем, земля там есть: если над тростниковым островком видна крона двух-трех деревьев, то под ними наверняка есть клочочек некоей суши. Вот в таких-то местах и селятся здешние затворники. Жилищем служат либо маленькие домишки на сваях, сколоченные невесть из чего, либо старые вагончики, которые принято именовать строительными бытовками. Почти все эти сооружения изначально принадлежали рыбацким артелям, а вот дальнейшая их судьба столь причудлива, что совершенно не подлежит описанию.

В сонме пустынножителей, селившихся в разные времена на крохотных островках волжской дельты, Николай Николаевич занимал особое место. Начать с того, что он был человеком весьма образованным. Имел семью, преуспевал на трудовом поприще, и ничто не предполагало его перехода на путь строгой аскезы. Переход этот между тем совершался. Медленно, незаметно, но неуклонно. Сначала закрылось предприятие, где Николай Николаевич работал корабельным конструктором, и вместо жалования ему предложили вагончик, брошенный в прикаспийских плавнях. Потом он вышел на пенсию. Потом оформил залежалый развод и расстался с женой. В ту пору он уже стал проводить на острове недели и месяцы. Наконец женился сын, привел сноху, которая сразу же стала жаловаться на тесноту в доме. Ранней весной Николай Николаевич оттолкнул от берега старенькую моторку и возвратился лишь в ноябре. Спустя четыре

месяца снова уехал. К этому времени остров стал для него землей сокровенной, землей, где вершилось его уединение.

Поначалу он переносил одиночество легко: ловил рыбу, причем ловил только любительскими снастями, не признавая ни сетей, ни переметов, ни других промысловых премудростей, — отдыхал, словом. Иногда заезжали туристы с рыболовно-охотничьих баз, покупали копченую и вяленую рыбешку. Трофейные экземпляры сам отвозил на ближайшие базы, где их приобретали знатные столичные спиннингисты, чтобы сфотографироваться для глянцевых рыболовных журналов. Так что и уединение было щадящим. Потом, однако, однообразие этих занятий наскучило, он почти перестал выезжать к людям и впал в уныние.

Как-то инспектор рыбоохраны привез ему черненькую собачонку. «У нас, — говорит, — на посту расплодилось их — не сосчитать, а тебе сторож пригодится». — «Как зовут-то хоть?» — «Черныш. Но и на Белянку отзывается».

Потом пограничники подарили кошечку: маленькую, пушистую, рыжую, хвост трубой. Звали Муськой. «Чтоб мышей не было». — «Да откуда же у меня мыши, если остров по весне водой заливает?» — «Мало ли? Вдруг летом приплывут?»

Так вот и стали жить втроем. Собачка была добрая-предобрая и, вероятно, по расхожим представлениям умная: «Сидеть!», «Лежать!», «Голос!» — все выучивала, но для проникновенного общения этого было недостаточно.

— Что с тебя взять? — говорил Николай Николаевич. — Пес — ты и есть пес, существо зависимое, несвободное, и все соображение твое — тоже зависимое.

Вас считают умными лишь потому, что вы привязчивы и команды выполняете.

Муська хоть и принадлежала, по мнению Николая Николаевича, к существам вольной жизни и свободного разума, однако была барышней: с ней о чем ни заговори, сразу просит спинку погладить и за ухом почесать. «Подрастешь — свезу тебя обратно и поменяю на котика: с котами беседовать хорошо — они понимают. А твое счастье — в кошачьем материнстве».

И тут случилось событие, решительным образом изменившее жизнь всех поселенцев: на остров взошел пеликан. Вышел из воды и замер на краю суши. Черныш подбежал, чтобы облаять грандиозную птицу, но получил удар такой силы, что отлетел под вагончик. Заглядывая в будущее, надо сказать, что удар могучего клюва, пришедшийся точно в лоб, придал характеру Черныша благостную раздумчивость, не оставлявшую его до конца жизни. Увидев, какой конфуз случился с собакой, Муська не стала испытывать судьбу и рассматривала пеликана с некоторого отдаления.

— Оставьте его, ребята, — сказал хозяин. — У него крыло повреждено, летать, наверное, не может.

Так и было: летать пеликан не мог. Он, конечно, мог плавать и ловить рыбу. Однако течение постепенно сносило его все ниже и ниже, и когда принесло к последнему островку, пришлось выбраться из воды, потому что без крыльев в море — погибель.

Несколько дней птица простояла в углу, изредка сходя с берега, чтобы, по всей вероятности, смочить перья. Николай Николаевич специально наловил мелких окуньков — пеликан, склонив голову, внимательно изучил подарки, но есть не стал. Отказался он и от каши, и от лепешек. «У нас больше ничего нет», — развел руками Николай Николаевич. Пеликан

пристально посмотрел на него снизу вверх желтым глазом и осторожно сполз в воду. Поплескавшись, разинул клюв: в мешке трепыхался сазанчик. «Такой рыбалки я еще в жизни не видал», — сказал Николай Николаевич.

Пеликан — птица для здешних краев обычная, но малочисленная — не то что лебеди. Однако, в отличие от лебедей, это нескладное на вид существо пользуется у местных жителей непреложной симпатией. К лебедю, надо заметить, отношение совсем иное, что совершенно естественно: всякий человек, изучавший жизнь лебедей не только по балету Петра Ильича Чайковского, знает, что романтизированная нами птица на самом деле драчлива и довольно жестока, и все пернатые стараются держаться от нее подальше.

Так что новый островитянин был принят человеком в высшей степени благодушно и с необыкновенной легкостью нашел свое место в непривычном для него общежитии: кошку надо было кормить свежей рыбой, собаке варилась уха, а пеликан добывал себе пищу сам. Еще и делил трапезу с Муськой. Если рыбалка не задавалась, он, напротив, деликатно таскал провиант у нее из-под носа.

А еще он знал одну весьма увлекательную игру: подцепит клювом с земли какую-нибудь щепку или веточку и бросает тебе. Ты в ответ должен совершить нечто подобное. У Муськи и Черныша не складывалось, а Николай Николаевич освоил. Особенно после того, как пеликан нашел в тростнике пенопластовый поплавок от сетей размером с теннисный мяч — как раз под ладонь человеку. Правило игры было простое: кто уронит поплавок — тому гол. В первые дни Николай Николаевич побеждал, но потом пеликан научился применять финты — обманные движения

клювом, и ситуация стала выравниваться. Возможно, он достиг бы и больших высот мастерства, но Черныш утащил пенопластовый мячик и изгрыз его.

Тогда пеликан придумал новую игру — в шутку пугать зверей: растопырив крылья, он с шипением набрасывался то на кошку, то на собаку и угрожающе разевал клюв. Муська спокойно подставляла хвост или голову, и пеликан, не защелкивая клюв до конца, только гладил ей шерстку. Черныш делал вид, что очень боится, и с восторженным лаем носился по острову, время от времени сверзаясь в воду.

Слух о домашнем пеликане прошел по низовьям. Приезжал орнитолог из заповедника, осмотрел птицу, но причину травмы не определил: «Это и не огнестрельное ранение, и не результат птичьей драки. Кость раздроблена так, словно его какой-то зверь за крыло цапнул. Но у нас какой зверь? Кабан? Где он мог так подставиться кабану? Енот? Пасть маловата. Не понимаю». Прописал кальций, и следующую поездку в город Николай Николаевич посвятил скупке аптечного глюконата кальция.

В город приходилось путешествовать почти каждый месяц: сначала пятьдесят километров по реке до поселка, потом на автобусе до Астрахани. Получив пенсию, он возвращался в поселок, закупал продукты, бензин и отправлялся на остров.

В одну из таких поездок, случившихся на исходе лета, он заглянул домой и обнаружил, что его комната переоборудована под детскую, а в шкафу висят женские платья. Свою одежду он нашел в мешке на балконе. Хотел позвонить сыну на работу, но махнул рукой: «Что воспитал, то и получил».

Вернувшись, долго разгружал лодку, потом сел на ступеньки вагончика и, когда рядом собрались все

насельники, объявил: «Зимовать будем, друзья мои». Друзья, думается, не поняли.

И началась подготовка к зимовке. Первым делом Николай Николаевич соорудил скотный двор: вагончик был на колесах, и пространство под ним следовало укрыть. Для этого был привезен рулон металлической сетки и морозостойкая пленка. Закончив работу, он сказал: «Привыкайте, это ваш дом». Потом занялся заготовкой дров: выезжал на рыбалку с бензопилой и всякий раз добывал немного сухой древесины. Наконец выкопал яму и поставил в нее пару специально приобретенных пластмассовых бочек: «Будем рыбу солить про запас: кто его знает, что мы тут зимою наловим». А еще договорился с деревенскими рыбаками, и они привезли ему воз соломы — надо же было чем-то застелить скотный двор. Осень прошла спокойно. Николай Николаевич до конца ноября занимался дровами и рыбой, и, как выяснилось, не зря: зима, против обыкновения, оказалась затяжной и холодной.

В январе, когда температура внезапно упала до тридцати, он забрал всех зверей в вагончик. Пеликан с Муськой спали на нарах, Черныш — на заиндевелом полу. А Николай Николаевич всю ночь подтапливал маленькую буржуйку, тепла которой не хватало на ветхое сооружение. Под утро и он уснул. Сквозь сон слышал шум вертолета, но ни сил, ни желания снимать с груди Муську и отодвигать согревавшего бок пеликана не было. Разбудил Черныш, скуливший у двери. Николай Николаевич сразу почувствовал, что печка погасла. Снаружи было белым-бело: и деревья, и тростники, и вагончик, и остров — все было покрыто слоем плотного, колючего инея. Белой была и протока: ее наглухо укрыла шуга.

Черныш, стоя на краю острова, вглядывался в даль и задумчиво поскуливал, словно бы вполголоса напевал. Николай Николаевич отнес в вагончик охапку дров, растопил печку, еще раз сходил за дровами; Черныш не шевелился. «Там база, — сказал хозяин, — километрах в пяти-шести. На базе — Жулька. Собачка она симпатичная: с тебя ростом, лохматая-прелохматая. Как о матери я слышал о ней только самые лестные отзывы... Но если ты просидишь в размышлениях еще пару дней, лед может растаять и тебе отсюда не выбраться. Так что ступай, добежишь. Сторож бывал у нас, знает тебя, сразу не выгонит, а я потом за тобой заеду — ты ведь там никому, кроме Жульки, не нужен». Исполнив еще несколько сладостных песнопений, пес в задумчивости ступил на лед и через торосы шуги, оскальзываясь, перебрался на другой берег.

Еще двое суток просидели они на нарах, греясь друг возле друга, потом потеплело, восстановилась обычная астраханская зима, когда легкие и недолгие заморозки чередуются со столь же легкими оттепелями.

А за Чернышом ездить не пришлось: его на катере доставили пограничники. Начальник заставы осмотрел остров, зверинец, жилище, угостился ушицей, попил чайку и рассказал, что с патрульного вертолета, летавшего над плавнями в самый мороз, не обнаружили над вагончиком дыма, и потому было решено срочно проведать остров. А когда на рыболовной базе пограничникам сдали Черныша, они и вовсе встревожились.

— Мы, — говорит, — взяли его с собой как розыскную собаку, на всякий случай, мало ли...

Николай Николаевич понял, что этот вертолет и пролетал над ними, когда он уснул и печка погасла.

— Но я, конечно, надеялся на лучшее, — сказал офицер, и в подтверждение его слов солдаты принесли с катера ящик тушенки и огромную коробку с чаем, сахаром, печеньем и пакетами какой-то крупы. Еще он сказал, что жена давно хотела красивую кошечку и Муська ей непременно понравится.

— Забирайте, — согласился Николай Николаевич, — она уже взрослая, пора в свет выводить. Когда принесет потомство — мне, пожалуйста, котика.

На том расстались.

Весна выдалась спокойная, теплая, вода поднялась ненамного — даже скотный двор остался сухим. Выйдя однажды из вагончика, Николай Николаевич увидел нескольких пеликанов, плававших неподалеку от острова. Подранок, расправив крылья, стоял на краю земли и смотрел на них, а Черныш разглядывал то чужаков, то своего приятеля и даже не лаял. Заметив человека, стая неспешно тронулась вниз по течению.

А через неделю, вернувшись с рыбалки, Николай Николаевич и вовсе не обнаружил птицы. Стал допрашивать Черныша, но тот погрузился в раздумчивость такой глубины, что на вопросы не реагировал. «Не мог он бросить нас не попрощавшись, не мог! — твердил Николай Николаевич. — Мы — земные, а он — другой, он не мог!»

И в это время огромная белая птица, раскинув крылья, бесшумно слетела на остров. «Я знал! Я верил!» — говорил человек, опускаясь на колени, чтобы обнять птицу. Пеликан положил голову ему на плечо, клюв — на спину и, похоже, пытался прижать человека к себе.

— Прощай, брат, — шепнул Николай Николаевич, — если что не так, ты уж прости!



Он встал. Пеликан, сделав несколько неуклюжих шагов, легко оторвался от тверди, без видимых усилий взмыл над тростниковыми зарослями и исчез. В это мгновение Николай Николаевич совершеннейшим образом осознал, что остался один и что так будет до конца дней.

Дальнейшая его жизнь потекла уравновешенно и почти бесстрастно. Пожалуй, лишь одно малое изменение со временем прибавилось в ней: Николай Николаевич полюбил смотреть на небеса — облака мог наблюдать долго-долго. Он не знал, что это душа просилась домой — тосковала по своим небесным обителям.

Содержание

Священник Ярослав Шипов

«Райские хутора» и другие рассказы

Третье издание

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА ***архимандрит Тихон (Шевкунов)***

ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА ***иеромонах Симеон (Томачинский)***

ОФОРМЛЕНИЕ ***иеромонах Матфей (Самохин)***

ВЕРСТКА ***Михаил Родионов***

КОРРЕКТОР ***Ольга Грецова***

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ***Анна Кузнецова***

ТЕХНОЛОГ ***Михаил Мыскин***

Подписано в печать 28.11.2012. Зак. № 7054/12.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Объем 19,5 п.л. Тираж 30 000 экз.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура NewBaskervilleC.

Издательство Сретенского монастыря
Адрес издательства: 107031, Москва, Б. Лубянка, 19
Интернет-магазин: **www.sretenie.com**
Книжная торговля Сретенского монастыря: **(495) 628-8210**
Магазин «Сретение»: **(495) 623-8046**

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ООО «ИПК Парето-Принт», г.Тверь. **www.pareto-print.ru**

2000



Ярослав Алексеевич Шипов

родился в 1947 году в Москве. Окончил Литературный институт. Автор нескольких книг прозы, член Союза писателей России. С 1991 года – священник.

«Выпускник Литинститута, Шипов был уже автором нескольких книг прозы, когда любовь к охоте привела его в сельскую глушь – наверняка не случайно...

Истории, которые рассказывает отец Ярослав, бесхитростны и обаятельны – то исполнены печали, то мягкого юмора... Может быть, отсюда – главное очарование книги: зоркость, ясность зрения, умение читать лес, понимать зверей и людей, примечать главное и делиться с читателем – умно, спокойно, без излишней дидактичности».

«Фома», март 2011 года



ISBN: 978-5753307477

9 785753 307477

Священник
Ярослав
Шипов

«РАЙСКИЕ ХУТОРА»

и другие
рассказы